АВТОР И. Д.

ОПЫТ МОЕЙ ЖИЗНИ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЭМИГРАЦИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…Интересно положить под лупу любую человеческую жизнь и рассмотреть ее по атомам и молекулам. Затем взглянуть на полотно той же жизни с большого расстояния. Ведь жизнь человека, как живое растение: смотришь со стороны – как будто зеленый листок, а под микроскопом… совсем по-другому каждая клетка этого листка открывается…»

- И.Д.
  - Алексей Тихонов
  -
  - Предисловие
  - Глава первая. Прибытие в Нью-Йорк
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38

И.Д.
Опыт моей жизни. Книга 1. Эмиграция

Алексей Тихонов
Редкое литературное явление

Показательно: наша знаменитая писательница Виктория Токарева редко оценивает современных писателей. Но вот ее отзыв: «Читать это по-настоящему интересно… Книга написана искренне, стремительно. Из нее хлещет энергия таланта…»

И вновь она же:

«И.Д. ничего не скрывает. Она выворачивает душу, как карман, и вытряхивает наружу все, что в нем есть. Это очень русская манера. Я считаю, что искренность – основная ценность романа».

Да что же это за книга? Автора! С автором – сложно. Известно, что это дама. Дама молодая. Знаем, что это известный в России человек. И, наверное, именно поэтому она прячется за не совсем обычным псевдонимом, подписывая свои произведения лишь инициалами – И.Д. Что ж, литература знавала множество различного рода мистификаций и тайн. А не напоминает ли эта новая история случай со стремительным взлетом популярности Б. Акунина? Гадали тоже – кто автор? Оказалось, вполне литературный и известный человек – Григорий Чхартишвили, переводчик, долгое время работавший в журнале «Иностранная литература».

Итак, И.Д. предлагает нам многокнижный роман с несколько, может быть, претенциозным названием «Опыт моей жизни». Да полно, всякий ли жизненный опыт заслуживает того, чтобы облекать его в многотомную эпопею и ею осчастливливать человечество?

Название книги первой сразу же объясняет ее суть – «Эмиграция». Но книга все-таки не об этом. Это – начало.

В чем же заключается опыт человека, так масштабно взявшегося за тему очень непростую? А вот в чем. Пятнадцатилетний подросток, выросший в небольшом советском городке, в 1980 году уезжает с родителями в США. Понятно, что в таком возрасте, еще не обремененном грузом привычек, болезненно реагирующих на любые изменения, легче адаптироваться к смене обстановки. Но обстановка обстановке рознь. Не забудем, что человек оказывается словно на другой планете! Вспомните, чем были СССР и США друг для друга и для всего мира в годы противостояния социализма и капитализма. Из знаменитого тогда лозунга «Два мира – две системы» возьмем первую часть. Это действительно были два совершенно разных

мира. Но вспомним еще и подростковую особенность – обостренное восприятие действительности. Тут нам на помощь придет знаменитое произведение Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и его герой, юноша Холден Колфилд, глазами которого затем смотрели на мир многие поколения не только американских читателей. Так происходит первая переоценка ценностей.

Но биография И.Д. на этом не заканчивается. Более того, претерпевает головокружительные изменения. В 1989-м, когда советская страна открылась миру, И.Д. возвращается на родину. И в течение буквально нескольких месяцев ее имя входит в десятку самых крупных предпринимателей России!

Но радикально изменилась и сама Россия. Вот вам вторая переоценка ценностей. Из мира капиталистического попасть в постсоветскую страну – столь же серьезное испытание для мировосприятия, как и первый отъезд с родины. А история продолжается. Прожив в России восемь лет, И.Д. вновь покидает ее и возвращается в США.

Согласитесь, даже не будучи профессиональным литератором, человек со столь уникальным опытом уже имеет право на высказывания по теме, заявленной в названии первой книги из задуманных восьми. И теперь уже общее название серии «Опыт моей жизни» отнюдь не воспринимается претенциозным. Более того, в свете прочитанного начинает казаться, что это название даже несколько заужено.

Судите сами. Ведь такое масштабное и сложнейшее явление, как эмиграция, автор исследует не только на основании собственного опыта. Взгляд на проблему претерпевает на протяжении книги разительные перемены, словно перед нашим взором переворачивают подзорную трубу. Тут и всеобъемлющий аналитический подход к осмыслению происходящего, но предлагается и подход на уровне микроскопическом – через судьбы различных людей. И тут уже автор дает волю психологическому подходу, заглядывая в самые потаенные уголки человеческой души, испытывающей столкновения от совершенно нового окружения.

Нет, Америка в изображении И.Д. вовсе не является той сказочной страной абсолютной свободы и райского изобилия, о которой грезили в закрытой советской стране «кухонные диссиденты». Объективности автора веришь не только потому, что книга начисто лишена какого-либо рода украшательства, но и потому, что автор слишком хорошо знает два мира, у него было немало времени для взвешивания всех их плюсов и минусов, и однозначных выводах о преимуществах той или иной стороны на

страницах произведения не делается. Автор прежде всего озабочен изображением картины достоверной, а значит, только этим и полезной читателю.

Особенности композиционного построения «Эмиграции» заключаются в постоянном стремлении автора резко, с захватывающей дух крутизной, менять вектор повествования, пронося его через многочисленные коллизии.

Отдельно следует отметить интонацию рассказчика – благодаря невероятному темпераменту автора читатель погружен в целую бурю страстей и эмоций. И в этом мире, на каждой его странице, безумно интересно жить и читать.

И ведь мы пока говорим только о первой книге, об «Эмиграции». Напомним, первой из восьми, задуманных в серии «Опыт моей жизни».

В дальнейшем же читателя ждет повествование «В мире чудес, в стране дураков». Оно посвящено как раз той части жизненного опыта И.Д., который она приобрела на пространстве вновь обретенной родины, вернувшись в Россию в 1989 году. Разумеется, ностальгические годы эмиграции рисовали героине новой книги чересчур светлый образ оставленной отчизны. И теперь ей предстоит пройти через понимание того, что действительно стоящего было в СССР, а что остается лишь плодом вымысла.

События, происходящие «В мире чудес», безусловно исторически более значимы, нежели эмиграция. Ведь мы, и как граждане, и как читатели, оказываемся на развалинах некогда великой советской империи, где с таким трудом, а порой и с отчаянием нарождается новое государство.

В гуще этих событий и оказывается героиня.

Да и в какой еще гуще! Мы уже знаем, что сама И.Д. годы на вновь обретенной родине прожила очень интенсивно, сумев буквально ворваться в ряды тех, кто считался самыми крупными предпринимателями новой России. В Штатах она не могла удержаться и двух месяцев даже на должности простой официантки. И вдруг российский ошеломительный успех, и она оказывается среди финансовой, промышленной и культурной элиты, среди министров и олигархов. Фантастика? Отнюдь нет. За изложенным – мощная фактологическая основа.

Хотя и сама героиня не перестает задаваться вопросом: «Заслужен ли мной такой невероятный успех? Или это я попала в какой-то нереальный мир, где со мной происходят невероятные события? Что происходит? Или я не что иное, как ничего не значащая сама по себе простая марионетка судьбы?»

Итак, перед нами, повторю, уникальный, художественно

сконцентрированный опыт постижения мира в самых разных его проявлениях. Опыт, достойный самого пристального внимания со стороны отечественных читателей.

«Литературная газета», № 47 (6047) 16–22 ноября 2005 г.

Познай самого себя – и ты познаешь мир.

Демокрит

Предисловие

«Опыт моей жизни».

Это роман? Или автобиография? Микро– и макросъемка одной человеческой жизни. Неважно, моя это жизнь или чья бы то ни было. Просто человека.

Интересно положить под лупу любую человеческую жизнь и рассмотреть ее по атомам и молекулам. Затем взглянуть на полотно той же жизни с большого расстояния. Ведь жизнь человека, как живое растение: смотришь со стороны – как будто зеленый листок, а под микроскопом… совсем по-другому каждая клетка этого листка открывается.

Роман – как-никак – это вымысел, даже если он во многом основан на реальных событиях. Во многом… но не всецело. А это очень важно, так как в жизни всякая мелочь, каждая деталь, на первый взгляд ничего не значащие, играют огромную роль.

Чтобы создать по-настоящему достоверную картину, нельзя придумывать. Правда жизни – вот в чем реальная ценность. Я пишу роман, но роман документальный. Все факты, события, люди – достоверны. Малейший вымысел нарушит жизненную правду. А именно она – жизненная правда – самое ценное в моем романе.

От начала и до конца, сколько мне удастся держать фонарь и лупу, освещать и рассматривать под увеличением все движения, все процессы роста и видоизменения, происходящие со мной в течение данной мне одной жизни. Здесь и психология, и физиология, и влияние окружающей среды, и возрастные изменения… в постоянной динамике: ведь в реальной жизни все это вступает во взаимосвязь, все – важно.

При современном бурном темпе жизни все меньше остается времени и возможности развлекать себя чтением художественной литературы, которая как-никак есть продукт авторской фантазии. Читатель XXI века чересчур практичен, чтобы просто развлекаться, и «сам с усами», чтобы позволять себя воспитывать. Наступили времена, когда даже художественная литература не может оставаться на уровне интересной, увлекательной, иногда исподволь воспитывающей тебя сказки.

Практическая польза, применимая в реальной жизни, – вот основной мотив современного читателя, протягивающего руку к книге как к источнику информации.

Для тех, кого природа одарила пытливым умом, этот документ человеческой жизни может оказаться ценным учебником. Читатель получает уникальную возможность:

«прожить» целую жизнь за две-три недели, проанализировать ее и приобрести неоценимый опыт.

P. S. Поскольку речь в этой книге идет о реальных людях и реальных событиях и многие из тех, о ком пойдет речь (в этом и последующих томах), живы и сегодня, а имена некоторых, включая имя автора, широко известны в России, во избежание нарушения конфиденциальности, все имена изменены, а автор ограничится лишь инициалами –

И. Д.

* * *

Я пришла в этот мир для того, чтобы оставить после себя какой-то след…

Жизнь человека – скоропортящийся продукт. Уходя, я должна оставить что-то такое, что смогло бы оправдать мою смерть. Иначе, какой смысл в этой жизни?

Когда-нибудь я умру. Ничего против этого придумать невозможно. Нужно принимать это спокойно и философски. Но пока я жива, я должна создать в течение своей жизни что-то такое значимое, светлое, красивое, что останется после моей смерти, никогда не умрет. Тогда моя смерть уже не будет иметь значения.

Продукт моего труда – след моей жизни – останется и будет согревать многие поколения живущих на этой Земле. Мои работы будут влиять на человеческие жизни (так же, как мои любимые писатели повлияли на мое становление, на мою жизнь). Я останусь жить в сердцах людей (так же как мой Толстой живет в моем сердце). Я буду неотъемлемой частью их жизни (так же как Пушкин или Окуджава – неотъемлемая часть нашей жизни). Значит, я не умру.

Если мне удастся создать что-либо, что не умрет с моей смертью, а, оставшись после меня, будет зажигать в людях искры любви, – значит, я не даром жила. Значит, жизнь моя имела смысл.

Надо торопиться, пока смерть еще не пришла! Это неважно, что мне пока только 14 лет. Ведь неизвестно, сколько мне осталось жить. Лермонтов умер в 26 лет, Пушкин – в 37, Толстой – в 82. Кто знает, сколько отпущено мне? Нужно быть готовой в любой момент. Нужно торопиться! Нужно помнить всякую минуту, зачем я здесь. Я здесь – гость. Но у меня есть миссия.

Из записей в дневнике 1979 г.

Глава первая. Прибытие в Нью-Йорк
1980 г., август – ноябрь

Я начинаю этот дневник в первый день в новой стране. Более значимого дня в моей жизни, наверное, не будет. Сегодня мы приехали в США.

1980-й год. Мне пятнадцать с половиной лет. Я сплю в откидном авиакресле, и меня будит мама:

– Просыпайся, просыпайся, мы уже в Нью-Йорке!

Я вскакиваю, вмиг пробудившись, как от ледяной воды. Восторг, растерянность, страх, любопытство – все эти чувства одновременно переполняют меня. Я выглядываю в иллюминатор, и ладони мои холодеют.

Такой панорамы я не только никогда не видела, но воображение мое даже не смогло бы нарисовать. Я никогда не видела *такого* (!) большого пространства. Таких огней! Гирлянды, фейерверки, фонтаны огней! Какой гигантский город! Как мощно, как величаво он сияет!

Эмигранты все прилипли к иллюминаторам. Кто знает, какие чувства испытывали они в эти первые минуты встречи с новой землей, со своей новой родиной. Кто-то плакал, кто-то молча смотрел на таинственно сияющий внизу могущественный город. Все, кто находился в этом самолете, навсегда бросили свои дома, родных, друзей, работу, карьеру, институты, родные места, свою родину, свою культуру – словом, все, что составляло их жизнь, при этом не имея никаких гарантий, ни даже малейшего понятия о том, что ожидает их в новой стране.

В этой стране, в этом городе еще никто из нас никогда не бывал. Более того, ни один из тех, кого мы знали, здесь тоже никогда не был. Те, кто уехал в Америку раньше нас, словно канули в воду – их никто никогда больше не видел. Как доверчивые дети, мы все теперь – впервые – могли взглянуть на этот величавый город, и всем нам хотелось верить, что он, этот город, будет великодушен к нам.

Главные люди моей жизни в эти торжественные минуты находились рядом со мной. Моя любимая, нежная мама (она сидит рядом и глотает слезы), ей 39 лет. Дед с бабой: на их торжественных вытянутых лицах написана готовность следовать за любимым сыном и внуками повсюду. «Ад там внизу сияет или рай, для нас не имеет значения. Если нашим детям здесь будет хорошо, значит, хорошо и нам», – словно написано на их лицах. Деду 69 лет, бабушка на пять лет моложе. Здесь же сидит их

младшая внучка, моя сестра Танечка, ей ровно семь лет. Она веселится, визжит, то и дело переползая с колен бабушки к деду и наоборот. Она единственная, кто по-настоящему радуется, потому что совершенно не понимает всей ответственности момента. Все остальные бледны и волнуются. В этом волнении страха гораздо больше, чем радости.

«Мы узэ плиекали?! Это Нью-Йолк?!» – радостно кричит Танечка, сверкая своими черными глазенками. Ей никто не отвечает, все подавлены совершающимся событием. Поздно уже сомневаться, поздно думать-гадать, что теперь с нами будет, мы все уже на пороге другого мира. Дороги назад нет.

А вот и папа, виновник происходящего, вырвавший всех нас с корнем из старой жизни. Это он – инициатор всего. Никто, кроме него, ехать не хотел. Одержимый своим маниакальным желанием, он принудил всех нас. Ну, да ладно… что теперь об этом. Папа (самый спокойный, флегматичный человек на свете) находится в таком возбужденном состоянии, в каком я его никогда в жизни не видела. Этот знаменательный день он встречает в возрасте 48-ми лет. Он то поднимается с места, то садится, несмотря на то что стюардесса несколько раз просила его сесть и пристегнуть ремни. В невероятном волнении он всматривается в вид из иллюминатора и отворачивается, будто не в силах выдержать такой радости, не веря себе. Он поминутно вскакивает, не потому что он невоспитан и игнорирует просьбы стюардессы, а просто, помимо своей воли, не может усидеть на месте.

Мне пятнадцать с половиной лет. Неужели это в самом деле происходит? Я увижу Америку! Никто из моих друзей, одноклассников, никогда не видел этой страны, ни один из моих учителей даже одним глазком ее не видел. Каждый, любой из них, наверное, мне бы позавидовал. Я увижу Америку! Это произойдет всего через несколько минут. Я узнаю, какая же она на самом деле, страна, о которой столько говорят. С безграничной доверчивостью, присущей человеку, которому поздно уже сомневаться, вместе с самыми дорогими мне людьми я ступлю на американскую землю. «Я увижу город дальний! Он мне будет другом верным. Да!..»[1]

Вот что-то как будто мощно вздрогнуло под нами, и с оглушительным грохотом покатились колеса по американской земле. Взрыв аплодисментов заглушил грохот посадки. Я никогда не смогу забыть лица людей, окружавших меня в эти минуты. Смех. Слезы. Все, кто сидел рядом, даже совсем чужие, почти незнакомые люди, обнимались и целовались. Кричали, как на демонстрации, перебивая друг друга:

– Да здравствует Америка! Наша новая родина!

– Да здравствует свобода!
– Да здравствует новая жизнь!

* * *

Я начала свой рассказ именно с этого ключевого дня в своей жизни не случайно. Если рассматривать мою жизнь как один целостный сосуд, то, внимательно присмотревшись, можно увидеть большую трещину, расколовшую сосуд на две части. Искусно соединенные вместе, две части выглядят как единое целое, но я-то знаю (ведь это моя жизнь): сосуд расколот на две части. Трещина моей жизни проходит через тот самый день, с которого я начала свою повесть.

Вообще я родилась дважды. В первый раз – в 1965 году в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Еще важнее: я родилась в Советском Союзе. Этот факт имеет огромное значение, если вы хотите понять меня. Советский Союз – это фундамент меня. Хочу я этого или нет, нравится это кому-то или нет, – есть вещи, предопределенные судьбой, от тебя не зависящие. Гены, унаследованные от предков, и печать, которую оставляет на тебе страна, где ты родился и вырос, – это то, что дано тебе судьбой, ты здесь не выбираешь. И это с тобой столько, сколько ты будешь жить.

Второй раз, как вы уже, наверное, поняли, я родилась 28 августа 1980 года, в день нашего прибытия в США. Любопытные происходят с человеком процессы, когда он еще не умер, но уже удостоился радости снова родиться. Это уникальный опыт. О нем я могу очень много рассказать. Пока я еще чуточку задержусь на первых минутах и днях в США.

* * *

Оформление документов в аэропорту для свежеприбывших «беженцев» заняло столько времени, что, когда мы закончили, уже рассвело. Я думала попрощаться с нашими советскими попутчиками, кое с кем обменяться адресами родственников, если таковые были (ни у одного из нас не было пока ни адреса, ни телефона, конечно). Однако все, вероятно, настолько распухли, оформляя документы, что забыли попрощаться друг с другом и растворились, как брызги, в огромном аэропорту. Так никого и не нашла.

Бедная тетя Хиба всю ночь прождала нас в зале прилета. Мне не терпелось увидеть ее. Она выехала за рубеж вместе со своей семьей много лет назад. Я смутно, но помнила ее. С тех пор, как они уехали, никто ни разу не видел их. Только читали их редкие письма. Мне любопытно было увидеть, как жизнь в Америке изменила этих людей. Как они теперь одеваются? На каком языке говорят? Как себя ведут?

Представьте, стоят – она, как была, маленькая и толстенькая, все та же тетя Хиба, вовсе не похожая на изящных американок из журналов. А ее муж, дядя Стасик, как был говорун, так ничуть и не изменился. И болтают они так же громко, как у нас принято в Кабарде. Даже платье на ней цветастое, точно, как в Нальчике носят. Какие же они американцы?! По-русски говорят чисто, без всякого акцента. И, как выяснилось, к окончательному моему разочарованию, по-английски они и вовсе ни бум-бум! По дороге домой заблудились, так как Стасик не мог читать дорожные указатели. Оказалось, Стасик понадеялся на маму (она учительница английского языка), а мама, попав в реальную жизнь, не смогла быстро сориентироваться, тем более что на трассах замедлять движение запрещается.

* * *

Самое первое впечатление, как только выехали на улицу, – будто попали на другую планету. Все такое странное, причудливое и таких размеров… Если это и не другая планета, а наша Земля, то, как минимум, на один полный век вперед по времени. Природы, к которой я так привыкла, живя в Нальчике, и в помине не было. Какие-то гигантские сооружения, мощные конструкции, мосты. Автомобилей в таком количестве не видела, само собой, но теперь, когда увидела – не могла воспринять. Зрение не вмещало, что ли. Все каменное, металлическое, гигантских объемов, все говорило о баснословной цивилизации, на которую здесь никто и внимания не обращал. Вот человек в стеклянной будке выпил воду и выбросил стаканчик в мусор. Я бы этот стаканчик в Союз послала как сувенир – друзьям. Там бы это была сенсация.

Но приехали в Бруклин, здесь все больше жилые дома, двухэтажные, пятиэтажные. С облегчением замечаю на улице дерево (узнаю планету Земля!). Проехали еще немного – еще дерево.

Дома у тети Хибы был накрыт стол. Квартира у них совершенно обычная, никакая не вилла. Единственно, я заметила,

как тетя Хиба, вымыв руки, вытерла их полотенцем и выбросила полотенце в мусор.

– Одноразовое! – с улыбкой сказала она, заметив мой взгляд. – Стирать не нужно. Использовал и выбросил.

Дети тети Хибы, две девочки и один мальчик, все были младше меня. Они смотрели на нас так, будто из местного зоопарка зверей привезли. Вот они-то по-русски говорили плохо.

Сели за стол пить за успех в новой стране.

– Вставай, брат! – сказал дядя Стасик папе. – Торжественная минута! Где твои часы?

– Часы! Да, часы! – запричитали все за столом.

– На моих часах – восемь часов… вечера? – сконфуженно сказал папа.

– Нет, это на их (!) европейских часах – восемь часов вечера, – весело перебил дядя Стасик. – А наши, американские, часы сейчас пробьют полдень. Это теперь наше и ваше время! Вставай! Это самая торжественная минута, надо всем налить, приготовьте шампанское!

С торжественным видом оглядев всех нас, папа встал и медленно, как будто он совершал священный ритуал, поднес руку к часам. На минутку он остановился, прищурил глаза и, глядя куда-то вдаль, произнес: «Как долго я ждал этого момента!».

В застывшей тишине стрелки часов круто поползли вперед почти на пол-оборота. Мы все дружно зааплодировали. Налили пенящегося шампанского. К сожаленью, мы не могли так же круто перевести стрелки в наших не спавших более суток утомленных организмах, чтобы они совпали с ритмом страны, которая должна была стать родной.

Удивляло, что и то, и другое время было верное. Восемь вечера было верно для Союза, двенадцать дня было верно для Америки. А объективно, по-настоящему – который же теперь час?

Если цикл в 24 часа рассматривать как полный оборот – в 360 градусов, то расхождение во времени на восемь часов равно 120 градусам. Не могут две цифры, расходясь на 120 градусов, быть одновременно верными. Но ведь так и было! Я была сконфужена.

* * *

Не успели выпить по первому бокалу, как дядя Стасик снова всем налил. Встал, чтобы сказать тост.

– Отец! – обратился он к дедушке. – Я хочу поднять этот бокал за вас! За вас и вашу верную подругу жизни! За ваш… я бы даже сказал, героический поступок… В вашем возрасте, столько

лет прожив на одной земле, имея тот почет, то уважение в городе… да-да, я знаю, как вас там все уважали… оставить все ради счастья детей… приехать к нам…

Я смотрела на сгорбленную фигурку своего седого деда, сидящего, как и всегда, рядом с бабой, и мне показалось, что в них что-то изменилось: они как будто оба слегка сжались, стали как-то меньше в размере.

Опрокинув рюмку залпом (сам дядя Стас пил водочку) и звучно огненно выдохнув, Стас обратился к отцу.

– Ну, брат, теперь рассказывай, – торжественно произнес он, будто теперь речь шла о чем-то драматически важном, и оба знают, о чем, без слов.

Лицо отца помрачнело.

– Ну, что рассказывать… – начал он. – Затравили они меня, конечно, здорово. Сил у меня больше ни на что не осталось, – папины глаза прищурились и забегали. – Пять лет воевал! Пять лет. Устал. Не хочу уж и вспоминать, и говорить об этом. Главное… Главное, что мы здесь наконец.

Все вокруг заохали, запричитали: «Бедный, как он поседел! Шутка ли, пять лет воевать с властями, чтобы выехать!»

– Все теперь для этих двоих детей, – продолжал папа, указывая на меня и Таньку. – Хоть они пусть увидят счастливую, спокойную жизнь. И за нас, и за себя поживут.

Тетя Хиба и дядя Стас стали наперебой утешать папу:

– Вы устроитесь. Ты еще молодой. Инженера здесь во как живут! А ты – доктор наук! Шутка ли?

Мама, полушепотом, наклонившись к Хибе:

– Переводы его научных трудов Союз ведь и в Америку тоже продал. В десять стран продали!

– В десять стран мои переводы продали, а мне – шиш с маком! Я на сухой зарплате, пятьсот рублей в месяц. Оно, конечно, фантастическая зарплата, когда все вокруг получают сто. Но ведь все воруют. А если не воровать, то что такое пятьсот рублей? Модное пальто для дочери стоит тысячу. Я двадцать лет в университете честно трудился. Что тут скрывать теперь, ну вот, как перед Богом: за жизнь ни одной взятки не взял. И в институт в Москве поступал, и кандидатскую защищал, и докторскую – все сам, честным, кропотливым трудом. А тут, понимаешь ли, сопляк, простите за выражение, пройдоха с наглецой да со связями явился не запылился. Без году неделя – смотришь, он уже завкафедрой. А я двадцать лет полз в рядовых и до смерти бы рядовым остался. Потому что я не хапуга. Порядочному человеку в той стране нет места. Не хочу я даже вспоминать все это. Моя-то жизнь уже все. Вся эта эмиграция – ради будущего моих двух

девочек. Пусть хоть они по-человечески, достойно свою жизнь проживут…

– А ты, малышка, что, скучаешь по России, я слышал? – обратился ко мне дядя Стасик. – Не грусти-и-и! Забудешь ты свою забитую Россию! Все скучают поначалу.

– Да боже мой, за чем там скучать? – строго возразила тетя Хиба. – За километровыми очередями?

Все засмеялись.

– Или ты давно слово «жид» не слышала? Не наша это страна и забудь ее, – продолжала тетя Хиба.

– А что, Америка – еврейская страна? – робко возразила я.

– Ты знаешь, сколько евреев проживает в одном только Бруклине? Знаешь?

– Ну так что? В Союзе тоже полно евреев!

– Да, но там ты должна скрывать и стыдиться, что ты еврейка. Здесь, в Америке, быть евреем – это гордость! Там нельзя ни спокойно верить в Бога, ни следовать традициям своего народа, ни вольно думать. Все дороги закрыты. Ты бы ведь никогда в институт не поступила.

– Она еще в Москве собиралась поступать! – ухмыльнулся папа.

– В Москве?! – в один голос воскликнули тетя Хиба и дядя Стасик. – Ты что? Забудь про Москву!

– Да? А почему мой папа в Москве учился? Даже диссертацию в Москве защитил! – ядовито и вместе с тем боязливо возразила я. – Маша тоже, когда вышла замуж, в Москву учиться перевелась. Мама моя вуз закончила. И, кстати, дедушка всю жизнь посещал синагогу! В Нальчике все евреи, которые хотели, ходили в синагогу.

Несмотря на мой достаточно боязливый отпор, на меня тут же посыпались возражения со всех сторон.

– Это только на Кавказе более-менее можно было ходить в синагогу! Пожила бы ты где-нибудь в центральной России или в других городах!

– Странные вы люди, но мы же жили на Кавказе! Какое вам дело до того, что в других городах? Вы-то могли ходить в синагогу!

– А тебе не противно, что во всей стране евреев преследуют?

– Я что-то этого не почувствовала!

– А тебе сколько лет от роду?

– Достаточно, я уже не маленькая.

– Когда твой папа учился в Москве, были другие времена, к тому же он такой усидчивый, у него редчайшая голова!

Папа, махнув рукой, попросил всех поменять тему, так как

считал, что разговор со мной в пользу бедных.

– Оставьте ее, все равно ее не переубедишь! – сказал он.

– Всю жизнь бы работала там за сто рублей! – не унималась тетя Хиба.

– Да нет же! Ей деньги не нужны! – отвечал за меня папа. – Деньги – это мещанство! Она будет там творить искусство!

– Искусство?! – со злобной иронией повторил дядя Стас. – Писать хочешь? Думаешь, опубликуют тебя? Твои идеи должны быть партийными. Там же все фильмы про колхоз или про великого Ленина.

– Неправда! – уж это точно, я знала, было не так.

– Да что с ней говорить! – повторил папа. – Вы ее все равно не переубедите. Оставьте ее!

– Тебе же пятнадцать лет! У тебя самый что ни есть лучший возраст, чтобы эмигрировать. Ты язык быстро освоишь. Молодые быстро адаптируются. А с языком здесь тебе такие дороги откроются, о которых в Союзе даже мечтать нельзя было! Просто ты еще не видела жизнь в Союзе, поэтому ты ту страну поэтизируешь.

* * *

После торжественного обеда тетя Хиба повела нас знакомить дальше со страной. Страна начиналась с ее кухни. Из крана шла и горячая, и холодная вода. Так здесь в каждой квартире. В Нальчике эта роскошь была только у богатых.

– Но разве мы были такими богатыми? – удивилась я.

– У нас, например, этой роскоши не было, – почему-то обиделась тетя Хиба. – А вот, – она извлекла яркий янтарный флакончик из батареи чудодейственных средств, – спрей для снятия жирового слоя.

Она взяла подгоревшую засаленную сковородку, на которой она, видимо, недавно что-то жарила, и побрызгала на нее из флакончика. Затем, не скребя, не оттирая, подставила под струю проточной воды и легко протерла салфеткой. Сковородка блестела, как новенькая.

– Вот это да-а-а!!! – выдохнули разом и мама и бабушка.

Я покинула женское общество. Тема домашнего хозяйства меня совершенно не интересовала. Мужчины, продолжая сидеть за столом, говорили о том, как наш дом в Нальчике, цена которому не менее пятидесяти тысяч, пришлось отдать за бесценок, так как на выезд дали тридцать дней. Как можно за такой срок продать дом, придумать способ, как вывезти деньги, и

вообще собраться и покинуть страну навсегда? За тридцать дней!

Квартира тети Хибы была обставлена бедно. Мебель выглядела уныло. Занавески висели еще советские. Зато в зале на мягком ковре стоял огромный цветной телевизор. Его-то я и искала. Более всего другого меня интересовала культура этой страны. Мне не терпелось узнать, какие они – американские фильмы, спектакли, актеры…

Младшая девочка, Элла, показала мне, как они здесь включают телевизор: как в сказках – на расстоянии, даже не подходя к нему, простым нажатием кнопки специального пульта.

Я нажала на кнопку и, прежде чем на экране что-то успело показаться, раздался выстрел. Затрепыхали краски и черный пистолет на голубом экране выстрелил прямо в меня.

Забавненькое начало.

Какой-то мужик от кого-то убегал и, постоянно оглядываясь, отстреливался.

– Боевик, – сказала Элка.

– А что такое «боевик»? – спросила я.

– Боевик? Ну, это когда все времья стрэльяют, – объяснила Элка.

Боевик – явно не то, что интересовало меня, и я переключила канал.

Голубоглазая американка что-то пробовала, закатывая глаза и мыча от удовольствия: «М-м-м! М-м-м-м-м! М-м-м-м-м-м-м!!!!» Ее глаза просто вылезли из орбит от восторга! Мои глаза тоже чуть не выскочили из глазниц, но от удивления: неужели можно так по-животному самозабвенно балдеть от простого торта, какой бы он ни был. Однако я не переключала, несмотря на презрение, смешанное с отвращением, которое эта женщина на экране вызывала во мне. То, что я видела, казалось мне диким.

– Это реклама, – пояснила Элла, – рекламируют торт.

Я переключила канал. Каналов, как оказалось, здесь было много, не то что у нас в Союзе: центральное ТВ и местное – всего два канала.

Какие-то люди, карикатурно одетые, с торчащими во все стороны волосами, пищали что-то, как будто имитировали детей. У одной «куклы» была видна задница. (По телевизору – задница?!!!) Какая-то невидимая группа дебилов, то и дело разражалась взрывом хохота. Как противно! Противны и этот дурацкий хохот, и показывание задницы, и это их нарочитое пищание… Боже мой!!! Размазывают торт по морде… Фу-у-у-у-у-у…

– Что это? – удивленно спросила я.

– Это камэди, – спокойно сказала Элла.

– Комедия? Это должно быть у них смешно?

– Да, а разве не смешно? – сказала Элла улыбаясь.

Я пожала плечами.

– А серьезное кино у них есть?

– Серьезное? Есть, – и Элла переключила канал.

На экране какие-то люди, все почему-то наряженные с иголочки, ходили взад-вперед и что-то говорили, говорили, говорили. Хотя у меня по английскому была пятерка, я ничего не понимала. Их речь звучала, как какое-то неестественное бурление. Да и чисто внешне все выглядело крайне неестественно: мужчины все были в костюмах, в наглаженных рубашках, галстуках, все как один красавцы и все с одинаковыми кирпичными лицами и зализанными волосами. Женщины – все до одной одинаково худые, все разодетые, при полном макияже, у каждой укладка на голове, будто только что из парикмахерской.

Поразила меня сцена: умирающая женщина в больнице прощается с родными. Они изображают горе, даже плачут, только ни один из них не забыл нарядиться, как на праздник, сделать укладку на голове, тщательный макияж и надеть комплекты драгоценностей. Даже сама умирающая (в больнице, на смертном ложе!) – накрашенная и с прической! Плачет и тушь по щекам течет, на губах помада. Когда, спрашивается, она успела накраситься и уложиться?

Я выключила телевизор.

– Выйдем на улицу? – предложила я Элке.

– Пойдем, – сказала она.

* * *

На улице было оглушительно тихо. Глухо, я бы сказала, и постоянно сильное ощущение давления, исходящее то ли от тишины, напряженной до звона в ушах, то ли от какой-то ненатуральной, необычной формы домов. Окна в домах вставлены как-то дико, трава на газончиках так неестественно аккуратно подстрижена. Странные заборы, странные деревья. Все вокруг давит, словно тебе на ноги надели туфли, скроенные не по форме человеческой ноги. Как будто кто-то перекроил традиционные улицы, нарушив всю симметрию, все пропорции, как угодно, только ощущение от этого перекроя было для моего восприятия давяще, насильственно, туго, странно, неусвоимо.

«Боже мой, – думала я, озираясь кругом на как-то фальшиво построенную панораму, – неужели я в Америке! Неужели я больше никогда не буду дома. Неужели это не сон?!»

* * *

Не успели мы с Элкой дойти до угла, смотрим, за нами бегут: бабушка, дедушка, мама, папа, тетя Хиба и дядя Стасик. Как будто случилось что-то невероятное.

– Вы что?! Куда это вы одни?! Это Америка! Ну-ка назад, домой!

– Мы только вокруг дома вышли пройтись, – оправдывалась Элка.

Нас вернули домой, а тетя Хиба, строго сверкнув глазами, громко сказала:

– Вы что?! Это Америка! Здесь детей нельзя ни на минуту выпускать одних, особенно девочек. Вы знаете, какие они здесь чудеса творят?

Уединившись с мамой в уголке, тетя Хиба принялась рассказывать маме, какие фокусы выкидывают молодые девчонки, попав сюда, в Америку, и почувствовав полную свободу. Рассказ этот выглядел примерно так:

Тетя Хиба (наклонившись к маме, монотонно тряся головой): «Пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш».

Мама (хватаясь за сердце и закатывая в ужасе глаза): «Ой!!! О-о-ой!!! О-о-о-ой!!! Ой, какой кошмар! О-о-ой!»

Тетя Хиба (продолжая трясти головой, близко наклонившись к маме): «Пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш».

Мама (прикрывая рот руками, тараща возмущенные глаза): «Ой! Ой, какой ужас! Ой, какой тихий ужас! Ой! Ой! Ой!!!..»

И так полтора часа. В результате этого рассказа, впоследствии, всякий раз, когда я собиралась выйти из дома одна, мама ложилась на цементный пол подъезда, прямо перед дверями нашей квартиры, и говорила:

– Только через мой труп!

Я была моложе и проворней – перепрыгивала через нее и убегала, куда ей за мной угнаться! Я жестокая? А запирать человека в тюрьме – не жестоко? Что мне оставалось делать? Приносить в жертву свою жизнь, чтобы не быть жестокой? Нечего ложиться поперек моей дороги. Не нравится Америка, нечего было сюда ехать.

Нужно признаться, что какая-то доля правды в предупреждениях тети Хибы все-таки была. Это насчет мальчиков. В Нальчике, на Кавказе, нравы были очень строгие. Девушкам не позволялось не то что встречаться с парнями, но даже если тебя увидит кто-нибудь, как ты просто стоишь на улице, разговаривая с молодым человеком (разумеется, если он не твой брат, родственник или сын друга семьи), то об этом тут же узнавал весь

город и к такой девушке не присылали сватов. Дикие законы. А что было делать… Справиться с целым городом я не могла. Вела себя как хорошая девочка. Иначе замуж никто бы не взял. Здесь же, в Нью-Йорке, никто никого не знал и знать не хотел, да и ничего зазорного в том, что девушка может познакомиться с парнем сама, без сватов, американцы, как и все цивилизованное человечество, не видели. Когда человека всю жизнь держат взаперти, а потом вдруг выпускают на волю, такая перемена сильно бьет ему в голову.

Помню, как я впервые оказалась у газетного киоска, где традиционно развешивают порножурналы с предельно откровенными позами на обложках. У меня просто ноги отнялись от такой обезоруживающей открытости. А вокруг все двигается, кишит, как ни в чем не бывало. На улицах повсюду парочки, парочки. Некоторые просто ходят в обнимку. На каждом шагу, то здесь, то там, какая-нибудь парочка так засасывается на глазах у всех, что потом несколько недель пьяной ходишь. Всем нормальным людям это все по фигу, это только я такая дикая и голодная, потому что меня всю жизнь на цепи держали и к мальчикам приближаться не позволяли. Не родители, а кавказские нравы. С родителями справиться не составляет никакого труда. Главное – общество.

Оказавшись в Америке, я действительно почувствовала свободу в этом отношении. Нью-Йорк – не Нальчик. А любовь – главный смысл жизни, наверное, любой девочки. Это не значит, что я собралась на радостях стать какой-нибудь «легкого поведения» или что-нибудь такое недостойное сделать. Я просто была рада, что смогу здесь осуществить такую естественную и прекрасную мечту, как встретить Любовь. Это же ужас, когда к тебе присылают сватов и ты должна выйти или не выйти замуж за человека, которого ты ни разу не видела вблизи, с которым ты ни разу не говорила наедине, которого ты практически совсем не знаешь. Если бы мы не эмигрировали, я бы обязательно уехала в Москву сразу после окончания школы. Кто собирался это терпеть? В Нью-Йорке от одной мысли о возможности цивилизованно выйти замуж во мне все поет. Я найду его сама. Что в этом плохого?

Дома все переполошились: нельзя знакомиться неизвестно с кем на улице! А у меня в Америке, кроме тети Хибы и дяди Стасика, все «неизвестно кто». За кого же я выйду замуж, если не пробовать знакомиться с чужими, – за тетю Хибу?

* * *

Первый мальчик, с которым я познакомилась на улице, оказался израильтянином. Он говорил по-английски с сильным акцентом, но я понимала его.

– Я живу вот здесь, видишь этот дом? – сказал он мне, улыбаясь и ласково глядя на меня. – Хочешь зайти ко мне в гости? Послушаем музыку вместе.

Хоть я и понимала то элементарное, что он говорил, серьезной беседы с человеком, не говорящим по-русски, я знала, быть не может. Зато ничто так много не скажет о человеке, как его квартира, музыка, которую он слушает. Мы вошли к нему в дом, и не успела я сказать «а», как передо мной стоял отвратительный монстр со спущенными штанами, который быстро-быстро теребил свой склизкий поганый обрубок, приговаривая:

– О беби, ай вонт ю! О-о! О-о-о!!!

Я окаменела.

Хотя я и сгорала от нетерпения попробовать все то запрещенное, что может происходить между мужчиной и женщиной, это животное, с искаженным лицом паралитично трясущее передо мной свой тухлый гриб, ничего, кроме брезгливого отвращения, во мне не вызывало. Я сделала невольный шаг назад. Он, тяжело дыша и все повторяя: «Ай вонт ю, беби», – двинулся на меня еще агрессивнее. Я почувствовала, что попала в ловушку. Тогда я тронула его за плечо и шепотом проговорила:

– Клоуз йор айз, беби! Ай вонт то гив ю сюрпрайз.

– Сюрпра-а-йз?!! – обрадовалось животное, и изо рта у него потекли слюни, а обрубок стал еще более склизким.

– Закрой глаза, сосчитай до трех… и тогда… Тогда-а-а…

Я пыталась сообразить, сколько секунд или шагов отделяет меня от двери, пока он стоял с закрытыми глазами. И так же резко, как он, прежде чем он успел сказать «а», рванула к выходу. Он запутался в собственных штанах, не успел схватить меня.

После этого случая я стала поосторожнее. Познакомилась с молодым человеком, а он, оказывается, поляк. Что-то мне американцы не попадаются. Поляк, так поляк. Поляк – не проблема, я для всех открыта. Главное, что за личность. Однако больше в гости я не ходок. Зашли в кафе, заказали коку, и так просто, как ни в чем не бывало, он опустил свою элегантную руку на мое колено. Через 15 минут после того, как он меня впервые в жизни увидел! Только что сидел передо мной такой обаятельный длинноволосый парень, вмиг превратился в скелет трупа. Как на плакате: «Осторожно: опасно!» – череп и две кости крест-накрест.

* * *

Дядя Стасик как-то говорил, что здесь есть газета для русскоязычных эмигрантов: «Русская жизнь». Однажды он купил и принес ее нам. Сколько объявлений было в этой газете! Даже, представьте себе, такое: «Очень одинокий молодой человек познакомится с девушкой». Я таких объявлений в жизни не видела ни в Нальчике, ни в Москве. А в Москве я бывала много раз, там живет моя сестра Маша. Она мне двоюродная, но мы как родные. Несколько лет назад она вышла замуж за москвича и уехала в столицу.

А что? Почему бы не ответить ему? Я тоже очень одинока. По газете, пожалуй, лучше знакомиться, а то на улице мне только больные попадаются.

По телефону мой новый знакомый звучал вполне прилично. Мы встретились. Он был ростом чуть более метра. Карлик – не карлик. Горбун, может быть. Я не знаю, как такие больные называются. Он поздоровался со мной, улыбнулся, и мне открылся ряд металлических вставных зубов. Я, конечно, виду не подала, но обалдела. Гуляла с ним четыре часа, чтоб его не обидеть. Тем более, что на мой вопрос: «Почему ты уехал из Союза?» он ответил так:

– Я уехал от несправедливости!

Разве справедливо отталкивать человека только потому, что у него физическое увечье? Он не виноват в этом. У него, может быть, замечательная душа. Меня мучили угрызения совести. А он все четыре часа рассказывал о том, как все и вся в Союзе несправедливо относились к нему, как он устал от этой несправедливости.

Был еще один молодой человек: с ним я познакомилась на курсах английского языка в «Наяне».[2]

Он сказал мне, что он единственный из всех его друзей, кто согласился бы со мной встречаться, несмотря на то что я девственница. Вот это заявление! Он великодушно простит мне такой порок. И как он вообще узнал, что я девственница?! У меня что, на лбу написано? Неужели это так сразу видно? Нетушки! Раз я столько лет берегла честь и достоинство, я не хочу дарить их тому, кто этого даже не оценит. Я поищу того, для кого девственница – это достоинство.

Вот недоделок! Оказывается, и такие бывают. А мама мне всю жизнь так уверенно твердила: недевственницей ты никому не нужна, используют тебя и выкинут. В Нальчике так и было: старшая сестра моей подруги Тани имела глупость переспать с любимым человеком (они долго тайно встречались). Он переспал

с ней и бросил. А она осталась с ребенком одна, опозоренная. Я дружила со всеми тремя сестрами и знаю точно: они не были «гулящими», классные девчонки. В других частях огромной Страны Советов, как видно, все было по-другому. Оказывается, есть и такие, для кого девственница – недостаток!

* * *

Мы сняли квартиру.

Увидели бы эту квартиру наши родственники из Союза! Сразу бы в обморок упали и вмиг излечились от Америки. Ужас! Сижу за решеткой в темнице сырой! Две комнатки, известь осыпается на каждом шагу, окна выходят в глухой колодец, мыши, тараканы и мусоропровод с нами дверь в дверь. После нашего большого и уютного дома в эту «квартиру» противно даже войти. Тюремная камера, ни дать ни взять: мрачная, темная, вонючая. Не могу поверить, что мы теперь здесь будем жить.

– Это самый лучший район Бруклина! – сказал нам дядя Стасик. – Дешевле трудно найти.

Как оказалось, в шестиэтажном доме, где мы поселились, живет много наших эмигрантов. В первый же день, когда мы перевозили багаж, они подходили, приветствовали нас в лобби.[3] Как видно, приезд еще одной «русской» (так они здесь называли эмигрантов из Союза) семьи был в их жизни событием.

На поиски квартиры и переселение ушло довольно много времени.

Оформления, оформления, оформления – им не было конца. После того как оформили аренду квартиры, надо было устроить Таньку в школу. За углом находилось здание, похожее на тюрьму, это и была местная школа. Старикам нужно было оформлять пенсии, медицинские страховки. Нас с предками надо было записать на курсы английского, чтобы хоть немного, хоть для минимального общения улучшить свой язык. И все это одновременно.

Нужно было где-то раздобыть шесть кроватей и хотя бы один стол, чтобы как-то жить первое время. Кто-то в семье должен был срочно найти какую-нибудь работу, так как еврейская организация «Наяна» помогала не более трех-четырех месяцев. Спасибо и за это, иначе, даже пока мы сообразили бы, как передвигаться в этом гигантском городе, просто умерли бы с голоду.

Научиться ориентироваться и не теряться каждый раз, выходя

из дома, первые месяцы было чуть ли не основным делом жизни. Если надо было поехать куда-то, то это на целый день. Мало того, что в этом городе не было дороги короче, чем на пару часов, для нас эта пара превращалась в шесть часов. Я не могла совершить ни одной поездки, не потерявшись несколько раз на пути туда и несколько раз на пути обратно.

Как оказалось, русские эмигранты в Нью-Йорке – явление привычное.

– В любой синагоге, – рассказывала нам тетя Хиба, – имеется подвал-хранилище, куда зажиточные американцы сдают одежду, посуду, столы, стулья, постели – словом, все, что по какой-то причине им уже не нужно, но вполне еще пригодно для употребления и может оказать большую помощь новоприбывшим в первое, трудное для них время.

– В этом нет ничего зазорного. Все с этого начинали, – эти фразы мы слышали по пять раз в день. – Америка страна эмигрантов. Самые зажиточные американцы когда-то тоже, как вы, приехали с узелками в руках.

Хоть нам и казалось, что мы взяли с собой из Союза все предметы первой необходимости, сняв квартиру и начав жить, мы обнаружили, что не привезли и сотой доли всего необходимого, а привезти все было просто-напросто невозможно.

Объездив с помощью дяди Стасика все ближайшие синагоги, кое-как нашли несколько стульев, два матраца. Стулья были хоть и не очень чистые, но вполне пригодные. Матрацы же с виду были так, ничего, но как только их принесли в дом, по всей квартире пуще прежнего замелькали шустренькие, противненькие, фасолеобразные букашки.

– Это тараканы, – пояснила тетя Хиба со вздохом. – Тараканы – бич Нью-Йорка. Борись с ними, не борись – они в каждой квартире есть. У всех.

Первое слово, которое мы выучили в Нью-Йорке по-английски, это *«кокроуч»* – «таракан». А еще, его веселую русско-испанскую вариацию – «кукарачча».

Вошел дядя Стасик, счастливый, довольный.

– Та-ак! Одевайтесь, быстренько! Я здесь поездил вокруг. На Авеню Пи кто-то кровать выставил в гарбич. Они так специально выставляют на улицу, *а гарбичмены* специально не забирают, зная, что кто-нибудь да подберет.

– А кто это такие, «гарбичмены»? – не поняли мы.

– Вы не знаете, кто такие гарбичмены?! Мусорщики! «Гарбич» – по-английски – мусор!

– Так что, надо поехать забрать? – неуверенно спросил папа.

– А что, смотреть на нее что ли? – засмеялся дядя Стасик. –

Широкая, двуспальная, первое время на ней можно и втроем уместиться. А если сейчас не заберем, завтра среда, мусорщики могут забрать. Эти же слюнтяи… им лень в синагогу отвозить, они и выставляют на улице. Несколько дней не подымет никто – мусорщики увозят. Новые, хорошие вещи, вот вы сейчас увидите.

* * *

Поход в супермаркет занимал полдня. Продавщицы нет, спросить не у кого. Полки, заставленные продуктами, каждая – километр длиной. Полок целый аэродром. Яркие шикарные коробочки, пакетики, баночки… Поди разберись, что там. Спросили, где сыр, нам показали. Все сорта и виды сыров, которые есть в мире, были здесь, в местном супермаркете. Попробуй пойми, какой сыр тебе нужен. Купили что попало, чисто по картинкам. Дома открыли банки, чтобы пообедать, но вошел дядя Стасик и покатился со смеху.

– Вы… вы… – говорил он, помирая со смеху, – собачьи консервы купили…

Мы переглянулись недоумевая.

– Консервы для собак! – пояснил дядя Стасик и снова скрутился.

Мы все еще не могли понять, что существуют «консервы для собак». Собаки, что, люди? Консервы – для людей. А собакам – кости.

* * *

Сегодня дядя Стасик привез нас на Брайтон-Бич.

– Вы не знаете, что такое Брайтон? – удивился он. – Это маленький Союз, или, точнее, это маленькая Одесса. Здесь живут в основном русские эмигранты, а так как большинство из них одесситы, Брайтон называют «маленькой Одессой». Здесь самые лучшие русские магазины. Вот вы сейчас увидите!

Мы вошли в магазин. Ощущение такое, будто я попала в волшебное царство, где абстрактное выражение «мед и молоко льются рекой» превратилось в явь. Здесь было все-все, о чем только можно мечтать, и даже то, о чем не мечтали. Уж насколько я презираю удовольствие смачно пожрать, и то не могла оторвать восхищенных глаз от батареи аппетитно выстроенных бесчисленных сортов колбас. Копченые, вареные, телячьи, говяжьи, салями французские, салями немецкие, салями

итальянские, буженина, польская колбаса, краяна, чесночная, докторская – всяческая! Живописно оформленные сорта рыбы: копченая, вяленая, маринованная. Балык, красная рыба, осетрина.

– Ну что? Вкусно кушать – это же мещанство?! – блестя глазами от радости, подмигнул мне папа, заметив, что я глотаю слюнки.

Я на минуту оглянулась вокруг, искала глазами наших. Мама с раскрытым ртом смотрела по сторонам, и глаза ее блестели от восторга.

– Смотри, Танечка! Бананы! Смотри их сколько! Посмотри, какой виноград!

Дед, взяв бабу под руку, прохаживаясь, более сдержанно, чем мама, приговаривал: «А какие хлеба благородные! Пышные, царские!»

– Пять, шесть, семь… восемь сортов! – сказал папа.

– И все как куколька! Как дома испеченнии, – добавила бабушка.

– А в отделе тортов вы побывали? – спросил папа оживленно. – Киевский торт! В Америке, представляете? Конфеты «Белочка», «Птичье молоко»!

– Ой, посмотрите, посмотрите туда! – перебила его мама.

Молодая продавщица перекладывала гигантской ложкой красную икру из одного сосуда в другой с таким же спокойным лицом, с каким в сказках по телевизору купцы высыпают из мешков груду золотых монет.

Буквально через пять минут я уже была голодна как зверь. Я не знала, чего хотеть и что покупать: хотелось попробовать все, что я видела. Вот это Брайтон-Бич!

У выхода из магазина две женщины громко спорили:

– Да пойми ты, деревня, правильно говорить «дыс!», – говорила одна.

– От деревни слышу, ты сама деревня! Кто же так произносит? «Дыс!» – передразнила вторая. – Да не «дыс», а «зыс»!

– А давай на доллар поспорим с тобой! Ты проиграешь! «Зыс» – не говорят! Это грубейшее, деревянное произношение.

– Ага… А «дыс» – говорят?! Ну, ты сумасшедшая! Спорим на три доллара!

– Девчонки, как правильно произнести по-английски: «дыс» или «зыс»? – обратились в конце концов обе женщины к продавщицам.

Продавщицы говорили каждая свое: одна утверждала, что правильно «зыс», вторая утверждала, что правильно «дыс»! Третья говорила, что и то и другое неправильно, а надо говорить «выс!»… Поднялся базар, и в это время мы ушли из магазина.

* * *

Помню свои первые впечатления от витрин американских магазинов, помню щекочущее ощущение тщеславия перед воображаемыми друзьями в Союзе, которое я испытывала впервые, стоя у застекленных богатых витрин. Меня распирало желание охапками забрать все с этих витрин, подчистую, и послать в Союз. Представляю, сколько шума это бы там наделало.

* * *

День нашего первого визита в «Наяну». Вся семья, от мала до велика, в первый раз выехала в Манхэттен. Все нарядные, заинтригованные. В первый раз мы увидели сабвэй – так здесь называют метро. В Москве, в Ленинграде я видела метро: с мраморными полами, с расписными потолками, каждая станция – как музей. Все безукоризненно чисто – ни окурка, ни соринки. В Нью-Йорке, как вы думаете, хуже или лучше?

Вонючий подвал. Смесь всех оттенков серого и черного цветов. Запах сырости перемешан с запахом мочи. Лужи, плевки, огрызки яблок, гнилые продукты… Оскорбление человеческого достоинства. Пощечина. Омерзение. Вот – нью-йоркское метро. Такое средство передвижения – для скота, не для уважающих себя двуногих.

Ни в метро, ни в городе – ни одного американца. Китайцы, корейцы, индусы, негры, арабы, если где промелькнет белое лицо – русский эмигрант. Где американцы?

– А американцы – это и есть эмигранты, – пояснил папа.

Заблудились, естественно. Встали кучкой посреди улицы.

– Эскюз ми! Эскюз ми! – махал рукой папа пролетавшим прохожим, кротко улыбаясь и покашливая.

Папа выговаривал все это так долго, что прохожие успевали услышать только одну букву из всего, что он говорил.

Наконец кто-то остановился. Женщина с сумкой и в очках. Мы все ее окружили, опасаясь, как бы и она не улетела.

– Наяна… Наяна… – повторял папа.

– На-на? – проглотила американка.

– Нэяана, нэяана, – поправила мама.

– На-на, на-на, – утвердительно закивала американка, глотая и коверкая звуки.

Она подняла указательный палец, посмотрела сквозь свои суровые очки вправо и залпом проглотила целый поток предложений с важной для нас информацией.

– М-м-м… пардон аз, вуд ю репит, плиз, – мягко улыбаясь, попросил отец.

Американка опять равнодушно и быстро, одним залпом проглотила, вероятно, тот же набор предложений, но еще раз повторить отец ее не попросил.

– Вы что-нибудь поняли? – спросил он нас с мамой, после того как она улетела.

– Кажется, улица, которая нам нужна, – Фортостит, – неуверенно сказала я.

– Мне тоже так показалось, – сказала мама, – но у меня есть адрес, там нет такой улицы. «Найана» находится на Четырнадцатой стрит, а «четырнадцать» – это «фотин». Как же быть?

Решили, что это ошибка. Снова стали ловить прохожих: сжимаясь в размере, задавать вопросы, растягивая уши, ловить ответы.

– Фортостит, – подтвердили и другие.

Нашли еле-еле. Оказалось, «фортостит» и «фотин стрит» – это одно и то же. Американцы, как выяснилось, выговаривают «ар», но при этом глотают другие слоги. Вот как просто все на самом деле было. А мы, как дебилы, искали «фортостит».

* * *

В «Наяне» наша ведущая миссис Померанец, приветливо скаля зубы, каждому из нас пожала руку, даже Таньке.

– Со, хау ар ю? – спросила Померанец Таньку.

– Скажи «файн»! Скажи «о'кей», – шептали мы, но Танька только краснела и краснела, пока мы не перестали обращать на нее внимание.

В кабинете речь миссис Померанец стала абсолютно нечленораздельной: один сплошной журчащий, бурлящий поток.

Мы сидели как вкопанные, безуспешно стараясь поймать неуловимое.

Миссис Померанец снисходительно показала зубы еще раз и привела переводчика. Тот объяснил, что папе предлагалась работа слесаря, но это только на первое время. А мне, тоже только на первое время, работа в магазине.

– Я не хочу терять время зря, – сказала я.

– Во-первых, в этом году ты уже все равно опоздала в колледж, – сказал мне папа, – во-вторых, ты попробуешь, что такое работать, как взрослая, в Америке, – заработаешь кучу долларов! Представляешь себе, ты заработаешь доллары! Ты даже

сможешь заработать себе на автомобиль!

– Да нужен мне ваш автомобиль! Я могу и в автобусе ездить. Не буду я тратить драгоценное время на ерунду!

– Это очень престижный большой магазин в Манхэттене, – добавила Померанец. – Кто-то должен начать работать.

– Ну, только не больше чем на месяц! – нехотя согласилась я.

Для папы решили искать более подходящую ему работу.

– Хотя бы чертежником, – говорил он. – Это будет, по крайней мере, то, что я умею делать.

– Слесарем!!! Человек за свою жизнь ничего тяжелее авторучки в руках не держал! – усмехнулась мама.

– Ты всегда пытаешься меня унизить! – начал багроветь папа. – Да, не слесарь я. В этом ты видишь мой недостаток? Я не забивал гвозди и не умею держать молоток, но я защитил кандидатскую и докторскую! Мои труды опубликованы более чем в десяти странах мира, а для моей жены я все не хорош, потому что я не умею забивать гвозди!..

– Тихо, тихо, позор какой! – зашикали старики, недовольно косясь на маму. – Зачем ты сейчас завела его? Ты не могла не съязвить?

– Я ничего такого не сказала! Мне просто смешно, что они ему предлагают.

* * *

– А улыбка-то у нее странная, – заметила мама, когда мы вышли. – Вы видели, как они здесь улыбаются? О! – мама оскалила зубы и сделала гримасу.

– Да, действительно, – согласились все.

Когда мы вернулись домой, бабушка открыла кастрюлю с супом и отпрыгнула с криком. Мы все сбежались: в кастрюле лежал, лапками кверху, огромный налитой дохлый таракан. Никто из нас пока не мог привыкнуть к этим тараканам.

Вечером мама пошла мыться в душ и из ванной донесся вопль, а затем звуки тяжелых ударов о стены, дверь, пол. Она залезла под душ, а из мочалки таракан – как понесется прямо по ее голому телу! На себе его прихлопнуть трудно, пищала так, что мертвых бы разбудила, пока его скинула. Потом все-таки тапочкой его прибила.

* * *

Дед зашел в туалет и выскочил оттуда как ужаленный. Нам он не хотел говорить, но потом мы от бабушки узнали: он увидел в унитазе в своей моче кровь.

– Шестьдесят лет живу на свете и не видела, чтобы человек писел с кровью! – озабоченно говорила бабушка на нашем горско-еврейском языке, который один и знала в совершенстве. – Что же это может быть такое?..

– Надо бы показать его врачу, – сказала мама тоже по-горски. Они всегда говорили на этом языке, когда говорили о чем-то важном.

Мама в прошлом медработник, имела два образования: фельдшера-акушера и педагога.

– Когда будет «медикейд»?[4] – спросил папа. – Померанец сказала, что нам скоро дадут всем медстраховку… Когда же это «скоро»?

* * *

Моя первая работа в жизни – в большом универмаге «Сенчюри Твенти Уан», в даунтауне. Станция метро Кортленд-стрит. Два часа дороги туда, два обратно. Думаете, продавцом? Не-а! Даже не помощником продавца. Работа истуканом. Это я ей такое название дала, так как заключалась она в том, чтобы стоять на одном месте по стойке смирно до помутнения в глазах и ничего (!) не делать.

Впрочем, какие-то обязанности у меня все-таки были: иногда, когда в отдел заходили покупатели, а продавщица уходила на ланч, я должна была развесить по местам все, что разворошил посетитель. Это был отдел женского белья. Все трусики висели в одном месте, все лифчики – в другом, и т. д. Вот так стоишь себе на одном месте, пока перед глазами синие круги не пойдут или какая-нибудь нога не задеревенеет. Зачем это им надо людей мучить? Зачем они меня здесь поставили? Я объяснить покупателю ничего не могу, да и не требуется этого. Поставили меня, только чтобы помучить.

А американки, оказывается, сущие свиньи! Пустить американку в отдел – все равно что посадить свинью за стол. Сколько там трусиков на вешалках висит, она все их сдернет, размеры перепутает и, не купив ничего, с довольным видом пойдет в другой отдел.

Просить их убрать за собой строго запрещалось. Даже нельзя было выказывать недовольство. Они все переворачивают, а ты им улыбайся! Так бы и убила этих гадюк синтетических! Трусики

розовые – все в одну кучу. Бежевые – в другую. Черненькие – в третью. Беленькие – в четвертую… Все по вешалочкам, один к другому, аккуратненько. Не успею я еще закончить, как является очередная «чушка» и в один миг переворачивает то, что я уже битый час раскладывала.

Все мои одноклассники уже поступили кто куда, учатся на первом курсе университетов, институтов, а я здесь трусики сортирую. Как-то раз вижу: одна из посетительниц смотрит трусики и кладет их на место, смотрит другие – опять на место. Я от удивления подошла к ней вплотную и смотрю на нее во все глаза. А она мне на чистом русском языке говорит: «Недавно приехали?»

Наверное, дело здесь не просто в культуре, а в том, что у каждой советской женщины рефлекс, как у собаки Павлова: она настолько боится, что продавщица агрессивно обрушится на нее, что готова не только за собой прибрать, но и уложить то, что другие раскидали. Мы разговорились с Ритой: интересов общих не оказалось. Рита тоже работала в этом магазине, только в обувном отделе на первом этаже. Работала она давно, так что ее уже повысили в продавщицы. Предложила познакомить меня с поэтом из Москвы.

– Он у нас в бэйсменте пока грузчиком работает. Его зовут Леня. Но ты же знаешь, здесь все первое время грузчиками работают, это ничего не значит.

– В бэйсменте? – переспросила я, не поняв незнакомого слова.

Рита засмеялась.

– «Бэйсмент» – это подвал. На складе в подвале он работает, здесь, в нашем магазине.

Вот все, что было на моей первой работе, если не считать минимальной по американским понятиям, но заоблачной по нашим, советским, меркам зарплаты: четыре доллара в час. Четыре доллара – это громадные деньги! Но целый час быть истуканом, огромный час – тупости, час – ряби в глазах, час – потерянный из жизни! Стоил ли он даже таких больших денег, как четыре доллара?

* * *

Однажды я задала папе вопрос. Ради какого великого будущего мы опустились на самое дно жизни? Ради чего все эти, пусть даже временные, но вычеркнутые из жизни тяжелые месяцы, а то и годы? Ради чего мы бросили огромный дом с садом, где у каждого была своя комната, у папы – свой кабинет, личная

библиотека, еще одна библиотека внизу, большая гостиная, прекрасная виноградная беседка, балкон и терраса? Ради каких таких благ в будущем мы теперь жили вшестером в двух комнатах, спали вдвоем или втроем на одной кровати, подобранной на гарбиче, да еще с тараканами?

Зачем папе понадобилось бросать работу преподавателя в Кабардино-Балкарском университете и, унижаясь, умолять о работе чертежника, но не слесаря, только не слесаря?

Зачем я, вместо того чтобы учиться теперь на первом курсе МГУ или ВГИКа, стояла здесь, собирая трусики, которые перемешивали избалованные американки? Ответ: «Да не поступила бы ты никогда!» – был для меня не убедителен. Я-то знала, что поступила бы.

Что такое должно было произойти в будущем, что окупило бы весь тот кошмар, в который мы попали? Я не издевалась, я действительно не понимала!

Папа же принял мой тихий, спокойный вопрос за издевку и, что совершенно для него нехарактерно, раскричался так, что брызги изо рта летели.

– Ну и уезжай в свой Союз обратно! Такие, как ты, павлики морозовы[5] не заслуживают хорошего! Вы неблагодарные свиньи! Я никого не заставлял сюда ехать! Очень жаль, что ты там не пожила!

– А где же, по-твоему, я жила? – удивилась я.

– Ты жила у отца за пазухой!

Я, может быть, и жила, как он говорил, у него «за пазухой», но все же я жила там, в той стране. У меня было нормальное достойное детство и вполне осмысленная юность. Я выросла в той стране, сформировалась там и ко времени отъезда соображала уже достаточно, чтобы теперь задавать вопросы.

Я не понимала, ради чего я должна была неизвестно сколько времени жить в маразме. Я готова была допустить, что в силу молодости я чего-то не успела понять, готова была выслушать объяснение. Когда же на мои вопросы вместо убедительных логических ответов я слышала озлобленный крик и оскорбления, то начинала догадываться, что мой отец совершил неописуемую, непростительную ошибку!

Однако, понимая это, что я могла изменить? Уехать обратно? Действительно, перед отъездом из Союза родители предложили мне, если хочу, остаться. Вот это-то предложение как раз и было издевательским, хотя они уверяют, что искренне предлагали. Дело вовсе не в том, что мне было 15 лет и я бы не смогла прожить сама, без взрослых. Мне могут не верить, но я-то знаю: я бы не пропала.

Причина была в другом. В свои 15 лет, так же как и в 14, и в 13, и в 12, и вообще, сколько я себя помню, больше всего на свете я любила свою маму. До сих пор я не знала в жизни ничего, ради чего я бы могла отречься от мамы. Ничего! Так же сильно и нежно я любила и своих стариков – дедушку и бабушку, да и самого папу, пока он не заболел Америкой, одержимый своей безумной мечтой. Америка убила всю мою нежность к нему, осталось одно раздражение.

Я не могла представить своей жизни даже без одного из них, не то что без всех сразу. Ничто не могло компенсировать такую потерю. В 1980 году уехать за границу означало умереть для всех тех, кто оставался в Союзе. Я понимала, что, однажды разлучившись с ними, я больше никогда их не увижу. Я не могла пойти на такое. Я не могла похоронить их всех одновременно.

Но точно так же сильно, как я любила свою маму и свою семью, я любила и свою страну, и свою культуру. Я любила дом, в котором прошло мое детство, улицу, на которой мы играли детьми и росли с подругами; я любила стены своей школы, многих своих учительниц, киоск на углу, неподалеку от дома, тетю Надю, Эмкину маму, которая в этом киоске работала (Эмка – моя ближайшая подруга); я любила железную дорогу, расположенную за школой, убегающую змейкой в большую жизнь. Я знала историю своей страны, я любила ее писателей, поэтов, артистов, режиссеров…

Уехать из своей страны, быть навсегда оторванной от всего, что в ней происходит, было все равно, что умереть. Уезжать я не просто не хотела: это было гораздо серьезнее, чем хочу – не хочу, я понимала, что означало для меня «уехать».

Я не могла выбрать. Не выбрать – это уже само по себе, оказывается, выбор. Я уехала со всеми, так как не проявила никакой инициативы, чтобы остаться.

* * *

Путь эмигрантов из СССР в 1980-е годы пролегал сначала через Австрию и Италию, а по истечении трех-четырех месяцев эмигранты прибывали в США.

Позже, в Италии, я тысячу раз благодарила судьбу за то, что не осталась. Мамочка, моя мамуля, наверное, не перенесла бы такого удара. Она интеллигентный человек: когда прощались со всеми в Бресте, вела себя сдержанно, без выкрутасов, без истерик и падений в обморок.

Так же сдержанно вели себя и все остальные. До Бреста нас провожали только самые близкие: мамина мама – бабуля Маня, мамин родной брат, дядя Борис, родная сестра моего папы и единственная дочь дедушки с бабушкой – тетя Валя – и две родные сестры моей бабушки. У каждого оставался в Союзе кто-то родной.

Как сейчас помню их лица, бледно-серые, потерянные. Все понимали, что никогда больше не увидятся. Это тикали последние минуты вместе. Старались держать себя в руках, не расстраивать друг друга слезами и причитаниями. Как-то даже не верилось, не укладывалось в голове, что сейчас пройдем эти железные ворота – и там как отрубит разом все эти родные до боли, бледные лица, все, что было до сих пор, все близкое, до истерики близкое. Не мо-о-о-жет бы-ы-ы-ть!!!

Прошло чуть более месяца (мы в это время были в Италии), и мама попала в больницу. Никаких признаков болезни – вдруг упала на улице, и я увидела, что самый дорогой человек, который у меня есть на свете, моя мама, умирает! Я по-итальянски – ни слова. То есть те слова, что я знала, типа «миля», «лира», здесь не помогали. Где госпиталь – не знаю, какой номер «скорой» – не знаю, что делать – не знаю!

Маму спасли. Только чего мне это стоило – сама чуть не умерла от страха. А если бы меня там не было? Старики вообще – ни бум-бум, Танька – малышка, а папа, он, пока один палец поднимет, земля полный оборот вокруг своей оси сделает. Я сориентировалась, бегом туда, бегом сюда, забыв всякий стыд, стучалась в двери к незнакомым, жестами, истерическим криком, по-русски объясняя итальянцам, что человек умирает. В госпиталь отвезли, даже переводчик русский нашелся: это, говорят, на нервной почве. Было у нее нервное потрясение? Было ли! Половину своей семьи заживо похоронить, мать-старушку бросить… Мама не могла себе этого простить.

А что она могла сделать? Она должна была отречься или от матери с братом или от одной из дочерей с мужем. А если бы в последний момент еще и я осталась?

Глава вторая
Декабрь 1980 г. – февраль 1981 г.

Когда мне было 10 лет, это было в 1975 году, папа спросил меня, не хочу ли я поехать в Америку. Он пообещал, что в Америке я увижу «Битлов», а еще он мне купит автомобиль «Шевроле».

Когда мне было 10 лет, этого хватило, чтобы я охотно согласилась ехать с папой. Тогда он сказал маме: одна дочь тебе, одна мне. Не хочешь ехать – развод! Услышав это, мама, которая раньше наотрез отказывалась, сразу же согласилась ехать с папой в Америку. Папа подал заявление на выезд, но ему отказали.

Отказывали ему ни много ни мало пять лет. Когда же его наконец отпустили, дав на выезд 30 дней, мне было уже 15 лет, и я была уже совсем не тем ребенком, который готов был ехать в Америку за автомобилем «Шевроле». Прошло всего пять лет, но за это время ребенок превратился в сформировавшегося человека. А на выезд дано было 30 дней!

Уже давно все забыли о папиной затее с отъездом, только папа все неугомонно хлопотал, пока не добился своего.

Вот теперь я в Америке. И никто не может мне объяснить, ради чего все это.

* * *

Пока нам дали медикейд, прошел месяц. Пока сообразили и вычислили, к какому врачу и куда вести деда, прошло еще недели две. Наконец провели обследование: у нашего деда, оказывается, рак. Лечить можно, но, кажется, уже поздно. Похоже, что поезд ушел.

В Италии он три месяца купался, загорал, грелся на песке. Солнце активизирует рост раковых опухолей. А мы-то не знали! Может быть, и стресс добавил свое. Дедушка не попал в больницу сразу, как мама, на нервной почве, а, возможно, схлопотал себе рак. Я знала: так же, как мама переживала разлуку со своими матерью и братом, дедушка переживал, что оставил в Союзе любимую дочь.

Папа не признавал ни влияния стресса, ни влияния итальянского солнца. Он считал, что если человеку суждено заболеть, то это случится, где бы он ни был – в Италии или в Нальчике. В Америке больным открыто говорят, что им недолго

осталось жить. У нас в Союзе это не принято.

– Доктор, пожалуйста, не говорите ему!

Кто знает, в какой именно день и час спасти деда стало невозможно. Я уверена: если бы мы сразу, не откладывая, обратились к врачу, нам бы удалось его спасти! Конечно, если бы мы знали, насколько серьезно было то, что в моче кровь, мы бы и в Америке любой ценой нашли путь немедленно обследовать деда. Но мы были все обалдевшие, пришибленные, с заторможенными реакциями. Мы с трудом функционировали в новом мире. Пойти к врачу у нас заняло около двух месяцев. Оказалось, этого срока достаточно, чтобы потерять человека.

Вас не удивляет, как холодно, как рассудительно я говорю о смерти одного из самых дорогих мне людей?

Дед умрет… а я спокойно об этом рассуждаю?

Что со мной? Как удивительно я спокойна. Может быть, я не верю? У меня просто в голове не укладывается, что мой любимый старик, мой седой дедушка, пропахший моим детством и сигаретным дымом, умрет.

* * *

Почти во всех письмах, разговорах, всегда, когда упоминали об эмиграции, предупреждали, что первое время будет, конечно, тяжело. Понимали мы все и сами, что это не шутка, взять и переселиться на другой континент. Тоска по дому, по родным, переживания, слезы – все это ожидалось и воспринималось спокойно. Но ничего этого не произошло. А произошло совсем, совсем неожиданное.

Слез не было. Тоски не было. Не было вообще никаких эмоций. Словно в нью-йоркском аэропорту во время регистрации виз кто-то невидимый проделал над всеми нами хирургическую операцию: вырезал тот важнейший, неизвестный еще людям орган, благодаря которому люди что-то чувствуют, шприцом вытянул из нас все слезы и прижег навсегда их источник.

«Органами чувств» называют те органы, которые обеспечивают человеку возможность видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать вкус. Оказывается, люди поспешили, назвав их «органами чувств».

Вот, к примеру, я узнала, что деду жить осталось недолго. Я не оглохла, я слышала, о чем говорили домашние тайком от самого деда, я понимала значение слов. Но то, что я слышала, в меня не проникало. Должна была быть реакция, я помнила это из своей прошлой жизни, а реакции не было.

Вот еще пример попроще: пошел дождь. В старой жизни каждое движение природы, каждый запах вызывали целую вереницу разных эмоций. Эти эмоции, эти реакции, как я теперь начинала понимать, и составляли жизнь.

Человек, живущий у себя на родине, в естественной обстановке, даже не может себе представить, каким богатством звуков, шорохов, запахов, ассоциаций… наполнен один, самый простой, самый неприметный день его жизни. Оценить это он сможет, лишь попав в эмиграцию, потеряв это все, а затем, пережив заново забытые ощущения во сне…

Опавший лист, вид простого дерева, запах хлеба, вкус молока, вид подоконника, запах кресла, ощущение школьной парты, мела в руке… Миллионы, миллионы разных ощущений, реакций, эмоций за день.

Зрение мое продолжало функционировать: я видела. Поврежден был другой орган, посредством которого я воспринимала все, что я видела. Повреждено было нечто жизненно важное, без чего ни зрение, ни слух, ни обоняние, ни осязание – сами по себе не имели значения. Этот неизвестный пока науке орган был основной мощной машиной, ответственной за усвоение информации, которую зрительные или слуховые рецепторы лишь как посредники ему передавали.

Зрение и слух информацию передавали исправно, а что-то во мне информацию не усваивало. Реакций никаких не следовало. Потому зрение, слух и другие органы чувств – работали вхолостую.

* * *

Было такое ощущение, что на планете Земля что-то мощно лопнуло и исчезли все звуки, даже шорохи. Была только ватно-глухая, закладывающая уши тишина.

Ничего, кроме серого грунта на планете Земля не осталось. Все автобусы, улицы, здания, живописные парки, уютные аллеи – все было сделано из картона, как театральная декорация, но так искусно, что простым глазом не отличить. Вместо людей по улицам ходили какие-то синтетические их копии – человекозаменители.

Трава, листья, цветы были чем-то вроде искусственного парика на лысине Земли. Яркие дыни, ананасы, яблоки – все было не настоящее, а сделано из парафина. Даже вкус винограда, персика и помидора был одинаковый – никакой.

В этой технически высокоразвитой стране все было

воспроизведено точь-в-точь, как в реальной жизни. Вакуумная пустота Земли была очень правдоподобно завалена декорациями, звуками, речью. Даже до неба добрались, даже свет солнца удалось им скопировать. Синтетические тела людей были искусно доведены до температуры, положенной температуре человеческого тела.

Однако и садиться в картонный автобус, и заходить в картонные учреждения, и говорить с синтетическими куклами, делая вид, что это важная речь, что это жизнь, дома, хрустя жевать парафиновые продукты, – все это было бы еще полбеды, если бы в этой неживой атмосфере синтетической или неживой не стала я сама.

Организм мой жил и функционировал так же бесчувственно, как бесчувственно лежит тело под прочной дозой наркоза, в то время, как хирург его оперирует.

* * *

Его фотографии были напечатаны крупным планом на обложках всех газет и журналов. По всем каналам телевидения показывали его и говорили о нем: утром, вечером, в обед. Художники рисовали его портреты, они продавались тысячами. Кто этот герой, о котором так громко говорит вся Америка?

– Убийца Джона Леннона.

– Убийца?! Зачем же он убил Джона Леннона?

– Он маньяк, хотел славы. Он ее получил.

– Маньяк? Убийца? И его фотографии печатают все средства массовой информации? Какой это пример для детей? Убей человека – и ты станешь героем.

– Верно, Америка в этом смысле очень продажная страна. Газеты делают большие деньги на сенсациях. Все хотят увидеть портрет убийцы Джона Леннона, узнать о нем побольше. Никого не интересует, этично это или нет, всех интересует только прибыль.

Это очень важный день в истории Америки. Декабрь. 1980 год. Убили Джона Леннона. Убийца насладился такой громкой славой, которой даже, можно было бы позавидовать. Все те, кто восславил убийцу, насладились не менее баснословной прибылью. Вот это страна!

* * *

Раз, вечером, сидим все дома, звонит телефон, мама снимает трубку:

– Хибочка?! Приве-е-т! Что? С Новым годом?.. С каким новым годом?.. Сегодня вечером – Новый год?!..

Я все слышу и во мне происходит напряженная работа: был август, мы приехали в Нью-Йорк, затем мы сняли квартиру, я устроилась на месяц на работу, на все это ушло недели две-три – как теперь может быть Новый год?

Все члены семьи стоят здесь же, ошарашенные тем, что все, как договорились, забыли про Новый год. Посмотрели календарь – действительно, тридцать первое декабря! Выглянула в окно – пасмурно и серо.

Неужели прошло полгода?!

Я все же не могу усвоить то, что я понимаю. К Новому году готовятся задолго заранее. Как-то это ощущается во всем: на улицах, в магазинах, по телеку. Повсюду новогодние украшения, новогодние разговоры, передачи. Пошарив глазами по квартире, я вспоминаю, что телевизора у нас пока и вовсе нет. Забыли купить. Меня удивляет, что я прожила полгода без телевизора и не заметила этого! Глаза мои с некоторым удивлением останавливаются на огромных фанерных ящиках, прибывших из Бреста с нашим багажом, на которых красуются вспоротые металлические ленты, с дырками в тех местах, где из них вынули гвозди, и жирные надписи черным: Israel, Ber-Sheva, 1123NTB. Я словно забыла: ведь мы эмигрировали в Америку. Да… Официально мы подавали заявление на эмиграцию в Израиль…

Что же до украшения городских улиц и магазинов, я пытаюсь вспомнить, неужели я их могла не заметить.

Далее, по логике вещей, после августа, сначала должна была быть осень, «в багрец и золото одетые леса», а ее не было. Наступление осени это всегда целое событие в моей жизни. Хлопоты, связанные с новым учебным годом, покупка школьных товаров, новой формы. Улицы становятся задумчивыми, падают листья. Потом начинаются дожди. Всего этого не было. Как, минуя осень, мог наступить Новый год?

А еще… Задолго до наступления Нового года – первые снегопады, веселое катанье на санках с подружками, быстрый бег, замороженные и горящие щеки, тающие на губах снежинки. А дома – яркая красавица-елка с уютно горящими лампочками, запахом хвои, запахом леса и знакомых сказок.

Утром, 31 декабря проснешься, высунешь нос из-под одеяла и, щурясь от ярко-голубого света, сочащегося сквозь покрытые морозным узором окна, заметишь где-нибудь на подоконнике или на ковре, у кровати, новогодний подарок. Вскочив с постели и

развернув подарок, замечаешь улыбающегося деда. Он стоит, будто случайно оказался рядом, важно поглаживает выбритые на праздник, наодеколоненные щеки и, скрывая огонек в глазах, говорит, что ночью Дед Мороз ходил по домам и оставлял всем детям подарки.

И хотя я всегда, даже в детстве, знала, что подарки были от деда, я все же немножко верила, что это Дед Мороз колдовал ночью, оставляя узоры на окнах и любимые конфеты, зефир, мандарины в скрипящем прозрачном подарочном мешочке на подоконнике.

Наш добрый волшебник стоял теперь растерянный, удивленный, застигнутый врасплох без единого подарочка.

Мама с бабушкой засуетились, начали готовить что-нибудь к столу. Вскоре пришли Хиба, Стасик и дети. Они привезли с собой шампанское, конфеты и маленький портативный магнитофончик. С их приходом стало шумно и как-то веселей на душе. Пользуясь случаем, я хочу сказать: спасибо вам, тетя Хиба и дядя Стасик, за вашу чуткость и поддержку в столь тяжелое для всех нас время. Спасибо за вашу заботу, за теплый прием в своем доме, за сборы мебели по синагогам, за первый Новый год в Америке, которого без вас вовсе не было бы. Спасибо вам за все.

Включили музыку. Хрипя и скрипя, заглушая веселые голоса домашних и гостей, заиграла русская песня. Это был старинный романс. Было так странно слышать русскую песню здесь, в Америке. Как будто это был голос очень любимого человека, который недавно умер, а теперь так ясно и четко заполнил всю комнату посредством магнитофонной ленты.

Едва эти звуки коснулись моего слуха, со мной произошло невероятное. Моя память вдруг обрела неестественные для обыкновенного человека способности. В считанные доли секунды, с первых слов, с первых аккордов песни, как на ожившем экране, прокрутилась с потрясающей ясностью вся моя предыдущая жизнь.

Все, начиная от первых шагов, запаха скатерти, когда пряталась от кого-то под столом, теней над детской кроваткой, прочитанные книги, увиденные передачи, беседы, учителя, подруги, соседи, запах наших комнат, шорохи нашего сада, словом, все впечатления жизни, которые я когда-либо пережила, пронеслись во мне с ошарашивающей ясностью.

И вдруг, живая, настоящая я открыла глаза и проснулась. Огляделась вокруг и со странным чувством обнаружила себя заброшенной куда-то далеко-далеко, уму непостижимо, как далеко, сидящей на фоне голых стен и каких-то землисто-тусклых багажных ящиков.

Представьте себе, вы просыпаетесь и обнаруживаете, что ваш дом, ваши вещи, ваш мирок, ваши друзья, соседи, родственники, учителя, школа, улицы – все, что вы любили или не любили, все что составляло вашу жизнь, – смыто стихийным бедствием. Уцелели только вы и члены вашей семьи.

Ничего от старой жизни не осталось, только багажные ящики и такие же, как вы, обескураженные, потерянные ваши родные. Вы хотите позвонить другу или родственнику, но все они ушли в небытие. Нет ни их, ни их домов, ни телефонов. А дальше, на миллионы километров – все снесено, ничего нет, только гуляют по синтетической Земле синтетические человекозаменители.

С этого момента я поняла: теперь было две меня. Одна – та, из старой жизни, настоящая, исконная я, но уже отошедшая в прошлое, как бы умершая. Другая – эта, материальным телом присутствующая в текущей жизни, но не я. Настоящая навестила, как дух умершего, свое покинутое тело и, напрягая все силы, пыталась понять: что же такое произошло со мной?

Это были считанные минуты откровения. К спящим в морозе дебрям моего существа прикоснулись волшебным зельем простой русской песни, которую, живя на родине, я бы и не заметила среди множества других впечатлений жизни. И как в сказке, в хрустальные капельки превратился лед, звеня сбежал с меня, душа потеплела, размягчилась, наполнилась ощущением жизни и пахучий подснежник расцвел в груди.

Я сидела как оглушенная, в первый раз за все это долгое время осознав, что я – осталась там, в том мире, который смело стихийное бедствие, а то, что теперь, – это робот под моим старым именем. Четыре месяца прошло как один пустой миг. Четыре месяца я жила без телевизора, без магнитофона, без книг, без друзей – и не заметила этого! Неужели я теперь такой и буду, как робот? Неужели жизнь навсегда покинула меня?

– Вот тебе и ра-а-а-з! – протянул дядя Стасик, вероятно, увидев мою реакцию. – Знал бы, не приносил бы! А, ну, так они же только приехали! – добавил он, обращаясь к жене.

– Не страдала я никогда и страдать не буду за этой поганой страной! – грозно заявила тетя Хиба, глаза ее злобно сверкнули. – Ты что? Ты любишь эту поганую страну??? – тетя Хиба с возмущением смотрела на меня, как если бы она только узнала, что я убила человека.

– Она привыкла к своему болоту, – дрожа голосом, выдающим сильное волнение сказал папа. – Рабы, Стас, не могут выдержать, когда с них снимают цепи! Ты знаешь, почему Моисей сорок лет водил евреев по пустыне, когда освободил их из рабства? Он ждал, когда старое поколение сменится новым, чтобы в

психологии новых поколений не осталось и духа рабства! Рабы уже никогда не смогут быть свободными людьми! Нужно ждать новых поколений! – на щеках папы выступил румянец, он готов был разразиться скандалом.

Мама, всеми силами старавшаяся не плакать, вероятно, была причиной его бешенства. Казалось, папа вот-вот был готов наброситься на нас с кулаками.

Дедушка принялся всех успокаивать.

– Ну, ну, будет вам, ведь Новый год, товарищи!

– Что-о?! Какие товарищи?! – перекривив рот, весело пробасил дядя Стас, – Новый год, господа! Вот как. А ну-ка, наливайте шампанское!

* * *

– В рабстве родился ребенок, – рассказывал папа, сидя за столом и развлекая гостей. – Как только он родился, его, как и его мать и отца и всех рабов вокруг, приковали тяжелыми цепями. С того момента, как он стал осознавать себя, помнил он на себе и тяжелые цепи: они казались ему неотъемлемой частью жизни. Когда же через сорок лет, его высвободили из рабства и сняли с него кандалы, с непривычки его тело показалось ему неестественным, вышедшим из нормы. Он стал корить освободителя, ругать его на чем свет стоит. «Не могу я жить без своих кандалов! Я требую вернуть мои кандалы!» Вот такая история.

Тетя Хиба и дядя Стасик понимающе улыбались.

– А ведь когда Данко вывел людей из рабства, – продолжал папа, – они стали возмущаться! Долгим им путь показался! А они бы сразу рая хотели. Вообще, Горький был мудрый человек. «Рожденный ползать – летать не может!» – продекламировал папа с особенным выражением. – Ты вдумайся, Стас, какая глубина, какой смысл в этих четырех словах!

В дверь постучались, кто мог к нам прийти? Оказалось, соседка с третьего этажа. Принесла нам целую корзину тарелок, вилок, стаканов и прочего кухонного барахла.

– В свое время и мне их подарили, – многозначительно заявила она. – И нечего стыдиться, все через это проходили.

– Стас, сынок, ты не знаешь, где бы здесь неподалеку винца достать? – спросил дедушка. – Я шампанское не пью, а хотелось бы выпить, Новый год все-таки.

– Я могу съездить, – любезно предложил дядя Стасик.

– Нет-нет! Если здесь рядом нет магазина, никуда ехать не

нужно!

Это был первый Новый год в моей жизни, который проходил без тети Валиной семьи, без Маши и Илюши, без праздничного стола, без елки, без звона курантов по телевизору, даже без радио, без вина, без бокалов… только глаза напряженно следили за тикающими часами.

С болезненной зоркостью, которую он не умел скрыть, папа вглядывался в лица всех домашних. Он то вставал, то садился, и, я видела, сильно волновался.

«Отчего он так боится позволить нам лишнюю эмоцию? Ностальгия – это же так естественно!» – думала я, глядя на него.

Вот до Нового года осталось две минуты… наш первый Новый год в Америке!.. Торжественные минуты…

«Я мужественно перенесу все, ради блага сына», – словно говорило лицо дедушки.

«Ах, как мне грустно», – говорило мамино лицо.

«Где-то там теперь моя доченька, мои внуки и правнуки, сестры и братья?..», – говорило бабушкино лицо.

И как злой надзиратель, с красным лицом, чуя в воздухе тоску, стараясь казаться равнодушным, ходил взад и вперед по комнате папа, и лицо его говорило: «Вытащил лягушек из болота! Разве лягушку можно тянуть в просторное синее море?! Лягушке место в ее родном, зеленом, покрытом плесенью болоте!».

* * *

После Нового года жизнь пошла тем же чередом.

Снова я заморозилась.

Здесь, кстати, едят только замороженное – мясо, кур, рыбу. Достаешь из морозилки замороженную курицу, она, как бревно, ледяной пар с нее идет, ни вкуса, ни запаха. Смотришь, вспоминаешь, как дома все у нас было свежее, с рынка или из реки. Так и вся жизнь здесь – замороженная, окоченевшая, как бревно.

Второе подобное откровение произошло значительно позже, но после второго раза я лучше запомнила и осознала, что со мной что-то неестественное, ненормальное.

Случайно оказавшись возле зазвонившего телефона, я подняла трубку и вдруг!.. Горячий, далекий, родной голос, так близко, прямо в самое ухо… через расстояния, сквозь шум московских улиц, сквозь солнечную пыль…

– Маша! Ты?!! Машенька, родная моя, как ты? Как вы все? – закричала я в трубку и больше не могла сказать ничего, слова не

выходили, а душили меня.

– У нас такие дожди ранние, это что-то невероятное… – говорила Маша. Голос ее звучал слегка отдаленно и вместе с тем очень ясно, казалось, я слышала вместе с ее голосом звуки улиц Москвы.

И вдруг, словно меня подключили к аппарату, оживляющему мертвых! Искрясь побежало из трубки тепло живой жизни. Мгновенно я ощутила, несмотря даже на расстояние, несмещенную с места, не тронутую болезнью эмиграции жизнь. Будничные заботы, разговоры о погоде, гудящие машины, гул улиц. Какое острое ощущение жизни исходило от одного Машиного голоса, от этих ее будничных жалоб!

Как много бы я теперь дала, чтобы оказаться на ее месте, вариться в этих буднях, уставать, ехать в давке метро в час пик, стоять в очередях… но жить, быть живой!

– Что у вас? – спросила она. – Чем ты занимаешься?

– Я?… – я решительно не могла припомнить, чем занимаюсь.

– Ну, какой он, Нью-Йорк? Красивый город? – даже в том, как она произносила эти слова, чувствовалось, как Маша поэтизирует этот город.

Опять я не могла ничего ответить. Так и не сумев связать двух слов, в спешке передала трубку маме, у которой тоже, впервые после Нового года, заискрились глаза. Все остальные были здесь же, с обалдевшими лицами, на которых боролись радость и горе.

Через десять минут нашумевшее чудо было окончено. Большего и желать было нельзя. Все отлично знали, что десять минут взволнованных, удивленных возгласов в трубке стоили бедной Машке половину ее месячной зарплаты. Маша, дочка тети Вали, моя двоюродная сестра, с которой мы выросли, уже несколько лет как вышла замуж за москвича и работала в Москве, в Институте красоты врачом-косметологом.

Снова я почувствовала, как нормальная я, настоящая я вернулась в свое покинутое тело и, лишь вернувшись, обнаружила, что долгое время в нем отсутствовала.

Под впечатлением момента мне захотелось написать Маше, рассказать ей все, что, растерявшись, я не смогла и не успела ей сказать.

Я пыталась припомнить свои впечатления о Нью-Йорке, и вдруг обнаружила, что никаких впечатлений и никакого мнения о нем у меня нет. Каждый день я тесно контактирую с городом, а города не вижу. Нет у меня никаких впечатлений!

Информация трется о мои органы чувств, а внутрь не проникает. Я даже не знала, какая «у нас» сегодня погода, хотя

только что пришла с улицы. Пытаясь припомнить погоду вчера, на прошлой неделе, вообще когда-либо, я поймала себя на том, что не знаю, какое теперь время года. «Не знаю» – не совсем верно, «не помню» – тоже не совсем то. Мне нужно было потянуться и выглянуть в окно, чтобы ответить на вопрос, какой сейчас сезон и какая погода. За окном стояла декорация солнца и тепла. Я посмотрела на календарь. Календарь говорил: март.

Март? Как март?! Только что был Новый год. Не может быть!

Когда-то в детстве, во время сильного недомогания, я испытала что-то похожее. Случалось мне сквозь жар и бред прикрыть на минутку глаза (так я полагала), как, открыв их, я обнаруживала, что, судя по часам, прошло два, три, четыре часа… Объективное время увесистыми кусками откусывает и глотает дни и годы, отведенные мне на жизнь, тогда как я сплю под крепкой порцией наркоза. Кровь из моего тела вытянута шприцами; сосуд, в который я погружена, наглухо, герметически закупорен и опущен в лед.

Я сплю, а между тем жизнь моя продолжается.

В моей жизни происходят… события… Со мной? Со мной это все на самом деле происходит? Или это все мне снится, и я сейчас проснусь?

* * *

Танечка каждый день приходит из школы и плачет. Она ничего там не понимает, всех боится и прежде, чем мама уговорит ее пойти в школу, идет шумная война.

Папа наконец устроился на работу чертежником. Все домашние очень довольны. Со старта дали двадцать тысяч в год. В Союзе на эти деньги можно купить всю Кабардино-Балкарию. Здесь же мы нищие: не можем даже себе позволить переехать в квартиру побольше или хотя бы выбросить подобранную на гарбиче мебель и купить новую. Пока нет.

Работать чертежником, это, конечно, не то, за чем папа ехал в Америку, но пока выбирать приходилось из следующего: слесарь, швейцар, помощник сортировщика в овощной лавке… и вдруг – чертежник! Папа, конечно, ухватился за последнее.

– Молодые щенки, окончившие шестимесячные курсы программирования получают со старта тридцать! – с обидой говорил папа дома. – Все-таки они дискриминируют людей в возрасте. Я уже не молодой… может, в этом причина…

– Что делать? Мы же должны как-то жить! – участливо говорит мама.

Есть еще один серьезный недостаток в папиной работе: компания расположена в другом городе, и папа должен каждый день далеко ездить. Лонг-Айленд, по здешним понятиям, находится совсем близко от Нью-Йорка. Два часа дороги туда, два часа обратно.

– А все так ездят! – рассказывают нам соседи. – Это Америка, здесь ты за работой ездишь, а не она за тобой. Америка – это трудовой лагерь с усиленным питанием! Вы что, не знали? Здесь нужно вкалывать! – шутят и смеются они.

«Америка – это трудовой лагерь с усиленным питанием»! Как можно говорить такое весело, шутя и смеясь? Не понимаю…

Оказывается, можно дать объявление в «Русской жизни» и найти попутчиков, других русских эмигрантов, которые тоже в Лонг-Айленде работают. Так папа и сделал. Один из попутчиков умел водить машину, а главное, имел ее, а остальные трое, скидывались, помогая тем самым окупить расходы на бензин и амортизацию машины. Выгодно всем.

– Все-таки очень утомительно так далеко ездить, – говорил папа. Как только возвращался с работы, он ложился спать.

– У нас от Нальчика до Пятигорска расстояние было как раз два часа, – говорит мама. – Так у нас это считался другой город! Представляешь, папа каждый день ездил бы на работу и с работы в Пятигорск?! А здесь все так работают… и ничего! – мама изумляется.

* * *

Когда я стараюсь вспомнить это так называемое «первое, самое тяжелое время», мне хочется поскорей пробежать его, т. к. в памяти моей сохранился о нем лишь начисто выбеленный, пустой кусок.

На кинопленке моей жизни повреждено, изъято энное количество кадров. Несколько минут экран пустой, слышен лишь звук мотора и прокручивающейся пленки. Потом вдруг какое-то прояснение, появляются какие-то кадры, какие-то обрывки звуков – и снова слепящая пустота экрана. Опять как будто попытка восстановления – снова все смазано. Так несколько раз. Наконец, прыгая и похрипывая, кадр и звук восстанавливаются, но уже на совершенно другой сцене. Вникая в содержание этой сцены, догадываешься, что пропущен хороший, увесистый кусок, но, так как выбора нет, продолжаешь смотреть.

Жизнь моя в Нью-Йорке началась значительно позже моего физического появления в этом городе. Поскольку даже в первый

год нашего пребывания здесь произошли кое-какие важные события, расскажу о них очень коротко.

* * *

С Леней познакомила меня Рита, та самая, которую я видела всего один раз, когда работала в магазине. Он был высокого роста, черноволосый, кудрявый, носатый и с бородой. Главное же было, конечно, не то, как он выглядел, а то, что он был поэт, писал замечательные стихи (это я никому не доверила, а лично проверила, он мне их читал в первый же день и потом – каждый день) и приехал из Москвы.

Последнее может показаться смешным, однако вдумайтесь: уехать из Нальчика в Москву, поступить в творческий вуз, соприкоснуться там с творческой молодежью – было высшим счастьем, которого я ждала всю сознательную жизнь. Счастье было у самых моих губ, я уже приготовилась сделать глоток, как вдруг грубейшим образом его вырвали у меня, а взамен впихнули мне в рот какую-то незваную-непрошеную Америку.

Москва осталась нереализованной мечтой, и поэтому все связанное с ней было для меня дорого. При воспоминании одних только названий улиц Москвы – Сретенка, Остоженка, улица Вильгельма Пика, Хамовники… – у меня замирало под ложечкой… и почему-то всегда хотелось плакать.

Он – Леня – ходил по улицам Москвы, он учился в одном из московских институтов (МИИТ), он знал все, что я так стремилась познать, видел то, что я так стремилась увидеть. Ему уже было за двадцать! Безусловно, Леня был мне интересен.

Как-то раз после встречи Леня провожал меня до дома, а у подъезда стоял дедушка. К моему великому изумлению, дедушка не стал меня стыдить за то, что я гуляю с парнем, не стал делать злое лицо, а, наоборот, улыбнулся так по-доброму и говорит ему:

– Как тебя зовут, сынок?

– Леонид, – несколько растерявшись, ответил Леня. (Он был предупрежден о дикой кавказской семье.)

– Ты, смотри, мою внучку не обижай!

Леня ударил себя кулаком в грудь.

– А водку ты пьешь? – спросил дед.

– Могу, – улыбнулся Леня.

– Тогда заходи в дом, чего на улице стоять.

Мы с Леней удивленно переглянулись и вошли в дом.

Так вся моя семья познакомилась с Леней. К моему огромному удивлению, они его приняли мгновенно. Я еще думала

влюбляться в Леню или не влюбляться, а все члены моей семьи уже единодушно решили, что вот он, идеальный кандидат, за кого я должна выйти замуж. Настолько все они были перепуганы, что я в Америке собьюсь «с пути истинного», что могу загулять, связаться «бог знает с кем» или полюбить наркомана, что готовы были спихнуть меня замуж за первого попавшегося «порядочного» человека. Каждый день они меня спрашивали: когда свадьба?

Папа говорил: «Я хочу танцевать на твоей свадьбе! Ты же не лишишь папу этого удовольствия?»

Мама говорила: «Я куплю тебе самый красивый подвенечный наряд во всей Америке! Ты у меня будешь как куколка. Ха! Фотографии в Союз пошлем!»

Бабушка говорила: «Вот я, например, тоже в пятнадцать лет замуж за твой дед фишель! У меня не быль, как у тибя, возможность выбирать са-ам, меня сваталь. И что жь, посмотри на нас, мы прожиль прекрасный жизнь!»

Тетя Хиба, приходя в гости, щипала меня за щеку и говорила с придыханием: «Я тебе такие подарки приготовила, такие подарки!»

Мне было смешно от того, как они все были наивны, думая, что смогут подействовать на меня, ежедневно повторяя всю эту муру. Они не знали, что даже если бы вся Америка вышла на демонстрацию, прося, увещевая, требуя, соблазняя меня выйти за кого-то замуж, то и это не помогло бы, до тех пор, пока я сама не пришла бы к такому решению, руководствуясь своими, а не их смешными убеждениями.

Единственный, кто хоть как-то мог тронуть меня, был дедушка. Он говорил: «Кутенок, если бы я только успел дожить до твоей свадьбы!»

Дедушка не знал, что у него рак и что он обречен, но этой своей фразой он попадал в самую-самую больную точку. Наверно, он чувствовал по своему состоянию, что если свадьбы не будет скоро, то он может ее не увидеть.

Я думаю, нет нужды описывать, как глубоко трогали меня эти его слова, но даже они, даже такой уважительный и убедительный довод не мог подвинуть меня на опрометчивое решение: я не хотела портить себе всю жизнь ради того, чтобы дедушка увидел один вечер моей свадьбы.

* * *

– Ты доволен, что приехал в Америку? – задала я как-то Лене свой наболевший вопрос.

– Ты еще спрашиваешь! Как можно быть недовольным, приехав в Америку?! – убежденно говорит Леня.

– Я не вижу в Америке ничего такого, ради чего мы все приехали сюда…. Может быть, ты мне объяснишь?

Леня убежденно размахивает руками, пытаясь что-то выговорить, но, как видно, не может от возмущения.

– Ты меня просто удивляешь! – говорит он наконец. – Я даже дара речи лишился!

– Зачем столько эмоций и ни одного логичного довода? Ты мне просто и по порядку назови все то, что конкретно ты обрел в Америке, чего в Союзе у тебя не было, что могло бы оправдать твою эмиграцию. Вот и все.

– Ты знаешь, сколько людей Сталин сгноил в лагерях?

– При чем тут Сталин? Ты при Сталине жил? А в прошлом Америки нет темных пятен? Сталин – это далекое прошлое! Сейчас, при Брежневе, уже давно никаких лагерей нет! Вот ты, почему уехал? Ты же был в вашей семье инициатором? Родителей за собой потащил? Родного брата с женой и ребенком там оставил?

– Он рано или поздно тоже приедет.

– Ага! Значит и его сюда притащить хочешь! Мало тебе, что родителей оставил без дома, без крова, без родных и друзей, теперь и брата… Вы, как и мы, снимаете тараканник? Вы, как и мы, бросили свой дом? Ты, как и я, остался без своего языка, без своей культуры, без своих друзей? Так зачем ты все-таки сюда приехал? Ради чего??? – я чуть ли не трясу Леню за плечи от нетерпения.

– А что там было делать? – говорит Леня, как бы соображая. – Там не было никаких перспектив!

– А какие перспективы у тебя здесь?

– Я свободный человек! Могу делать все, что захочу!

– Что именно? Что именно ты можешь делать здесь, чего не мог делать там?

– Трудно тебе это объяснить, ты не успела пожить там, слишком молодой уехала… Если бы ты там пожила, ты бы все сама узнала.

– Это не ответ. Неужели ты не можешь ответить на вопрос, почему ты уехал?! – я начинаю терять терпение. – Это же такой важный шаг! Как можно не знать, почему ты уехал?!

– Как не знать! Я знаю! Объяснить это трудно… Ничего мне там не светило, понимаешь? Жили мы в этом затхлом городке, Унече. Атмосфера там… ну ты не была в белорусской провинции, в местечке. Мне тебе этого не объяснить.

– Верю, примерно догадываюсь. В Нальчике то же самое было.

Но ты ведь уехал в Москву! Ты поступил в институт.

– Ну поступил. Ну закончил. А дальше? Дальше – в столице тебя никто не ждет! Дали распределение, поезжай в какой-то там Мухосранск, работай инженером, получай зарплату, сто рублей в месяц. Дальше-то что?

– Хорошо. А какая альтернатива здесь? Ты со своим дипломом инженера здесь что делаешь?

– Это только на первое время я пошел работать грузчиком. Ты же понимаешь, что это не на всю жизнь.

– Допустим. И кем ты себя видишь здесь дальше? Заместителем президента Рейгана? В лучшем случае, ты найдешь здесь ту же работу инженера? Это в самом-самом лучшем случае!

– Конечно! Со временем я обязательно устроюсь.

– Со временем, – со злобной иронией повторяю я. – А пока ты работаешь грузчиком!

– Ты же знаешь, что все эмигранты через это проходят! Зачем ты мне делаешь больно?

– Да я не хочу делать тебе больно! Я просто хочу понять, почему, почему, почему все эмигранты через «это» проходят, а при этом убеждены, что правильно сделали, уехав?! Почему, работая здесь грузчиком, ты видишь, что у тебя есть перспективы, а работая там инженером по распределению в Мухосранске, ты не имел перспектив?

– Сколько бы лет я там ни проработал, я бы получал сто-двести рублей.

– А здесь, сколько ты будешь получать?

– Здесь можно дорасти до тридцати, сорока, даже пятидесяти тысяч! Сравнила: сто рублей или тридцать тысяч долларов!

– Ты что, действительно идиот? Или притворяешься?

Леня смотрит на меня искренним непонимающим взглядом: о чем это я?

– Неужели и ты не можешь сообразить, что на сто рублей в месяц там, можно больше купить, чем на тридцать тысяч долларов в год здесь. Здесь же условия жизни, цены совсем другие! Если бы, зарабатывая здешнюю зарплату, ты жил там, тогда да! Но что такое здесь, в Америке, тридцать тысяч? Эта та же самая нищета, те же сто рублей. Только здесь до этого надо еще дорасти-и! Надо сначала грузчиком, потом чертежником, потом старшим чертежником… миллион лет проработать. Чтобы в конце концов дорасти до того же инженера, которым ты там сначала был, и получать ту же нищенскую зарплату, только не по тем меркам, а по здешним. Так объясни мне, что ты выиграл? В чем был смысл твоей эмиграции?

– Дети у меня родятся… Что бы их там ждало?

– А здесь, что их ждет?

– Здесь они будут жить как люди, пойдут учиться в колледж!

– А там? Там они бы жили не как люди? Там они не пошли бы учиться в институт?

– Опять, после института пойдут работать на сто рублей?!

– А здесь? После колледжа пойдут работать на тридцать тысяч? Мне кажется, тебя ослепляет крупная сумма, тридцать тысяч! А ты задумайся, ведь этой суммы, после всех налогов, хватит ровно на то же, на что в Союзе хватило бы ста рублей, если не меньше! И в том и в другом случае работаешь, чтобы не умереть с голоду.

– Армия там…

– Армия, – я задумываюсь, это единственный козырь, который он до сих пор смог назвать. – Да, в Америке не призывают в армию. А ты почему не служил в армии?

– Я в институте учился. Меня отмазали. Но всех же не отмажешь.

– И дети бы в институте учились. И их бы тоже отмазали. Не убедительно для меня, уехать из страны, чтобы твои дети, которых еще даже в помине нет на свете, через сто лет не служили в армии. Да, может, к тому времени уже вообще все изменится! Может, уже и не будут призывать в армию!

– В той стране никогда ни-че-го не изменится! – говорит Леня, чеканя слова.

Так Леня и не смог сказать ничего убедительного, веского. Он остался при своем убеждении, что из Союза нужно было бежать что есть мочи в Америку, а я при своем: что эмиграция из Союза в Америку это маразм.

И все-таки, зачем он приехал в Америку? Зачем приехали сотни тысяч других людей? Почему меня их доводы не убеждают? Такое ощущение, что они все что-то знают, но объяснить не могут…

* * *

Однажды Леня задал мне очень интересный вопрос.

– Почему ты так сильно хочешь чувствовать себя частью русской культуры? Ты не мыслишь себя вне русской культуры, но ведь ты – еврейка! Смешно выглядит лисенок, воображающий себя волчонком. Сколько бы ты ни ощущала себя волчонком, они четко чувствуют, что ты все-таки лисенок и никогда не признают тебя своей.

То же самое много раз говорил мне папа.

Я задумалась. Действительно… Логичный вопрос. Ведь я еврейка.

Непонятно почему (и я ничего не могу с этим поделать!) во мне плотно сидит ощущение своей принадлежности именно к русской культуре, ни к какой другой. Возможно, это потому, что я в ней выросла.

– Тебе же всего шестнадцать лет! – говорит мне Леня.

– А ты хоть убей, я чувствую, что я навеки, безнадежно русская…

Глава третья
Март – июнь 1981 г.

Наши новые соседи. Галя и Коля – бывшие москвичи. Он работал таксистом, она «бьютишен». Что означало сие красивое слово? Это чистка лица от угрей, прыщей и т. д. Каждый день, на рассвете, она уезжала в Манхэттен на работу. До работы ехать полтора часа, назад – столько же. Три часа на дорогу – это само по себе уже минирабочий день. Когда уходил и приходил Коля, никто не видел, – все в это время спали. Таксисты в Нью-Йорке, говорят, работают по 18 часов в сутки, такой у них график.

– А разве возможно работать по восемнадцать часов в сутки?! – удивлялись мы.

– Как, видите, возможно! – говорили Галя и Коля. – Это Америка! Здесь приходится пахать.

Папа сразу невзлюбил эту пару за то, что они много жаловались.

– Это агенты КГБ, – сказал он. – Их сюда прислали, чтобы создавать моральную панику, это их работа – внушать таким, как вы, что здесь плохо, что здесь ужасно!

Никто, конечно, папе не верил. Другие соседи, из квартиры 5N, – тетя Циля и двое ее сыновей с женами – все как один, кроме тети Цили, компьютер-программисты.

– Закончишь шестимесячные курсы – и сразу на тридцать тысяч в год можно устроиться! – советовали они мне. – Ты школу хоть успела закончить?

Школу окончить я не успела, но мама с папой позаботились о том, чтобы я сдала все экзамены досрочно и получила аттестат зрелости. Оставалось каких-то два месяца с хвостиком. Впереди были контрольные по всем предметам в конце четверти, а потом выпускные экзамены. Все это, а также долгожданный выпускной вечер и торжественный «последний звонок» я уже не увидела. В конце мая, когда мои одноклассники вовсю готовились к выпускным экзаменам в школе и уже рассылали документы, чтобы поступать в вузы, я вместе со всей своей семьей навсегда покинула страну.

Папа смеется, что я каждый раз плачу, вспоминая об этом, как маленькая.

– Для тебя, что важней: твоя дальнейшая жизнь или выпускной вечер? – не понимает он.

Десятилетний процесс школьной жизни был грубо разрушен буквально за три минуты до того, как я должна была

торжественно поставить точку, определяющую завершение эпохи, от которой должна была начаться новая веха. Кульминации не было. Все было смазано и смято. Вы когда-нибудь двигались к чему-то долго-долго? Попробуйте оборвать процесс за три минуты до финиша, как если бы его и вовсе не было. Увидите, что это за чувство. Похоже, десять лет советской школы теперь мне и вовсе не пригодятся: здесь никому не нужны ни русский язык, ни литература, ни уж тем более история СССР и ВЛКСМ. А чтобы пойти на шестимесячные курсы программистов, можно было так и не стараться десять лет в школе.

– Спасибо, программирование не для меня, – отвечала я.

– Не-е-е… – смеясь говорила мама. – Это у нас Лев Толстой. Она хочет быть писа-а-телем.

– Ке-е-е-ем?! – переспрашивали они, все, как по команде перекашивая лица.

– Писателем, – спокойно и гордо поясняла я. – Что тут такого сверхъестественного, чтобы так корчиться?

– Пи-са-те-лем?!! Это тебе что здесь, Советский Союз? Ты эти просоветские штучки, девочка, оставь! – и, теряя ко мне интерес, они уходили.

– Она еще ребенок! – оправдывалась за меня мама, как будто в моем желании стать писателем было что-то постыдное.

Странное дело, когда в Союзе я говорила, что хочу поступать в МГУ на факультет журналистики, а потом писать художественную прозу, ни у кого, даже у самых простых людей, это не вызывало отрицательных эмоций. Все – от нашей школьной технички тети Поли до алкаша-соседа Миколки – относились к такому выбору с почтением. Как о чем-то достойном и важном говорили: «О-о! Писателем!» Здесь же все как один переполнялись неприязнью и презрением, как только слышали слово «писатель».

За углом, в маленькой парикмахерской, работали тоже «русские», муж и жена. Она маникюрша, а он парикмахер, Мила и Сеня. Всякий день и по сегодня, если вы выйдете на угол Авеню Эн и Кони-Айленд, за стеклом парикмахерской вы увидите, как Мила сидит у своей стойки и пилит ногти очередному клиенту, а ее муж Сеня стрижет кого-то. Мила тоже отнеслась к нашей семье дружелюбно, даже подарила нам набор старых вилок и ножей.

– Когда мы сюда приехали, нам эти вилки подарила синагога, – рассказывала она, – сейчас мы уже встали на ноги, и я дарю их вам.

Все нам что-нибудь дарили. Кто кастрюлю, кто простыни, кто ночник. Вещи были старые, но пригодные, и все говорили при этом одно и то же:

– Все понимают, это эмиграция. Здесь все через это проходят.

Ничего в этом зазорного нет. Пройдет время – и вы встанете на ноги.

Когда же Мила узнала, что я собираюсь стать писателем, лицо ее стало таким насмешливо-презрительным, что мне захотелось ударить ее. И эта туда же! Сама от восхода до заката ногти пилит – высшая степень интеллектуального труда! И она надо мной смеется!

– Опустись на землю, девочка! – сказала она мне. – Каким писателем?! Здесь Америка! Это тебе не Советский Союз. Ты бы себе что-нибудь попрактичнее придумала. Вот как я, например: закончишь двухмесячные курсы, устроишься в какой-нибудь престижный салон маникюрщицей или, если хочешь, можешь дамским мастером. Ты молодая, тебя всюду возьмут. Ты даже в Манхэттене можешь устроиться.

Позже я уже не спешила что-либо говорить о себе людям, все больше уклонялась от ответа на вопрос, кем я хочу стать, или мычала что-то вроде того, будто я еще не решила.

Мне неприятны были насмешливые взгляды окружающих и то отчуждение, которое вызывала здесь моя будущая профессия; я научилась ее скрывать. Но моя позиция была непоколебимой. Даже если бы они все пригрозили расстрелять меня, я все равно не стала бы ни программировать, ни пилить ногти, ни делать что-либо другое на свете, кроме как писать. Единственный компромисс – это институт кинематографии. Я могла бы стать кинорежиссером, при этом все же не прекращая писать. Писателя во мне можно убить, только если убить меня.

Из русских соседей были еще Слободкины: муж, жена и двое взрослых детей, все как один – программисты. Дядя Денис с женой, очень пожилая пара – пенсионеры. Он, родом из Осетии (это у нас, на Кавказе), приехал в Америку после Великой Отечественной войны. Попав в плен к фашистам, каким-то чудом дядя Денис освободился, а потом решил не возвращаться на родину: боялся, что расстреляют как врага народа. Долго скитался по миру, женился в Турции на турчанке.

Дядя Денис с особой жадностью набросился на деда с бабой, так как все эти годы искал своего ровесника и земляка, друга, с кем он мог бы общаться по-русски.

Меня поразило, что, прожив более 30-ти лет в Америке, этот человек все еще оставался стопроцентно русским. Американцы не были для него своими. Свои старики – вот это было событие! В первый же день дядя Денис принес бутылку и они с дедом как следует выпили на радостях.

– Я даже не мечтал, что здесь, в далекой Америке, мне будет с кем поговорить, – радовался дедушка. – Я перед сыном не хочу

говорить… дом наш продали за бесценок. Я всю свою жизнь, вот этими руками… чтобы было, что детям оставить. Это был мой дом, моя гордость! Его начал строить еще мой отец. Но мне он оставил хибару. Он всю жизнь проработал, чтобы оставить мне эту землю и эту хибару. Сколько сил было потрачено, прежде чем эту хибару я превратил в настоящий, шикарный дом! Я расширил постройку, достроил второй этаж, провел газ, воду, посадил сад. Денис, брат, я столько преобразований там сделал, и не перечислить. Так, незаметно – тут новый забор, там виноградник, тут побелили, тут забетонировали… понимаешь? А оказалось, все, на что я положил жизнь, моим детям вовсе и не нужно. Бросили, как грошовый финик, – и все. На простыни обменяли![6] Даже денег в руках не осталось. Получается, я зря свою жизнь протрудился, ведь главное, что я сделал за жизнь, – это наш дом, наш дворец. Именно тогда, когда я довел его до самой высокой ступени совершенства, они бросили его и уехали. Значит, все, что я сделал, никому не нужно?

– Ты не только дом построиль, – вмешалась бабушка, она плохо говорила по-русски, – ты даль свой сын возможность учыться в Москва, закончыть аспирантур, защытить докторск. Ти работаль, чтоби ми все могли харашо жить, а твой сын учыться. В тяжелий времь, после война, ти даль ему возможность учыться. Так что мальчи, а то если он сичас придет, услышит. Ты же знаишь, он будет нервничать.

– Да-а, брат… – говорил дядя Денис, – а я тридцать лет мечтал о земляке! И вот дождался. У нас в доме много из Союза, но все не то. Молодежь, что она понимает?! А ты – земляк! Ты, как я, войну видел. Мужчине нужен друг! А без друга мужчина не человек, а овощ. Я хотел бы, умирая, знать, что хоть один друг придет меня хоронить. Ты понимаешь? Друг с сердцем. Не холодный американец. Ты понимаешь?

Дядя Денис говорил все это так, что казалось, тоска просто сочилась из его щек, из его глаз, из его ушей… у меня мурашки по коже пошли. Неужели возможно такое: тридцать (!) лет прожить вдали от родины и так сохнуть по своим, по всему родному?! Его все интересовало: а стоит ли в Нальчике все еще памятник Беталлу Калмыкову? А так же ли чиста вода в водопадах Чегема? А давно ли мы видели Эльбрусские горы? Все так же ли они хороши? Глядя на то, с каким трепетом, с каким чувством дядя Денис задавал нам все эти вопросы, я поняла: ностальгия – это не то, что пройдет через год-другой, как поговаривали, она может остаться с тобой даже на тридцать лет! Открытие это, конечно, совсем не обрадовало меня.

Все другие жильцы нашего дома были американцы. Все как на подбор старички и старушки, и все как на подбор в инвалидных колясках. За каждым присматривал компаньон или компаньонка. Оказывается, государство здесь оплачивает старикам компаньонов, когда они больны и не могут ухаживать за собой. Что ж, это действительно гуманно.

Был только один молодой американец – Крэг. Несмотря на молодость, он был совершенно лысый, зимой и летом ходил в плаще, нигде не работал, а жил на пособие для инвалидов и занимался тем, что приводил к себе бездомных кошечек и собак, жалел их, кормил, купал, даже оставлял их жить у себя месяцами. Крэг считал, что люди очень жестоки к уличным животным, в самом равнодушии – уже жестокость, и что животные лучше людей.

Завершу я описание нашего нового окружения упоминанием о корейце. Рядом с парикмахерской находилась (она и по сей день есть) его продуктовая лавка. Кореец был уникален тем, что открывал свою лавку в шесть утра, а закрывал в полночь. Таким образом, когда бы кто из нас ни вышел на улицу, он видел в лавке худощавого, улыбчивого корейца, таскающего ящики или стоящего за кассой, и его жену.

Рассказывали, что он четвертый по счету владелец лавки. До него другие семьи пытались делать на этом месте бизнес, но ни у кого ничего не получалось. А у корейца получилось. Все удивлялись его таланту и работоспособности. Непонятно было только, когда он спал. Других потребностей у этой пары, по всей вероятности, не было. Все жильцы нашего дома ходили к ним за покупками.

* * *

Леня в воспитательных целях приносит мне еврейские песни на иврите, песни про «город волшебный» Иерусалим, песни на идише в исполнении сестер Бэрри.

Прекрасная культура. Многовековая. В сердце мгновенно просыпается сознание своей принадлежности к еврейству.

Удивительное дело: слушаю русские песни, понимаю неопровержимую истину, что я русская, хоть и еврейка по национальности. Слушаю еврейские песни – и под впечатлением момента, я уже сомневаюсь: а может, я все-таки еврейка?

Песня, оказывается, мощный вербовщик человеческой души. Если хочешь кого-то заполучить с корнем, с головой, делай это через песню.

Никогда раньше я не осознавала воспитательной силы песни, так как осознала это в эмиграции.

* * *

Почему же я сомневалась и не торопилась выходить замуж за Леню? С одной стороны, он полностью отвечал тем запросам, которые я сознанием ставила своему Единственному неповторимому. Он был начитан, знал всех поэтов и писателей, которых я любила, более того, открыл для меня новых, которых я не знала, – таких, как Ряшенцев, Левитанский…

В Америке, едва познакомишься с парнем, он тут же тащит тебя в бар или в кафе что-нибудь выпить или поесть. Здесь так принято: о молодом человеке судят по тому, в какой бар или ресторан он поведет девушку. Представьте себе, у молодой пары свидание, а он ведет ее покушать! Что может быть романтичнее, чем покушать жареного (или сырого) лука или жареной котлетки, да неважно чего, просто кучу всяких вкусностей в обществе своего Ромео. Варварская страна, варварские обычаи. Этот обычай сильно о стране говорит, если парни покоряют серца девушек с помощью рюмочки или бутылки, или десертом, или сытненьким обедом.

Леня не американизировался, он, как представитель нашей творческой молодежи, покорял меня умными разговорами, читал мне стихи. Он – сам писал. Он был талантлив. Он прекрасно общался с моей семьей, и они его принимали. Что еще я могла желать?

О любви, как всякая девочка, я мечтала с того момента, как родилась. Я множество раз пыталась представить себе то, чего я еще никогда не испытывала, но о чем столько читала в книгах, видела в кино, слышала от людей. Мне казалось, что Любовь – это какое-то совершенно окрыляющее, сильное, волнующее чувство, которое трудно в себе не заметить. С Ленькой же я не замечала в себе ничего. Я не могла понять почему. Он полностью соответствовал моему идеалу молодого человека, но сердце мое оставалось относительно спокойным. Я говорю относительно, потому что какие-то чувства я все-таки испытывала, просто они были не такими интенсивными, каких я ждала от Любви.

С другой стороны, учитывая мою замороженность и шок от эмиграции, я могла не понимать, не чувствовать (я теперь вообще была, как робот) того, что как раз и было настоящим.

Жизнь требовала от меня поведения нормального, здорового человека, не давая никакой скидки на процесс эмиграции, в то

время как я смутно понимала, что больна и поэтому, должна вести себя соответственно. Внешне все выглядело, как будто я в порядке. Да и самые тщательные медицинские обследования никакой болезни не нашли бы.

Медицина знает много болезней, при которых у человека что-то отказывает. Иногда, например, отказывает память: это называется амнезия или болезнь Альцгеймера. Бывает, человек теряет чувство вкуса или обоняние, бывает, теряет способность различать цвета. Есть болезни, при которых чисто физически отказывают ноги, руки.

Как же называется орган, который отказался работать во мне?

Со мной приключилась невероятная болезнь: я ничего не чувствую.

Нет (!) эмоций. Я, как дерево. Глаза мои видят, а реакций никаких! Уши мои слышат, а реакций нет! Как будто сами по себе ни глаза, ни уши роли никакой не играют. Что-то повреждено во мне более важное, чему я не знаю названия.

Информация окружающей жизни соприкасается с моими органами чувств, а в меня не проникает.

Словно во мне отрубили что-то жизненно важное или повредили нерв, через который я воспринимаю и чувствую жизнь. Я не знаю названия этому чему-то. Только теперь я уже точно знаю, лучше любого врача, что, даже когда тысячу раз твой ум, твоя память, твое зрение, твой слух… остаются при тебе, без этого, самого главного, нигде не упомянутого, чего-то (назову это условно органом Родины, а отсутствие или повреждение этого органа – болезнью эмиграции) все в тебе работает вхолостую. Ты мертв. Ты робот. Ты – неполноценный человек. Только об этом никто не догадывается. Потому что «болезнь эмиграции» нигде не зарегистрирована и никем не признана. А уж я-то знаю точно, что это такое. Это болезнь, когда ты потерял сам себя.

Человека, заболевшего болезнью эмиграции, нельзя доверять самому себе, а уж тем более нельзя доверять такому человеку ответственность за сохранность кого-то другого. Ему нельзя доверять принимать какие-либо жизненно важные решения – такие, как выбор мужа или жены, развод с женой или мужем, выбор работы или профессии, лечение серьезно больного. Словом, человека, пораженного болезнью эмиграции, нужно воспринимать как временно не отвечающего ни за свои слова, ни за свои поступки, потому что он сам не может сообразить, что с ним происходит.

Все это столь четко и уверенно я анализирую и понимаю теперь, по истечении многих лет. Тогда же, когда все это со мной впервые произошло, я руководствовалась только инстинктом.

Инстинкт говорил мне: что-то со мной не то. Что именно со мной не то, я понять не могла. Я даже не была уверена, не казалось ли мне, что со мной что-то не то.

Поэтому инстинктивно я не торопилась с выводами насчет Лени, а пыталась понять себя.

Однажды Леня спросил меня: сколько мы еще будем гулять на комсомольском расстоянии?

Что такое комсомол, я, естественно, знала. А вот, что такое «комсомольское расстояние»?

Леня объяснил. Тогда я объяснила Лене, что поцеловать я смогу его только тогда, когда буду совершенно уверена, что это он и есть Любовь моей жизни. Я не могу целовать всех подряд. А вдруг это не Любовь?

– А хочешь, давай поженимся! – вдруг совершенно неожиданно сказал он.

– Что-о-о??? Ничего себе! – растерялась я. – Как же мы можем жениться, если я еще настолько не уверена в своих чувствах, что даже целоваться не готова!

Леня задумался, стал чужим и далеким.

– Хорошо, сказал он, – если ты до сих пор не знаешь, любишь ты меня или нет, я думаю, остается последний метод проверить. Я сейчас уйду. Ты останешься жить без меня. Если ты сможешь жить спокойно, значит, это не Любовь. Если же ты позовешь меня – я буду знать, и ты будешь знать, – что ты меня любишь.

Весь следующий день я провела словно в трауре. Моя жизнь в Нью-Йорке была, как сон в цинковом гробу, обложенном льдом. Ленька был единственным теплым пятнышком. Теперь предстояло жить без него. Это было тяжело, но нужно же было проверить свои чувства. Единственное теплое пятнышко – это еще не Любовь.

* * *

Не прошло и недели, он позвонил сам. Я так обрадовалась и тут же простила ему, что он прервал испытание, приняв решение за меня и не дав мне шанса созреть до этого решения самой. Мы встретились, как после долгой разлуки: обнялись, поцеловались, но когда дошло до других поцелуев, на меня нашла паника. Допустим, я уступаю ему с поцелуями, ладно. Но ведь я не умею целоваться!

Я мгновенно почувствовала разницу, когда он перешел от обыкновенных поцелуев к другим. Как отвечать на обычные поцелуи я знала, но на такие… Дискомфорт во мне вырос

настолько, что я тут же вырвалась, помимо своей воли. Предложила ему пойти гулять. Леня не обиделся, и мы пошли гулять.

На улицах Нью-Йорка в каждом киоске продаются журналы с крупно выделенными заголовками типа: «Самый влажный французский поцелуй» или «Мастерство глубокого поцелуя». Прямо на обложке есть иллюстрации, которые уже сами по себе много говорят. Купить такой журнал очень просто: подходишь, берешь журнал, даешь деньги и уходишь. Кто здесь тебя знает? Кому какое дело до того, что ты там покупаешь? А как сказывается кавказское воспитание!

Неделю ходила вокруг таких киосков, как кот вокруг банки со сметаной, наконец, как ни в чем не бывало подошла, взяла журнал, заплатила и ушла. Сердце билось так сильно, как будто я украла журнал.

Вы думаете там было что-нибудь о поцелуях? Там даже о сексе нормальном ничего не было: все какие-то групповые оргии, секс с животными, мастурбирующие женщины… Чушь какая-то. Так я и осталась неграмотной и дикой, совершенно не представляя, как вести себя, когда Леня меня обнимал. Страх сделать что-нибудь не так, сковывал меня настолько, что превращал наши поцелуи в возню, похожую на борьбу, полную неловкости и дискомфорта.

Десятого марта Леньке исполнился двадцать один год. Он заказал столик в русском ресторане и уговорил родителей отпустить меня до утра.

– Я доверяю тебе свою внучку, – сказал дедушка.

– Я обещаю вам, ни один волос не упадет с ее головы.

* * *

Когда мы вышли из ресторана, было около четырех часов утра. Еще не рассвело, но в воздухе уже ощущалось приближение утра.

– Зайдем ко мне, мои на несколько дней уехали, у нас есть еще время до утра, – предложил Леня.

Я бывала у Лени дома не один раз, часто, когда его предков не было дома. Леня, надо отдать ему должное, всегда вел себя достойно. Мы пошли к нему.

– Ты не думай, что я пьян и забыл, что я обещал твоему дедушке! – сказал Леня, обдавая меня запахом водки. – Мое предложение абсолютно чистое, без всяких там подвохов. Я обещаю, что не трону тебя.

– Я тебе верю, – сказала я, глядя в его твердые, серьезные глаза.

Каким-то образом я знала, он не обманывает.

– Я хочу, чтобы мы просто разделись голенькие и легли, – огорошил он меня, когда мы пришли к нему. – Мы просто понежимся или, хочешь, поспим. У нас всего несколько часов. А?

– Нет, это исключено, – сказала я.

– Почему? Ты мне не веришь? – обиделся он.

– Не в этом дело, я верю, что ты меня не тронешь, но «просто раздеться», это же так много… я просто еще не готова…

Лицо Лени из озадаченного вдруг стало насмешливо-презрительным.

– А, я забыл, ты же из Нальчика…

Так естественно-искренне он махнул рукой на меня «из Нальчика», что как ни тяжело было мне преодолеть уйму барьеров, чтобы в первый раз раздеться перед парнем, я, легко и просто поскидывала с себя всю одежду и легла в постель. Щеки мои пылали и меня знобило от волнения. Но я преодолела. Теперь он мог убедиться, что хоть физически я и была из Нальчика, психологически – как прогрессивная московская девушка.

Леня тоже разделся и лег со мной. Я не могла успокоить дрожь в теле.

Леня сдержал свое слово: он не просто не тронул меня, но даже не сделал попытки. Он поцеловал меня несколько минут и сказал, улыбаясь:

– Я обещал тебе, будем просто спать… давай просто поспим.

Если этот роман читает сейчас мужчина, я хочу дать ему совет: никогда, никогда, никогда не раздевайте любимых девчонок, с тем чтобы потом не трогать их! Если вас сдерживает слово чести, тогда не надо девушку «просто» раздевать. Раздеть ее, а потом не тронуть – это пощечина, которая проложит неизгладимую трещину в ваших отношениях. Если все же случилось так, что она раздетая оказалась у вас в объятиях, уж лучше нарушайте слово чести, это гораздо меньше повредит вам.

То, что Леня сдержал свое слово, достойно уважения, и я – человек, конечно же, оценила это. Было, однако, нечто гораздо более сильное, чем мое человеческое сознание. Я – женщина, оказывается, находилась в огромном противоречии с собой человеком. Я – женщина так и не смогла простить Лене этот поступок, хотя сознанием уважала его.

Вот такие мы, девчонки, противоречивые. Леня захрапел, а его пощечина на всю жизнь осталась со мной.

* * *

Каким-то странным образом, я чувствую, что мощная культура и многовековая история моей страны – это неотъемлемый фундамент, без которого невозможно мое сложное человеческое я.

Потеряв под собой этот фундамент, я ощущаю невозможность своего продолжения, как невозможна жизнь многовекового дерева с серьезными корнями без своего фундамента – земли. Выбей фундамент из-под чего угодно – и этого чего-то больше не существует!

Даже после смерти дерево не исчезает, а, превращаясь в перегной, сливается в одно с землей, удобряет ее, обогащает, становится ее частью. То есть уже само становится фундаментом, на котором вырастут другие молодые деревья.

Как только тебя изъяли с корнями из земли, тебя вырвали из непрерывного процесса жизни, – ты теперь мертвая древесина, не имеющая развития. Даже для перегноя не пригодишься.

Потеряв под собой свой фундамент – свою историю и свою культуру, я чувствую, как будто мое человеческое существо накрыло волной стихийного бедствия, а вместо меня в чужой стране живет просто биологическое тело, в котором отсутствует самое главное.

* * *

Болезнь дедушки прогрессировала. Он теперь все больше лежал, тихо постанывал, он ужасно мучался, бедняга. Бывает такое, что, глядя на чужие мученья, вы сами так сильно этим проникаетесь, что у вас начинается тоже страшная болезнь? Во всяком случае, мне показалось, что такое случилось со мной.

Постоянное физическое недомогание преследовало меня повсюду. У меня кружилась голова, меня постоянно тошнило. Бывало, встаешь, а стены и потолок так и ходят ходуном. Вначале я думала, мне это кажется. С каждым днем недомогание и головокружение усиливались. Вскоре у меня началась рвота: сначала она длилась сутки, потом двое. Это уже мне не казалось. Отравление не могло длиться так долго. Поехали в госпиталь. Доктор сделал мне какой-то анализ и со спокойным лицом говорит:

– Ши из прэгнант.

Лицо мамы потемнело и стало землисто-зеленым.

– Что он сказал? – испугалась я.

Мама грозно посмотрела на меня взглядом, каким смотрят на предателей и ничего не могла выговорить.

«Рак!» – подумала я.

– Ма, ну ответь, мама! – трясла я остолбеневшую и онемевшую маму.

– Как ты могла! – наконец проговорила она. – Вот уж не ожидала от тебя!

– Что могла? Что?

– Хватит прикидываться, – с презрением сказала она, – доктор говорит, что ты беременна.

Камень упал у меня с груди! Нельзя же так пугать людей!

– Я так же беременна, мама, как ты балерина, – смеясь сказала я.

– Ты уверена? – переменившись в лице, спросила она с надеждой.

– Ма-амочка, конечно, я уверена!

– У вас с ним ничего не было?

– Абсолютно ничего!

* * *

Мама обратилась к врачу. Врач упорно ссылался на анализ. Он бубнил что-то на своем английском, пока не пришел к выводу, что для таких тупарей, как мы, проще позвать переводчика.

– Я, конечно, понимаю, приборы, анализы… – с возмущением говорила я, – но поймите, пожалуйста, от воздуха я не могла стать беременной! Я никогда не занималась любовью с мужчиной.

– А просто в постель с молодым человеком вы ложились? – спросил переводчик.

Я покраснела.

– Какое это имеет значение, – сказала я, – от этого же не беременеют.

– В том-то и дело, что беременеют!

– Это как? – мои губы похолодели.

– Если вы лежали с мужчиной, оба раздетые, у него могло произойти непроизвольное семяизвержение. Сперматозоиды порой очень подвижны. Если семя попало на ваши гениталии, вы вполне могли от этого забеременеть.

– Я вам не верю, такого не бывает, – прошептала я, чувствуя, как жизнь покидает мое тело и над моей головой опускается что-то тяжелое и темное.

– Милая девочка, – похлопав меня по плечу, сказал переводчик, – в жизни еще не такое бывает! Не надо

расстраиваться. Кто папа ребенка? Он с вами?

Я утвердительно кивнула, чувствуя, как слезы стали душить меня.

– Он вас любит?

Я еще раз машинально кивнула.

– Ну так и идите себе счастливой свежеиспеченной мамой.

Я посмотрела на него сквозь слезы, недоумевая.

– Как! И уже ничего нельзя сделать?

– Что же можно сделать? Аборт только. Но не нужно.

Я закрыла лицо руками: жизнь моя была закончена. Слово «беременна» было для меня столь же далеким и нереальным, как слово «смерть». Я понимала, что когда-то и то и другое будет, но не сейчас, когда мне только начали позволять носить высокие каблуки и пользоваться косметикой. Беременной мог стать кто угодно, только не я! И вот, за какие-то пять минут, я, войдя в кабинет доктора, еще девочкой, переставшей года два назад заплетать косички, вышла оттуда семейной женщиной, у которой скоро будет ребенок.

Где же долгожданная молодость? Где свобода, раздолье, загулы?

А родители?! Они же убьют меня! Как я выйду из кабинета? Как буду смотреть им в глаза? Как я приду домой?! Пропала я, пропала с головой!

* * *

К моему удивлению, грозная мамаша не прибила меня тут же, на месте, даже очень бережно взяла меня под руку, вывела из кабинета.

– Когда это было? – спросила она тихо, как бы уже примирившись со случившимся.

Я снова закрыла лицо руками, в новом приливе стыда и слез.

– Ничего не было, я тебе говорю. Правда! – всхлипывая и глотая слезы пробормотала я.

– Ну, хорошо, хорошо… ну, то, что было.

– Один раз! – жалобно заныла я. – Один раз! Разве я знала, что за один раз можно стать беременной. Тем более, что ничего не было.

– Д-а-а… тут действительно случай, ничего себе. Как же ты не знала! Конечно, за один раз можно стать беременной.

– А откуда же мне знать? Все, что ты мне каждый день твердила: «Смотри!!! Веди себя достойно! Веди себя прилично!» Ты не понимаешь, что это тебе не советская деревня, здесь стыдно

быть такой маменькиной дочкой, отсталой. Он из Москвы!

– Хорошенькая логика – это кто ж тебя этому научил?

– Он сам! Ваш любимый Леня! Я не хотела, я не собиралась раздеваться, а он мне говорит: «Сра-а-зу-у ви-и-дно, что ты из де-ре-вни-и-и-и», – заревела я опять, громко всхлипывая.

– Дура! – фыркнула мама.

– Тебе-то дура, а я действительно как дура перед ним выглядела.

– Да, и разделась, чтоб не выглядеть дурой.

– Но ведь только разделась, мы ведь ничего не делали.

– Ладно! Поехали домой. Надо думать теперь, как нам быть… Дома никому не скажем ничего. Просто сообщим, что ты согласилась наконец выйти за Леню замуж. Вот радости будет! Бедному деду суждено все-таки было увидеть твою свадьбу.

А через десять минут я уже ехала с мамой в автобусе, с заплаканным распухшим лицом и все вокруг – до последних камешков на улицах – улыбалось мне улыбкой младенца, которого я уже чувствовала в себе. Повсюду – около деревьев, на аллейках, у залитых солнышком домиков – виделся мне малыш, который радостно, доверчиво протягивал ко мне ручонки.

Словно все люди, все предметы говорили мне: «Ну, отчего ты так опечалена? С тобой же случилось счастье! Что в этом такого страшного, ужасного? Что?»

И солнце всходило по пути движения нашего автобуса, и повсюду чудились мне детский смех, молочный запах его головки, звуки погремушки… Новая жизнь, новый человечек, такой беспомощный, зависящий от меня. А что, если именно в этом и заключался тот высший смысл моей жизни, который я так искала?! Мне хотелось плакать теперь уже от радости. Был май. Пышно цвели деревья, залитые солнцем, белыми цветами и новым смыслом.

Все это на самом деле происходило?

Или это все было очень убедительной театральной постановкой, со мной, спящей как лунатик и, играющей главную роль во сне?

* * *

Поздно вечером, мама подошла к моей кровати и сделала мне знак, чтоб я вышла на кухню. Здесь же, рядом спали папа и Танька.

– Ты спала? – спросила она шепотом.

– Нет, не спала, – так же шепотом ответила я.

– Я ждала, пока дед уснет. У него боли, дала ему обезболивающее. Бедняга так обрадовался, что вы с Леней скоро поженитесь.

Мама молча посидела с минуту, потом взглянула на меня как-то виновато-испытующе.

– Послушай, сказала она, – а может быть… может быть, все-таки не надо все это?

Я удивленно посмотрела на нее.

– Разве теперь уже можно что-то изменить? – спросила я.

– Можно. У меня есть травы, я их с собой привезла, эти травы всегда меня спасали от абортов. Авось и тебя спасут. Девчонка ты еще. Мы тут тебя накрутили, навертели насчет Лени. А, может быть, он тебе вовсе и не нужен. Обдумай ты, как следует, сама. Будь взрослой девочкой.

– А ребенок? Ведь уже больше месяца! Это же человек!

– Какой он там человек, там пока еще только маленький силуэтик.

– Ну, он же уже живой!

– Ну, конечно, он не мертвый… боже упаси!.. Ах, я и сама не знаю… А, может, все ж выпьешь?

– Как же я могу выпить? Ведь он живой там… Убить живого маленького человечка?!

– Ах, глупенькая моя, ну какой же это человечек? Ты знаешь, сколько абортов за жизнь делает каждая женщина? Там уж действительно живой плод, а тут? Что тут еще есть?

– Это бесчеловечные женщины. Я не буду делать абортов никогда в жизни.

– Что же ты будешь делать? Рожать каждый год?

– Нет.

– А как?

– Не знаю. Это первый раз я случайно забеременела, по неопытности. Больше это не повторится.

– Ладно, – засмеялась мама, – смотри же, гуманная моя, это твоя жизнь, я тебя предупредила. Потом чтобы не упрекала меня.

– Я не понимаю, не ты ли сама меня каждый день на Леню накручивала? Что ни день, то лекция на тему: семья и брак! Леня такой хороший, Леня такой прекрасный! Вот, выхожу теперь, за прекрасного. Теперь, говорит, обдумай, не выходи – как понять тебя?

Она опустила голову.

– Не знаю, не знаю. Ничего не знаю. Леня на самом деле хороший человек. Но жить-то с ним тебе, а не нам. А вдруг ты с ним несчастна будешь? Что мне потом тебе сказать?

– При чем тут ты? Я сама зашла с ним в ситуацию, сама

решила выйти за него замуж. И потом, мне кажется, я люблю его…

– Кажется???

Я молчала, напряженно думая, последний раз пытаясь понять, люблю я Леню или нет. Так ничего и не поняла.

– А как это будет, если я выпью? – спросила я.

– Ромашку, мяту и валериану, по столовой ложке, завариваешь на стакан кипятка и пьешь в горячем виде по полстакана два раза в день, может, неделю, а может, две, это у кого как. Пойдут месячные, и все выйдет.

– Как?! И я прямо увижу мертвый силуэтик?! – в ужасе спросила я.

– Не-е-ет, ничего там ты не заметишь, он же малюсенький!

– Не могу я такое сделать, – сказала я. – Пусть будет, что будет. Лучше я рожу его и подарю тебе или сдам в приют, чем убивать. Может, я и так, без ребенка, вышла бы за Леню замуж. Просто выйду на пару лет раньше.

– Боже мой, неужели я буду бабушкой! – мама стала утирать слезы, потом поцеловала меня в лоб. – Ну, решено, так решено! Теперь ты должна беречь себя. Теперь, вас уже двое. И благословит тебя бог!

Мы легли спать. Но через некоторое время я снова вышла на кухню и долго сидела, пытаясь осознать так странно, так нереально прозвучавшие слова: «Теперь вас уже двое». Неужели я буду мамой?! Этого не может быть!

* * *

Свадьба – кульминационный момент жизни любой девчонки. Каждая девочка с детства мечтает о дне своей свадьбы, о белом платье, о фате и цветах, о том, какой она будет красивой, о том, кто будет «лучшей подругой» или «свидетелем» на ее свадьбе…

Все мои подруги, и лучшие, и даже самые десятистепенные – остались там. Самая близкая нам семья – семья тети Вали (сестры папы) – осталась там. Там остались Маша и Илюша (дети тети Вали), без которых не проходил ни один праздник в нашей жизни, ни один день рождения. Какая это свадьба, если на ней не будет Маши и Илюши?

А Эмка?.. Сколько раз мы мечтали с Эмкой о том, как будем вести себя на наших свадьбах, какие платья наденем, какие тосты будем произносить, какие танцы танцевать. Разве мы могли предположить, что моя свадьба пройдет без нее, а ее – без меня. Ведь не было ни дня, чтобы мы друг друга не видели! Мы

встречались – и начинали мечтать. Не будет и других девчонок: Зухры, Тани, Раи. Не будет вообще ни одного близкого человека. Лучше вообще не справлять такую свадьбу.

Однако предки с этим были совершенно несогласны.

– Свадьба будет и будет такая, какую ты на всю жизнь запомнишь! – пообещала мне мама. – Ведь свадьба бывает один раз в жизни.

Всякий раз, когда мы, покупая наряды к свадьбе, заказывая зал, музыку, цветы, даже в парикмахерской, где мне делали прическу к подвенечному наряду, встречали кого-либо, кто приехал из Союза, мама объявляла, что у нас огромная радость: ее старшая дочь выходит замуж, – и тут же приглашала этих людей на свадьбу.

Она пригласила также всех жильцов нашего дома. Дядя Денис привел каких-то наших земляков-осетин. Тетя Хиба привела каких-то своих родственников, которые, оказалось, были и нашими родственниками. Я их никогда в жизни не видела. Это были семьи, которые первыми уехали из Нальчика.

Таким образом, когда я в белом платье и фате вышла из белого лимузина, меня – невесту – приветствовали громкими аплодисментами двести человек! Большинство из них я видела впервые. Я была ошарашена. Я была пришиблена в этот день больше, чем когда-либо в жизни. Кого угодно пришибет, когда его поздравляют, ему улыбаются, его приветствуют, разрывают на части двести человек, среди которых нет ни одного родного лица (если не считать наших, конечно).

Почему-то меня не покидало смутное ощущение, что это не моя свадьба, это просто не может быть моей настоящей свадьбой. Это что-то вроде костюмированной репетиции для съемок фильма, где я в главной роли.

А может быть, я сейчас проснусь и окажется, что моя настоящая свадьба все-таки еще впереди?

Единственное ощущение тепла, которое я испытала в этот важнейший день, было ощущение моих горячих слез и ощущение физического тепла от бумаги телеграммы, на которой несколько скупых плоских слов:

ПОЗДРАВЛЯЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЕМ ЖЕЛАЕМ ЛЮБВИ СЧАСТЬЯ СОГЛАСИЯ – ВАЛЯ АРТУР МАША ИЛЮША ТОЛИК ЛИЗА АЛЛОЧКА И ДВА МАЛЕНЬКИХ АНТОНЧИКА.

Глава четвертая
Воспоминания

Смотрю на снимки, сделанные перед самым отъездом…

Чуть ли не весь Нальчик приходил к нам прощаться. Со всеми фотографировались на память.

А может, и в самом деле я жизнь там сильно опоэтизировала? Вот на фотографии соседка наша Дуся со своим мужем Миколкой. Ведь если задуматься, то среди каких таких особенных людей мы там жили?

Вот мы все с Дусей и Миколкой. Они жили слева от нас. Она всегда ходила растрепанная, в грязных халатах, примитивная деревенская баба. Миколка постоянно напивался и колотил Дусю, а она убегала от него к соседям. Справа от нас жила мамина подруга Лена с мужем Толиком и двумя детьми. С ними так же жили их родители. Ничего особенного в этих людях не было. Лена постоянно прибегала к нам и приносила всякие городские сплетни. Напротив нас, прямо рядом, бок о бок с районной библиотекой располагалось общежитие. Там, за его забором, постоянно собирались шмурдячники, напивались. Иногда, говорят, там даже собирались наркоманы. Так что не все так было идеально и в твоем родном городе Нальчике.

Почему же ты сохнешь по своей родине? Почему считаешь, что что-то невозместимое ты там оставила? Откуда исходит это ощущение невозместимой утраты?

Смотрю сейчас на фотографии и понимаю, что и Дуся, которая никогда не причесывалась, и Миколка, который всегда был пьян и избивал свою жену, и завистливая Лена, которая постоянно собирала сплетни, и ее муж Толик, который хоть и не пил, а просто был никакой, непонятно даже чем он занимался, и отец Толика, дядя Данил, который ходил с палкой, оставшись без ноги после войны… понимаю, что все эти люди, которых не ценила и, мне казалось, не любила я, когда жила дома, каким-то странным образом, оказывается, мне – родные.

Все они – родные, близкие, дорогие мне люди… и это уже навсегда! Сколько бы лет ни прошло, взяв в руки эти фотографии, у меня защемит сердце от любви и тепла, неважно, какими они были – неряшливыми, завистливыми, необразованными, алкоголиками… Я люблю их, как любим мы своих родителей или детей, просто такими, какие они есть, невзирая на все их достоинства или недостатки.

А они, оставшиеся по ту сторону бугра, все еще живущие в

одной куче, до сих пор не понимают, что, несмотря на то что им кажется, что они друг для друга ничего не значат, несмотря на то что они часто скандалят и ругаются между собой, порой даже строят козни друг другу, да, да, несмотря на все это – самые близкие друг другу люди! Для того чтобы это понять, они должны уехать в эмиграцию, поселиться по соседству с чужими людьми, а потом взять в руки фотографии с жильцами своего родного города…

* * *

Вспоминается мне… как трудно об этом вспоминать до сих пор… последний день перед нашим отъездом. В доме был полный переполох. Все приходили прощаться, паковали последние багажи. Не верилось… совсем не верилось…

И вот наступил последний момент. Такси уже ждало нас у ворот. В доме еще оставалась уйма вещей, много мебели, которыми после нашего отъезда должна была распорядиться тетя Валя. С нами на вокзал должны были ехать все, кто любил нас, это успокаивало. Так что это еще не само прощанье.

Самое страшное, самое тяжелое, самое травмирующее впечатление: это последний взгляд через заднее стекло отъезжающей машины на родной дом, где прошло мое детство, где прошла вся моя жизнь, на людей, остававшихся около нашей калитки… Впервые в жизни – распахнутая калитка, когда не надо думать о том, чтобы ее закрыть.

Калитка осталась распахнутой настежь, но это уже не имело никакого значения… Неважно было, кто зайдет, кто выйдет, что унесет. Это уже была не наша калитка, это уже был не наш дом, это уже была не наша жизнь… Существо мое не принимало этого отрешения от всего того, что мы покидали… Физически мы удалялись от дома и распахнутой калитки, а моя душа осталась там.

* * *

На вокзале собралось столько народу, что можно было подумать, что сам Брежнев приехал к нам и весь город пришел его встречать. Была суматоха. Ничего не укладывалось в голове. Вид поезда, предвкушение дороги, каких-то неизведанных приключений, – все это придавало бодрости духа: жизнь не закончилась. Что-то еще ждет впереди.

В поезде с нами ехали до Бреста самые близкие родственники. Так что опять еще что-то оставалось. Хотя уже считанные люди. И уже только в Бресте, на границе, оторвались от нас последние, самые близкие, родные и мы остались одни: я, мама, папа, Танька, дедушка и бабушка. В целом мире…

В Бресте мы остановились у одной русской женщины, всего на два дня. Простая деревенская хата, тюлевые занавески. Жизнерадостная хозяйка, в доску свойская, по утрам затягивала для нас, отъезжающих, своим сильным и звонким голосом:

Ты Росси-ия мо-оя-я, золоты-ы-ые кра-а-я….
Ты Росси-ия ро-о-дная, приве-етная,
За твою красоту, за твою широту,
Я люблю тебя – Родина светлая!!!..

А я, глядя на нее и слушая, уже понимала, что если я не вернусь назад в эту страну, то значит мне конец. Только как именно я это сделаю, я не знала.

* * *

На таможне молодые люди в форме взяли мои тетрадки, мои рукописи, хотите смейтесь, а это труды моей маленькой жизни.

– Это что такое? – спросил таможенник.

– Это мое! – смело и робко сказала я, не давая слова другим, слишком это было для меня важно. – Это – мои рукописи! Я хочу быть писателем!

– Разве вам не было сказано – никаких рукописей, записей на пленку или видеоленту! – обратился таможенник ко взрослым.

– В порядке исключения, сделайте для меня доброе дело! Разрешите мне забрать с собой свои труды! Я же трудилась, это для меня очень важные тетради! – умоляюще говорила я.

– Вот сейчас она наконец поймет, что такое «Родина светлая», – тихо сказал папа на горско-еврейском языке, чтобы таможенники его не поняли. Нашла кого умолять, таможенников!

Однако таможенники озадаченно начали рассматривать мои тетради. Все стояли и ждали. Они смотрели и читали все очень тщательно, а может быть, мне так казалось.

– Это действительно все она писала? – спросил один из таможенников маму.

– Она, миленький! Она очень любит русскую культуру! Она хочет стать писателем! Не обижайте ее! – взмолилась мама.

– А сколько же ей лет? – с некоторым удивлением в голосе

спросил другой таможенник.

– Пятнадцать. Скоро будет шестнадцать, – ответила мама.

Я стояла с бьющимся сердцем, смотрела, как мои строки впервые в жизни кто-то читает, оценивает. Я видела, или мне так показалось, что таможенники с некоторым восхищением показывали друг другу мои тетради, с интересом и удивлением читали, листали, изучали. Они делали это так долго, что мы все устали стоять в таком напряжении.

Наконец один из них сказал. Он был самый главный.

– Пропускаем! Молодец, девка! Если ты в пятнадцать лет такое написала, похоже, у тебя есть большой шанс.

Что это было? Слова простого таможенника. Он что, творческий человек? Или литературовед? А как важно было мне услышать и увидеть такое одобрение. Сколько вдохновения, ощущения собственной важности, силы мне это потом дало! Видишь, папочка, все-таки есть люди в моей любимой России?! Даже таможенники оказались прекрасными людьми!

– Это тебе просто повезло! – говорили в один голос папа и мама.

А я не верю, что мне просто повезло. Просто таможенники не смогли устоять перед моим талантом. Это, кстати, о них самих тоже очень многое говорит!

* * *

Поезд в Вену… скорость движения… неужели мы скоро приедем в Вену?! Мы эмигрировали из Советского Союза… Что с нами будет? Кто я теперь?

Вы когда-нибудь выходили из дома, из своей старой налаженной жизни в открытое непредсказуемое пространство, до отказа обвесив себя чемоданами, набитыми всем, что только можно в них уместить?

Вы когда-нибудь уходили из дома навсегда, понимая, что назад возврата нет, при этом не имея в записной книжке нового адреса? Это очень особенное, специфическое чувство, когда поезд Брест – Вена мчит тебя на всех парах от советской границы, а ника-ко-го нового адреса – ни в уме, ни в записной книжке ни у кого нет.

Ты мчишься в открытое пространство… под тобой более нет фундамента твоей страны, ты уже не знаешь, кто ты – русский ли, американец или еврей, тебя более не защищают надежные стены твоего дома, а над твоей сконфуженной головой вместо уютной крыши теперь ветер.

Может быть, это и есть, то, что называется таким оригинальным словом: «космополит»?

* * *

Действительно ли переезд в Америку был причиной моей заторможенности и пришибленности? Была ли травма от эмиграции столь серьезна на самом деле? Или это для меня даже если муха пролетит, то это уже травма?

Если уж рассказывать, то надо рассказывать всю правду, а не часть ее. К психологическим травмам у меня, похоже, была предрасположенность. Еще в Союзе, в свои неполные пятнадцать, я уже успела, даже живя в родной стране, посетить психиатра. Так что не в одной эмиграции, как видно, все дело, а и во мне самой.

Через эмиграцию проходят тысячи, а заболевают на этой почве далеко не все. Также подростковый период – время тяжелое, – однако далеко не все переживают его так бурно, что вынуждают родителей обратиться к психиатру. Наверно, это у меня природная склонность воспринимать любую травмочку как конец света.

Когда мне исполнилось тринадцать лет, я не на шутку начала мучить маму вопросами, типа: «В чем смысл жизни человека, если он все равно умрет?»

– Встава-ай, одева-айся, ты опаздываешь в школу-у! – говорила мама, смеясь.

– Нет, ты мне ответь, я серьезно спрашиваю! Для чего я живу? Для чего я сейчас должна встать и идти в школу? Для чего? Если ты объяснишь для чего, я сделаю.

– Для чего что, школа? Чтобы быть образованной, чтобы ты могла потом поступить в институт.

– А зачем мне поступать в институт, быть образованной, если я все равно умру?

– Какие ты вещи страшные говоришь. У тебя должна быть профессия, ты добьешься успехов…

– Да для чего мне профессия и успехи, если я все равно умру?!

Мама не понимала.

– Как это? Никто так не думает, люди живут, пока живут, все когда-нибудь умирают, но, пока они живы, они должны к чему-то стремиться!

– Вот это-то меня и удивляет, что никто не думает о смерти. Но оттого что о ней не думают, смерть же не исчезает! Для чего все, что мы делаем, если это, как снежинка, непрочно. Снежинка

растает, я умру. Для чего мне совершенствовать то, чего через пять минут уже не будет? Это же сизифов труд!

– Это ненормально, что ты всерьез говоришь такие глупости. Все дети, как дети, а эта придумала себе оправдание, чтобы не ходить в школу. Я должна поговорить с отцом, я не могу с тобой справиться.

– Глупости?! Ничего себе – глупости! Глупый – не тот, кто об этом говорит, а тот, кто об этом не думает и живет, игнорируя такой неизбежный факт, как смерть!

Пришел папа.

– До-о-оченька! Как тебе не стыдно! Ты что, в самом деле отказываешься ходить в школу?! – папа никогда не повышал голоса и не угрожал ремнем, как это делали другие отцы. Он разбирался с детьми, интеллигентно беседуя.

Папа вообще за всю жизнь не произнес ни одного грубого слова. Мало того, когда он слышал, как мы с Танькой ругались и я со злобой говорила ей: «Иди ты в жопу!» – папа с возмущением восклицал: «Вы же де-евочки! Как можно произносить такие грубые слова?!»

– Вчера пропустила школу, – жаловалась мама, – в четверг я ее вытолкала из дому, а мне позвонили, что она к третьему уроку пришла, а с пятого и шестого уже ушла. До пяти утра она читает, не спит, а утром ее не поднимешь.

– Я бы не читала до утра, если бы я видела смысл ходить в школу! – обратилась я к папе, очень надеясь получить от него какой-нибудь умный ответ. – Я не понимаю, зачем мне учиться, если я все равно умру! – здесь я уже начала всхлипывать от обиды, что меня никто не понимал.

Они отлично знали, что я говорю правду о смерти, но почему-то все как один делали вид, что такая важнейшая вещь, как смерть, не имеет никакого значения.

– Деточка, тебе тринадцать лет! О какой смерти ты говоришь?!

– Ну и что, что тринадцать, я что не умру? А если я умру – так для чего все это? Мучать себя этой школой, потом институтом, потом работой… Я предпочитаю делать то, что приносит мне удовольствие: читать, смотреть на солнце, лежать в саду.

– Но, если ты будешь никем, тебя никто не возьмет замуж, – продолжал папа.

– А зачем выходить замуж, если в конечном итоге все равно умрет он, умру я, умрет наша любовь. Любовь, которая умрет, не имеет смысла. Вы поймите, поймите, замужем или нет, ученым или неучем, большим человеком или никем – Я ВСЕ РАВНО

УМРУ!!! Так какая тогда разница?

– Но, если ты не выйдешь замуж, ты не сможешь иметь детей. А дети – это твое бессмертие, – сказал папа.

– Это как?

– Ты умрешь, а дети останутся. Дети – это часть тебя. Значит, ты не умрешь.

Я задумалась. Потом не согласилась.

– Во-первых, я – это не вы с мамой. Я – это я. А значит, и мои дети – это уже не я. Во-вторых, если бы я действительно могла оставить что-то бессмертное, тогда моя жизнь, возможно, имела бы смысл. Но ведь дети мои – тоже смертны! И они умрут!

– Они тоже оставят после себя детей.

– Те тоже, в свою очередь, умрут!

– Значит, раз все умрут, получается, нет смысла жить?

– Наконец ты понял! Именно! Жизнь бессмысленна.

– Значит, надо лежать целыми днями и ничего не делать?

– А для чего же суетиться, если в этой суете нет никакого смысла?

Папа с недоумением смотрел на меня.

– Хорошенькая теория, чтобы не ходить в школу!

Пришел дедушка. Дедушка, хоть и не был таким современным и грамотным, как родители, он больше всех понимал меня. Он мог не понимать сложных формулировок или заумных речей, но меня он понимал всегда, даже без слов. Эта близость была результатом особенной взаимной любви, которая была между нами столько, сколько помню себя. Дед сел на краешек моей кровати, от его ветхой телогрейки пахло нафталином и табаком. Он потрепал меня по голове и сказал:

– Кутенок, у тебя что, плохое настроение?

Вмето ответа слезы так и полились ручьем у меня из глаз.

– Я знаю, милая, жизнь глупая штука, но ты же любишь своего деда, ты же не хочешь его огорчать? Если ты болеешь, значит, плохо и мне, а если ты здоровенькая – я счастлив. Нельзя лежать, кутенок, все время в постели. Лежат в постели больные. А ты должна быть здоровенькой…

Представьте, эти совершенно неубедительные слова подняли меня с постели. В тот день я пошла в школу, но через очень короткое время хандра вернулась, причем она наседала все основательней, крепче, уже никакие увещевания, просьбы, объяснения и т. д. не помогали. Я лежала в постели целыми днями, ничего не хотела, ничем не интересовалась и только постоянно плакала. Объяснение своей хандре я давала такое: не вижу смысла ни в чем!

* * *

Чтение художественной литературы было единственным занятием, занимавшим меня.

Не знаю, было ли влечение к художественной литературе вложено в меня еще Богом, при рождении, или эту любовь привили мне. У нас в доме были две огромные библиотеки. Одна – наверху, в кабинете у папы: там в основном были его книги, научные и художественные, много редких и уникальных изданий. Вторая библиотека располагалась внизу и содержала более известные произведения: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, А. П. Чехов, Собрание сочинений, Салтыков-Щедрин… Нижней библиотекой пользовались все: и дедушка, и мама, и я, а впоследствии и маленькая Танька.

К тому же, через дорогу от нашего дома была прекрасная уютная районная библиотека. В школе, на втором этаже, тоже шикарная библиотека предлагала множество интереснейших книг, в какой угодно области. То есть, я как-то уже родилась в атмосфере, где книга имела вес, имела почет и уважение. Книга была неотъемлемой частью жизни, как в школе, так и у нас в семье.

С самого детства я любила, когда дедушка читал мне сказки. Папа постоянно декламировал вслух стихи: это было его любимое занятие. Он читал их с таким выражением и с таким чувством, что каким-то образом, наверно, мне все-таки передалось, что поэзия – это восторг!

У лукоморья ду-уб зеле-еный,
Златая це-епь на ду-убе том.
И дне-ем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…

Когда папа садился пить чай, он садился и декламировал:

Выпьем! Бедная подружка,
Бедной юности моей!
Выпьем с горя, где же кружка?
Сердцу будет веселей!

Дедушка постоянно читал какие-то толстые книги: то Виктора Гюго, то Лиона Фейхтвангера, то Эмиля Золя. Много читала и мама. Все, кто ходил к нам в гости, тоже постоянно

читали книги, обсуждали какие-то романы, в разговорах часто звучали цитаты из литературных произведений. Словом, книги – это то, в чем я выросла. В мире художественной литературы я чувствовала себя как рыба в воде.

Во многих романах и рассказах наших классиков главные герои тоже искали смысл жизни, как и я, переживали что-то похожее на то, что теперь переживала я.

Чехов, Толстой, Пушкин, Есенин, Некрасов… и их герои были самыми близкими мне в мире людьми, способными меня понять. Лермонтов писал один в один, именно так, как я бы могла о себе написать:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя,
Я хочу забыться и заснуть!

Самый же «самый-самый» близкий мне автор – Лев Николаевич Толстой. Даже сейчас, когда я просто слышу или произношу имя – Лев Николаевич Толстой, – слезы наворачиваются мне на глаза. Это слезы любви, самой большой Любви в моей жизни. Я знаю, что, сколько бы лет я ни прожила и с какими бы великими людьми ни соприкоснулась в течение жизни, никогда не встречу я человека, столь близкого мне по духу. Это слезы невозместимой утраты: я еще не родилась, а самый дорогой для меня в этом мире человек уже умер.

Но вернемся в прошлое: среди нескольких писателей, близких мне по духу, с которыми меня роднили одинаковые поиски, одинаковые переживания, одинаковые конфликты, был один, кто занял главное место в моем сердце. Этот контакт, пусть противоестественный, односторонний – я да книга, оставленная автором, которого не просто нет рядом, но которого вообще нет в живых, – был теперь единственным утешением моей жизни, а мне так хотелось живого (!) понимающего человека рядом.

Среди живых людей, окружавших меня, даже близко не было, с кем можно было бы поговорить. Это и убивало. Будь рядом со мной хоть один понимающий человек, мне кажется, это дало бы мне силы. Произведения ушедших из жизни великих писателей не могли заменить полноценный живой контакт.

Всякий раз, когда я слышала, упоминали моих любимцев, – по телевизору, по радио, в школе, – у меня было ощущение тайной гордости, что этих людей, о которых с таким уважением говорят, я не просто близко знаю, но что это просто-напросто «мои» ближайшие люди. Я заметила, что все, абсолютно все,

отзывались о моих любимцах с большим почтением. Значит, все, что переживаю я и что так сближает меня с этими авторами, достойно уважения?

Как-то раз, ночью, напичканная множеством томов Льва Толстого, количество перешло в качество: я закрыла книгу и поняла, что люблю Толстого так, как не буду любить ни одного человека никогда!

Любовь к Толстому наполнила мою жизнь новым нетрадиционным смыслом. Я жила частично в своем, частично в его мире, и в какой-то точке наши миры сливались. Любовь к Толстому поддерживала меня, придавала мне смелости и силы. Раз я так похожа на него, а он великий, значит, весь мой «маразм» – не маразм, а индикатор моей сложности и незаурядности?

А что, если все это непросто? А может быть, и я великая? Оставить после себя такие произведения, которыми, век спустя, захлебнется пусть хоть один-единственный человек, стать в его жизни такой же отдушиной, а главное, вызвать в чьем-то сердце такую (!!!) Любовь – ради этого стоит и жить, и мучиться, и работать – все что угодно. Я умру – а произведения мои останутся! Наглядный пример, писатели давно умерли – а каково их влияние?! Раз они имеют такой вес, значит, я не одна, кто испытывает на себе их воздействие?

* * *

Как-то раз по ТВ показывали уникальные кадры: похороны Толстого. Для меня, тринадцатилетней девочки, увидеть на своих похоронах даже сотню или тысячу людей, которые пришли не по долгу, а по зову сердца, потому что любят меня и высоко ценят мои труды, продукт моей личности и индивидуальности, – было уже достаточным стимулом, чтобы творить это нечто, благодаря чему, любовь ко мне останется даже после того, как я умру.

А передо мной был мой лидер – его любила не одна тысяча, может быть, не одна сотня тысяч. Вот к чему нужно было стремиться. Новый смысл – наметился.

После того как я забросила школу и провела в слезах и депрессии почти целый учебный год, мама, переборов страх общественного позора и соблюдая строгую секретность (это было очень стыдно в Нальчике), повела меня к психиатру.

– Подростковый период, – сказал он. – Половое созревание!

Доктор прописал мне какие-то таблетки, но они мне не понадобились, я уже, кажется, сама нашла выход.

– Я здорова! – сказала я маме в одно прекрасное утро.

– Я переболела, помучила вас всех, но я стала совсем другим человеком. Теперь возьмусь за школу, мне нужен хороший аттестат, потому что я собираюсь в Москву, поступать в Литературный институт. Мамочка, я – гений! Я буду жить в веках! Я умру, а то, что я создам, останется, так что я теперь вижу, ради чего надо жить.

Родители вздохнули с облегчением. На этом этапе они наконец поверили, что все это не было спектаклем для того, чтобы пропускать школу. Они рассказали мне, как я, еще с детства, проявляла особую занудность, желая во всем видеть смысл, все понимать.

– Ты мучила нас с тех самых пор, как заговорила, – рассказывали мне мама и папа. – Чуть ли не первым твоим словом было: «осему?» «Осему» – это «почему». Ты нас просто замучила. «Осему это? Осему то?» Все ты хотела знать: «осему».

– Ну что, например?

– Например, глажу я наволочку, – рассказывала мама, – а ты меня спрашиваешь, для чего наволочки надевают на подушки. Подушке, что, холодно? Нет, отвечаю я, подушкам не бывает холодно, они не живые. А зачем же тогда на нее надевать наволочку? – Я не знала, что тебе ответить, а ты, такая занудная, пока не получишь убедительный ответ, могла сутками меня пытать и не забывала вопросов, которые тебя интересовали. Все спрашивала: зачем надо надевать теплую наволочку на подушку, если ей не холодно?

Глава пятая
Июль – сентябрь 1981 г.

Мы сняли с Леней однобедрумную[7] квартиру на Авеню Ю и Ист Седьмой.

Мама приглашала на нашу свадьбу всех, кого видела, даже тех, кого видела впервые в жизни. Она старалась как могла скрасить свадьбу дочери, которая пришлась как раз на время нашего приезда в чужую страну. Самое худшее, что можно пожелать человеку с Кавказа, да и, наверное, вообще человеку, – это «пустую» свадьбу, или «пустые» похороны. Конечно, все понимали, что дома была бы совсем другая свадьба, что здесь нас пока никто не знает… И все же мама старалась как могла.

Удивило меня другое: пришли все, кого мама пригласила. Пришли, несмотря на то, что совершенно не знали нас. Еще и подарки принесли: деньги в конвертике, как здесь принято. Неужели одиночество такая суровая проблема в Америке? Ведь это мы только что приехали, а они здесь живут давно. Не могли они с такой чуткостью отнестись к нашему одиночеству, если бы сами не страдали тем же: сытый, как правило, голодному не друг. Спасибо вам, люди, я даже не знаю ваших имен, но спасибо тем более.

Тетя Хиба с дядей Стасом и дядя Денис дали взаймы моим родителям кучу денег, свадьбу устроили шикарную. Конечно, родителям спасибо, только если по мне, то они зря все это затеяли. Разве это свадьба? Что мне все эти лакеи в костюмах, этот блеск люстр, обильное угощение? Спектакль все это. Все, кто мне дорог, остались там. Свадьбу справляли во льду и в холоде, несмотря на роскошь. Какие заморские кушанья и парадные костюмы могут компенсировать отсутствие близких людей?

Все подарки, которые гости принесли на свадьбу, отдали нам с Леней, чтобы «было, с чего начать жизнь». Я тогда не понимала, сколько лет потом предки должны были себе во всем отказывать, прежде чем папа, который наконец устроился на работу чертежником, смог эти долги вернуть. Я совершенно не думала о деньгах, и меня глубоко оскорбляло, когда Леня о них думал. Вроде поэт, талантливый человек, а такой меркантильный!

Закончился вечер свадьбы, белый лимузин подвозит молодоженов к их новому дому. Впервые в жизни мы одни в своей новой квартире! Я в подвенечном белом наряде, мне шестнадцать лет, белые живые цветы у меня в волосах. Открыли дверь, прошли в спальню… Что, по-вашему, делает юный жених (ему 21 год!),

который к тому же еще поэт, оставшись наедине со своей невестой? Бегом бежит к широкой двуспальной кровати, поскольку ничего шире в доме нет, и высыпает на нее содержимое огромного пакета – конвертики с деньгами, подаренные нам в этот вечер. Каково?

Я, разумеется, ни слова не сказала, я воспитанный человек. Да и что тут скажешь: бросайся на меня, не бросайся на деньги? Но в корзиночку, где у меня уже лежала тяжеленькая черная обида, уложила еще одно тяжеленькое пушечное ядрышко. Теперь у меня их стало две – сорокапудовых чугунных обиды.

У нас медовый месяц, а он объясняет мне, что это Америка, что он с большим трудом нашел новую работу (он теперь чертежник в какой-то лаборатории, слава Богу, в Нью-Йорке), что на нем теперь ответственность за нас троих и потому он каждый день будет ходить на работу, не пропуская. А это означает: уход в семь утра, приход в семь вечера.

После двенадцатичасового рабочего дня – он уставший. Не успев отдохнуть, он уже должен идти спать, т. к. завтра вставать в шесть часов утра на работу. Нормально?!

А еще история. После того как сорок часов кряду мой поэт считал, сколько же денег ему там подарили, наконец все-таки наступил момент, когда мы разделись и легли. Теперь я законная жена: все по правилам у нас, все по расписанию!

Леня причиняет мне боль. Он такой неуклюжий, не знаю, что он там делал со своими москвичками (кстати, при мысли о москвичках я вообще зверею!), только мне он причиняет одну боль. После того как Леня доводит меня до слез, он вообще решает идти спать. Мы спим с ним, как брат и сестра, нежно любящие друг друга, и он утверждает, что, чтобы привыкнуть друг к другу, мы должны просто поспать, ничего не пытаясь несколько недель, а может быть, месяцев. Как вам это нравится?! Я не просто была беременная девственница, но я еще и полсрока отходила, все еще оставаясь девственницей. Вот это страстная любовь! Почти такая же, как в фильмах, когда, не доходя до кровати, срывают с тебя одежды, сгорая от нетерпения.

* * *

Боясь прозевать колледж и на этот год, я начала хлопоты по оформлению еще в августе. Мой первый визит в Бруклинский колледж – день регистрации. Бесчисленное количество секретарей. Из одной комнаты посылают в другую, из одного корпуса в другой. Бурленье на сплошном этом английском языке,

уставленные на меня глаза… ощущение собственной тупости… Не понимаю, не понимаю, даже после третьего, медленного (для кретинов) повтора – не понимаю. Хоть убей. Уф, холодный пот прошибает от этого общения с секретаршами!

В конце концов вышла во дворик, отдохнуть от напряжения, т. к. каждое слово, каждое предложение, перекинутое на этом языке, отнимало у меня баснословное количество энергии. Как будто слова и предложения – это насосы, выкачивающие из меня жизненную силу, а поймать слово, сказанное кем-то, было так же тяжело, как поймать одного из летающих по обложенному гранеными льдами небу воробьев.

Института я ждала всю жизнь, как начало молодости. С окончанием школы заканчивалось детство, а в институте открывалась молодость со всеми ее недоступными до сих пор радостями. Как же так получилось, что я пришла на первый курс беременная? Я и это пузатое тело не могли быть одним и тем же. Я – худенькая. Я – сама ребенок. Еще вчера я сидела за школьной партой. Эта – семейная, горкоподобная и беременная – не я.

Однако нужно было ходить в этом околдованном виде, как Василисушке в образе лягушки. Мало этого, лягушка все время ходила со съеженной осанкой, т. к. все разговаривали с ней, как с дегенератом, растягивая каждое слово и по нескольку раз повторяя одно и то же. Она не могла смириться с тем, что все, абсолютно все в этой чертовой стране смотрели на нее с чувством превосходства, т. к. они свободно говорили по-английски, а она ни в зуб ногой.

Я села на мраморную скамейку, мягко освещенную мраморно-прохладным светом искусственного солнца. Мимо меня туда-сюда ходили здоровые ядреные американские студенты. Глаза их, губы, кожа, сердце, мозги – все было тоже искусственное, мраморно-холодное. Я была уверена, возьми я любого из них за руку, это будет искусственно подогретый мрамор. На мраморных деревьях сидели из камня выточенные воробьи: тончайшая работа современной техники – выточены из камня, а хлопают крыльями, поворачивают каменные головки, глядят подвижными каменными глазами, даже летают.

* * *

Первый день занятий в колледже.

На стене, в коридоре, огромная надпись: «Но вэпон ин классрумз!» Я усомнилась в своем английском, заглянула в словарь: «вэпон» – «оружие». Уточнила у стоявших рядом

студентов, правильно ли я поняла: все так, оружие в классах запрещено. Вытаращила глаза и онемела.

Какое оружие? Откуда может взяться оружие? Оружие это что, котлета какая-нибудь или ранец, чтобы его принести в класс, его ведь нужно иметь. Вокруг смеются: Вэлкам ту Америка![8]

Первый урок: английский как второй язык. Дали тест, чтобы определить, в какой класс меня посадить. Надо написать сочинение на одну из трех тем: «Как я приехала в Америку», «Как мне жилось в моей стране» и что-то там еще. Я выбрала, естественно, про жизнь в своей стране.

Чистый, белый лист бумаги. Сказать столько хочется! На русском – ух я бы сейчас вылила! Невольно, с болью вспомнила, что я всегда была одной из лучших в классе по части сочинений, как мои сочинения занимали первые места на школьных конкурсах, как между мной и нашей учительницей по русскому и литературе был установлен особый негласный контакт. Я знала, что она, единственная из всех окружавших, поймет все. Я писала для нее одной. Она же, действительно, понимала, ставила четверку и оставляла комментарии на полях, которые были для меня важнее четверки. Комментарии ясно говорили, она все поняла и оценила, а четверка или пятерка, эти мерки для бренного мира, который я презирала. И все же я удивлялась, почему Лариса Александровна неизменно ставила мне четверки? Чего же не хватало моим работам? Почему она считала, что они не тянут на пять?

Неожиданно, в конце четверти, откуда-то появлялась толпа пятерок и в четверти оказывалось пять. Так всегда. Я даже перестала пытаться понимать эти ее причуды. Избаловать что ли она меня боялась? Напрасно, я бы не зазналась. Хотя, надо признаться, в глубине души меня оскорбляла четверка, и я еще сильнее из кожи вон лезла, чтобы достичь совершенства в том, что я умела делать так хорошо. Получить пять у Ларисы Александровны – задача близкая к нереальной. У нас и четверки-то были у двух-трех человек в классе.

Однако я в Америке, передо мной пустой лист бумаги… время идет… как же написать это все по-английски… Прошло уже пятнадцать минут урока, а я еще ничего не написала. Проходит еще десять минут, и я чувствую, что сейчас лопну от напряжения: слова все сидят в моей памяти – прямо у самого выхода, распирают меня, но выскочить не могут.

Представьте себе, громадный, ржавый автомобиль, в котором заглох мотор. Вы включаете зажигание, а там только скрежет да шум, вы жмете на газ, оглушительный шум усиливается, автомобиль и хрипит, и сопит, и жужжит, и какие только

странные звуки ни производит, но не двигается с места. Вы проклинаете все на свете, изводитесь, потеете, синеете, чуть не усилием духа заставляете несчастную машину двинуться и поехать. Но, не пройдя и полкилометра, автомобиль снова застрял.

Вы снова начинаете теребить зажигание, толкать, давить, жать, потеть, мучаться, синеть, зеленеть… тронулся! Тихонько проехал несколько метров и снова встал. Так предстоит ехать весь путь. Вот что такое – написать сочинение на английском языке. Хотя, как ни странно, по английскому у меня ведь тоже было пять.

Будь это русский язык, я бы уверенно села за руль, включила зажигание и… поехала! Моя машина мчалась бы легко, плавно, без каких-либо препятствий и помех, я могла бы, набрав скорость, пользуясь наработанными годами навыками, за час проехать много десятков, даже сотню километров! На английском таких расстояний вообще не осилить. На контуженной тачке английского еле-еле можно проехать пару кварталов, хорошо если за угол завернуть. Разве это метод передвижения по жизни? Английский – это инвалидная коляска. Русский – это автомобиль «Волга». Русский – это мои естественные ноги, английский – деревянные протезы вместо ног.

Каково бросить автомобиль «Волгу» и добровольно сесть и передвигаться по жизни в инвалидной коляске?

«Это временное явление! Потом мы все пересядем на “Шевроле”! “Шевроле” разве сравнить с “Волгой”?» – говорят мои.

Сколько же пройдет лет или десятилетий, прежде чем мы пересядем? Да и пересядем ли вообще? А потом, почему вы решили, что «Шевроле» лучше «Волги»? Только потому что иномарка? Пока – я основательно села в инвалидное кресло. Я в панике!

Какими бы убеждениями и принципами вы ни руководствовались, ради чего на свете можно принести в жертву свои ноги и обречь себя на то, чтобы всю жизнь передвигаться на костылях?! Научиться? Адаптироваться? Привыкнуть? Наверно, можно и к костылям привыкнуть, и к протезам вместо ног, только ради чего на свете можно добровольно обменять свои ноги на протезы? Как можно было сморозить такую глупость?!!!

Мне не просто хочется громко и неистово выть, запрокинув голову, мне хочется разбить все окружающие предметы, рвать на себе волосы, убить того, кто вообще придумал это понятие – эмиграцию. Нет описания моему протесту, моему возмущению и моему горю.

* * *

Из класса, где писали сочинение, я вышла, как из комнаты пыток. Сил я оставила там семь пудов, а написать удалось… с гулькин нос. Смешно даже взглянуть на эти два листика… Зачем все это? Зачем нужно было бросать легкий, мощный, проворный, совершенный (относительно – ведь все познается в сравнении…) родной язык, чтобы приехать сюда и стать на костыли (в смысле языка), на которых ни стоять, ни идти, ни повернуться.

Вторым уроком была – «Хистори оф Американ синема». Я пришла на урок с небольшим опозданием. Захожу – все сидят на полу, почему-то среди них и учитель, и курят, по очереди передавая друг другу одну и ту же сигарету. Увидев меня, передали и мне. Я поблагодарила и сказала, что не курю. Мне было странно, что предлагали курить беременной, странно, что курили в классе, во время урока, что учитель курил вместе со студентами, что все курили одну сигарету…

– Вэлкам ту Америка! – улыбались мне американские студенты. – Это не сигарета, это мауана, – пояснили они.

– А что такое «мауана»? – спросила я.

Этим вопросом я еще больше насмешила их.

Среди американских студентов не было ни одного американца. Были эмигранты из Новой Гвинеи, из Южной Кореи, Лаоса, Китая, Ямайки, с острова Поуэрто-Рико. Меня они называли русской «Рашен». Вот это общество, куда я попала! Я ни в коей мере не дискриминирую другие нации, только что общего у меня могло быть с этими людьми, приехавшими кто откуда? О чем я могла с ними говорить? Каждый из них был воспитан в своей стране. Культуры моей страны они не знали. А пропитаться американской культурой, общаясь с приезжими из Лаоса и Гвинеи, я понимала, не получится.

* * *

Когда учитель во время лекции в колледже открывает рот, слова и предложения сыплются из него, как мелкие горошины из огромного мешка. Казалось бы, почти все, что он говорит, я понимаю… только слов этих и фраз так много и сыплются они так быстро, что я едва успеваю уловить их мельканье. Даже голова начинает болеть от напряжения.

Мелкие горошины английских слов словно издеваются надо мной – мелькнут и исчезнут, мелькнут и исчезнут. Мое внимание лишь безрезультатно кидается на все мелькающие миражи в

надежде поймать слово, а в результате обнаруживает пустоту, в которой уже новое слово играет с ним в прятки… Поймать убегающие слова невозможно, хоть они и кажутся такими доступными. Уф! Издевательство, а не язык.

* * *

Пришла к родителям. Дедушка сидит, пишет письмо. Наши завели традицию, если кто пишет письмо в Союз, сначала вслух читает его всем домашним и, лишь получив их одобрение, может это письмо отправить.

«Были вчера на Брайтоне… – писал дедушка. – Такого изобилия и такого качества продуктов, за семьдесят лет жизни в Союзе я никогда не видел!»…

Он рассказывал еще о том, какие приветливые люди американцы, как много здесь наших соотечественников, так что скучать вовсе не приходится и что у него с бабой уже есть новые друзья – из Осетии – он имел в виду дядю Дениса с женой.

Когда дед закончил читать, все одобрили и сказали, что посылать это письмо можно. Я стояла и соображала: как мог мой дедушка – этот кристально чистый человек, который никогда не врал, который был очень умен, – как он мог писать такие письма?!

Папа, бабка и мама стояли над дедом, как коршуны не зря, перепроверяя, что он там написал. Эти могли и соврать, у каждого из них были свои слабости: у папы был бзик правоты в своем решении эмигрировать, мама любила выпендриваться перед своими подругами, а бабушка все переживала, как бы какое неосторожно или легкомысленно брошенное слово не заставило ее любимую дочь, ее любимых сестер и родных волноваться.

Но дед был совершенно достойный человек.

– Деда, я не могу понять тебя, – сказала я ему тихонько, чтобы никто нас не слышал (у меня не было желания ругаться с папой, и его мнение меня не интересовало). – Как ты (!), – я сделала ударение на слове «ты», – можешь писать такие письма?!

– Какие «такие» письма?! – искренне удивился дедушка. – Разве я что-то не так написал?

– Ты, кого хочешь обмануть? Весь город Нальчик? Или свою родную дочь и всю ее семью? Хочешь, чтобы и они, как мы, в эту мышеловку попали? Как ты можешь? Я тебя не понимаю!

Дед переменился в лице, задумался, после некоторой паузы, искренне недоумевая спросил:

– Разве хоть что-нибудь из того, о чем я написал неправда?

– Все правда, но только наполовину!

– Как это, наполовину?

– Ты написал им о самом хорошем, с чем мы здесь столкнулись! А о плохом ты умолчал? Почему ты не написал им, в какой квартире мы теперь живем? А? Про мышей, про тараканов, почему не написал?

– Ты хочешь, чтобы весь Нальчик долдонил, что наша семья, приехав в Америку, живет теперь на помойке, с мышами и с тараканами?

– А это не правда? В какие условия мы попали? Напиши им про эти условия! Почему молчишь об этом?

– Но, кутенок, это временные трудности. Эта квартира только на первое время, пока мы не станем на ноги!

– На первое время? И сколько это «первое время» продлится? Большинство жильцов в этом доме уже по пять, по десять лет живут. Сколько ты думаешь мы здесь проживем: год, два, пять?

– Ну-у, этого никто не знает. Все в руках Господа.

– Может быть, и в руках Господа, только привез нас всех сюда папа! Вот и напиши в Нальчик, что так-то и так-то, временно живем пока на помойке, с мышами, с тараканами, вшестером в двух комнатах, сколько продлится это «временно», никто не знает, все в руках Господа! А? Напиши! Тогда твоя правда будет не такой однобокой.

– Кутенок, ты же знаешь, каждое письмо из Америки читать будет весь город: это очень важно, что мы им пишем. Ты считаешь мы должны опозорить себя на весь город, написав, что мы, дескать, идиоты, бросили роскошный двухэтажный дом, чтобы поселиться здесь в Америке на помойке?

– А! Вот оно как! Значит, мы идиоты? Ведь мы это сделали! Просто ты боишься быть посмешищем для всего Нальчика и умалчиваешь об этом! Вот ты сам все и сказал: значит, мы все-таки идиоты!

– Да нет же, кутенок. Ты все не так понимаешь: просто эта ситуация с квартирой – не главное. Это временная трудность, которую мы должны преодолеть во имя другого, более важного.

– Что именно это более важное? Обилие колбасы на Брайтоне? Что?

– Кутя, я много лет продавал мясо на черном рынке. Мне приходилось это делать, чтобы прокормить семью. Ты понимаешь, что это значит?

– Это значит, мы жили богато.

– А если бы меня посадили?

– Не посадили же! Если ты столько лет продавал и тебя не посадили, значит, и дальше бы не посадили.

– Меня могли посадить в любой момент. Но я не о себе волнуюсь. Если бы я сел, что бы вся моя семья делала?

– Мы бы тебя высвободили.

– Как бы вы это сделали?

– Денег бы дали и высвободили!

– А где бы вы взяли эти деньги?

– У тебя денег полно было! Я думаешь, не знаю, вы хранили их с бабушкой под вашим матрацем. Как же, помню я эти пачки!

– Ну, проели бы вы эти деньги, а дальше? Не хватит же запасов на всю жизнь.

– Папа работал, мама работала.

– Твои папа и мама получали вместе – четыреста рублей. А я продавал мясо по четыре рубля за килограмм. На те деньги, что твои мама с папой зарабатывали, можно было жить только впроголодь, уж не говорю о том, чтобы тебя, мою деточку, одевать модно.

– Папе повысили до пятисот!

– Это уже когда? Прямо перед самым отъездом, когда докторскую защитил. Но и это сильно бы не помогло. Тебе на всю их общую месячную зарплату даже одно модное пальто нельзя было купить. Ты считаешь это справедливо, доктор наук (!) не может в той стране купить дочери модное пальто на свою месячную зарплату! А что если у него две дочери? Как ему жить? Твой папа честный человек, он не мог крутиться, как все, а честному человеку там жить невозможно.

– Я помню, ты ведь попался раз! Тебя высвободили.

– Это потому что наш дядя Артур в ГАИ работает. А если б не он?

– Но ведь он был!

– Он тоже не мог бесконечно помогать. Раз помог, два помог, он сам рисковал.

– А справедливо, что доктор наук (!) должен в этой стране идти работать слесарем? Почему ты не написал о том, что папа здесь со своей ученой степенью может пройти в туалет?! Десятилетия кропотливого труда он должен выбросить на помойку. Почему ты об этом не написал, а?

– Кутенок, ну что толку расстраивать ближних? Они прочтут, расстроятся, будут на весь Нальчик долдонить, что мы здесь бедствуем. Ведь это же неправда!

– Неправда? По-твоему, папе работать слесарем или чертежником – это не бедствовать?

– Здесь чертежнику платят больше, чем там доктору наук.

– Да-а??? Это интересно! Как ты к такому выводу пришел?

– Мы, когда уезжали, меняли рубли на доллары. Какой курс

рубля к доллару? Если ты посчитаешь, твоему папе платили тысячу долларов в год. А здесь ему платят тысячу долларов в месяц!

– Ты серьезно, не понимаешь??? Ты посмотри на цены: что сколько стоит здесь и там!

– Мясо стоит одинаково.

– Нее-е-ет, мой дорогой. Подожди! Мясо! Эта вонючая квартира сколько стоит?

– Двести пятьдесят долларов.

– Ты в Союзе это платил? Нет. Сразу нет одной четвертой зарплаты. За свет, газ, телефон – какие счета приходят каждый месяц? Где-то порядка ста пятидесяти долларов. Так? Так. В Союзе, сколько эти радости стоили? Совершенно верно, копейки. Итак, четырехсот долларов нет! Дальше: сколько стоит здесь проезд в метро или автобусе?

– Пятьдесят центов.

– А у нас? Пять копеек.

– Сколько стоит здесь одна книга? В среднем.

– Пять-шесть долларов.

– А у нас?

– Пять-десять копеек. Иногда, рубль.

– Театр здесь, говорят, вообще целое состояние стоит, билеты по двадцать долларов! А у нас – два-три рубля. Так, что остается от большой зарплаты? Что толку, что тебе сначала дают много, а потом все забирают!

– Кутенок, театр, это роскошь. А хлеб насущный здесь дешевый.

– Значит, папа готов работать слесарем, чтобы мы могли вдоволь жрать мяса?! Зачем ты им пишешь одно хорошее? Ты чего добиваешься? Чтобы они тоже, как мы, все бросили и сюда приехали?

– Я бы мечтал об этом.

– И тебе не будет стыдно смотреть им в глаза?!

– За что?

– Как за что! Ты говоришь им только хорошее, а о плохом молчишь! Ты их обманываешь. Под воздействием именно таких писем мы тоже заболели этой идеей об отъезде. Я не хочу, чтобы Маша и Илюша оказались очередной жертвой пропаганды в форме писем.

– Я своих детей очень люблю. Я никогда им не сделаю плохого.

– Вот и я удивляюсь. Ты же у нас не папа. Ты-то не станешь врать ради того, чтобы доказать правоту своих поступков? Зачем даешь им однобокую информацию?

– Я не считаю, что им будет плохо, если они под воздействием моих писем приедут сюда.

– Им не будет здесь плохо?! – с угрозой в голосе переспросила я.

– Я не считаю, что здесь им будет плохо, – кротко повторил дед, искренностью своих глаз и голоса убивая меня наповал.

Как мог мой умный дедушка не понимать?! Я не могла объяснить этот феномен.

– Их дом еще лучше нашего! – пыталась я уговорить деда их же взрослыми мерками. – У них дворец, а не дом. Пусть потеряют свой дом? Пусть приедут жить сюда, на помойку?

– Здесь на другой заработают.

– Когда? Это же десятилетия! Как? Дядя Артур там занимает такой пост! Он начинал, когда был простым гаишником, потом стал зам. начальника ГАИ города Нальчика, потом зам. начальника ГАИ всей республики. Этот путь был проделан за десятилетия. Что он здесь будет делать? Токарем пойдет?

– А даже если и токарем. Что в этом плохого? Моя дочь постоянно ездит в Москву, товар покупает, привозит в Нальчик, продает. Это у них называется «спекуляция». Когда-нибудь она попадется. И муж не спасет. Здесь, худо-бедно, да надежно. Тюрьма во всяком случае не грозит.

– Можно подумать там ей грозит тюрьма, при муже который без пяти минут начальник ГАИ всей республики!

– Один неправильный шаг, и он со своей работы полетит, и она в тюрьму сядет.

– Если предпочесть быть нищим, но жить спокойно, то и в Союзе можно очень спокойно жить, не стоит за этим так далеко ехать. Можно перестать заниматься спекуляцией, не брать взяток, жить честно, на зарплату – и полный покой! Они не хотят так. А на что они приедут сюда?

В общем разговор этот был в пользу бедных. Доказывала я, доказывала, а письмо все равно то же самое отправили.

* * *

Представляю, как в Нальчике будут носиться с этим письмом, как будут его читать и перечитывать, то в одной семье, то в другой. Мнение моего деда очень авторитетно: после его писем даже те, кто прежде не верил, теперь поверят, что Америка это рай.

С таких писем все началось и у нас. Когда в 1972 году уехали тетя Хиба и дядя Стас, мне было всего семь лет и я уже не помню,

что именно говорил и делал тогда мой папа, как отнесся к этому. Одно я помню, что папа просил не писать писем по нашему адресу. Он боялся, что это может как-то повредить нам.

Собирались на штаб-квартире у кого-то одного, как правило, у того, кому нечего было терять, кто был без положения, хорошей работы и уже одной ногой за бугром, – и там, тайком читали письма.

Потом уехали еще несколько семей в Израиль. Они тоже писали письма, присылали посылки. Весь город сбегался почитать письмо, присланное из другого мира. Посылки, пожалуй, больше говорили, чем сами письма. Тема эта была запретная и потому вызывала у всех большой интерес.

Уехала семья, бросив все и вся, и люди смотрят и думают, раз они так уехали, то, наверное, знали, для чего все это! Фотографии присылали: вот мы в Италии, в Риме! А вот мы в Париже! В нашем маленьком Нальчике дальше Москвы редко кто удосужился побывать, а если и удосужился, то где-то в пределах Урала. Италия – нашим нальчанам могла только сниться! А тут вдруг, люди уехали и вырвались на свободу! Могут поехать в любую точку земного шара. Во, здорово!

* * *

Несколько семей, отважившихся покинуть родную страну и уехать в Израиль, нарушили покой и психологический баланс всего города. Все они, однако, из Израиля потом переехали в США и уже оттуда писали, что вот она, наконец, земля обетованная! Америка – это то, что нужно!

Регулярные письма и посылки делали свое дело. Америка – как недоступная мечта витала в воздухе.

– Эти джинсы американские?! О! – уважительный и многозначительный кивок головой.

– А эти дубленки из Америки?! Ну тогда понятно, почему так дорого стоят!

Никто ничего не знал об этой стране. Однако все знали: у нас все плохо. А там, в недоступной Америке… Большой вопросительный знак.

Чем хуже казалась действительность, тем светлей представлялась таинственная далекая страна, о которой столько говорят. Вот один туда уехал, оставив все, что имел, вот другой уехал. Раз люди уезжают, бросив все, наверное, они что-то знают. Не зря они, сломя голову, бросаются в этот омут.

Теперь вот наша семья. Бросили все и уехали! Шикарный

дом, папа работал в университете, дедушка торговал мясом. Было все – и положение, и деньги, и перспективы (разумеется, мы бы с Танькой там не бедствовали). Раз мы все бросили и уехали, значит, мы знали, что делали! Мои родители люди ученые, «им известно то, что простым людям неведомо». Вот письма. Если дед пишет, этому можно верить… деда знали в городе все. Это не тот человек, который свои седины позорить станет дешевым враньем. А он, пойди спроси его, почему он так пишет, в заблуждение вводит? Глаза такие искренние: похоже он сам верит в то, что никого не обманывает.

Но ведь дед мой умный человек! Как он может не видеть?!

* * *

Далекая мечта Америка! Чем хуже казалась жизнь дома, тем чище рисовалась воображению недоступная и сладостная страна.

– Мама, а как вообще впервые советскому человеку, жившему в постоянном страхе, пришла такая мысль – эмигрировать? Когда и как уехали самые первые эмигранты нашей волны?

С эмиграцией после революции понятно. После и во время Великой Отечественной тоже понятно. Вот, как дядя Денис, во время войны, воевал где-то за пределами Союза. Попал в плен. Боялся вернуться на родину, могли расстрелять как врага народа. Долго скитался по странам. Во время своего пребывания в Турции женился на турчанке. Она родила ему троих сыновей. Теперь дом дяди Дениса Америка.

Третья волна – это уже после Сталина. Как после сталинского режима могло кому-то в голову прийти эмигрировать? Как эти первые люди не побоялись пойти в ОВИР, подать заявление? Как они не боялись, что на их заявление ответом станет либо тюрьма, либо расстрел?

Мама попыталась что-то ответить, но не смогла. Вместо нее ответил дедушка.

– Все началось с так называемого «Дела летчиков». В семидесятом, а может, в семьдесят первом году, не помню точно, словом, в начале семидесятых группа советских летчиков вступила в заговор: решили угнать самолет и, прилетев на территорию государства Израиль, просить политического убежища. Об этом узнали в КГБ. Всех арестовали и посадили. Возможно, среди них был один предатель, а может, чья-то жена донесла. Когда этих людей арестовали, об этом узнали на Западе. Заговорщики утверждали, что угнать самолет был единственный способ уехать к себе на родину, в Израиль, что СССР нарушает

закон о правах человека и держит своих граждан, как в тюрьме, не давая им свободы выбрать самим, в какой стране жить. Разразился международный скандал. Мировая общественность требовала судить этих людей на международном суде. Союз заявил, что преступление они совершили в этой стране и потому суд будет здесь же. В Союзе их всех посадили, кого на десять лет, кого на восемь, кого на двенадцать. Союз утверждал перед мировой общественностью, что никого взаперти не держит, и в доказательство тому объявили: если кто-то хочет уехать за границу, то, пожалуйста, никто никого не держит. Тогда появились первые смельчаки, осмелившиеся подать заявления.

– Как же они не побоялись? Ведь их тоже могли посадить?

– Люди, рискуя жизнью, подавали заявления!

– Ну и что? Их отпускали? Или сажали?

– Кого отпускали, а кого и сажали. В общем, с тех пор начали более-менее отпускать. Был подписан Хельсинкский договор. Так началась третья волна.

– А что это за Хельсинкский договор?

– Союз обещал выпускать на постоянное жительство всех своих граждан, которые этого хотят. Он был подписан уже через несколько лет. Ведь свободный человек имеет право жить там, где он хочет? Граждане СССР не являются собственностью государства.

– И всех стали выпускать?

– Не всех, но, по крайней мере, движение началось.

– А угонщики все остались сидеть в тюрьмах?

– Да, угонщики отсидели свои сроки от звонка до звонка. Зато они положили начало освободительному движению и борьбе за права человека в СССР.

– А кто первым уехал из Нальчика?

– В Нальчике это была семья Ифраимовых. Потом уехали еще несколько семей: Мишка, Павлик, они все были на твоей свадьбе. Помнишь их?

Я отрицательно мотнула головой.

– Потом уехали тетя Хиба с дядей Стасом. Все, кто уехал, писали письма, слали фото, посылки. Постепенно, для того чтобы уехать, созревали и другие.

– А у этих первых, кто уехал, были свои дома? Им было что терять?

– Да, у всех были свои дома. В основном, все ехали к себе на родину, в Израиль. Хотели жить среди своего народа.

– Как же они все оказались в Америке?

– В процессе жизни выяснилось, что в Америке жизнь лучше, и все постепенно, один за другим, переехали в Америку.

Эти люди, уехавшие первыми, были живой рекламой эмиграции. Оставшиеся дома, каждый день сталкиваясь с проблемами жизни, начинали подумывать, а не закончить ли все трудности одним махом, – уехав из Союза на Запад.

* * *

Дома все прибрано, уютно. На полу ковры. Только не трещит уж печка, своими огнями не наполняет комнату, уже несколько лет провели газ, и у нас теперь центральное отопление. Прежде бывало зимними вечерами сидишь у потрескивающей печи, смотришь на освещенное ее огнем лицо деда, который потихоньку все подкладывает дрова в огонь и смотрит пристально, словно о чем-то думает. К ужину, выходил папа из своего кабинета, а после читал нам вслух Пушкина.

Бу-уря мгло-ою небо кро-оет,
Ви-ихри сне-ежные крутя…

Смотришь в окно, на освещенный двор, заметенный снегом, на котором поздний гость или пробежавшая кошка проложили дорожку следов, слушаешь звуки папиного голоса, музыку стиха, скрип отворяющейся и затворяющейся дверцы печи, треск огня, возню деда с дровами, дышишь, припав к холодному стеклу, вспоминаешь сказочных героев, и на минуту этот двор со спящим под снегом виноградником покажется дремучим лесом, а следы кота превращаются в следы зайца. Кажется, что голодные волки рыщут неподалеку, кажется, это они принюхиваются и трутся под окнами: словно я слышу звуки сопения и шелеста под стенами дома, и так жутко и хорошо от этого становится. Чувствуешь себя такой защищенной в стенах своего дома…

* * *

Почему же мой отец решил эмигрировать? Что такое наша эмиграция? Дурь безумного мужчины, искалечившая мою жизнь? Или мудрый поступок самоотверженного героя, вырвавшего своих слепых наивных птенцов из огня, о котором глупые детеныши и не подозревали, живя, как он говорит, под его крылом?

Мне очень важно это понять.

Я признаю все те трудности, с которыми моя семья столкнулась на протяжении жизни в той стране, уважаю я и

свободу человека. Непонятным остается для меня другое: разве в Америке – или где-либо на земле – жизнь идеальная?

Здесь, в Америке, полно своих трудностей! Там мы хоть знали, как со своими трудностями бороться, это был наш брод, плохой ли – хороший, – но свой. А здесь – все чужое, мы здесь, как беспомощные дети. Разве, эмигрировав в Америку, мы избавились от трудностей жизни?

Вот еще что удивительно: толпища людей валят и валят из Советского Союза. Люди даже в тюрьмах сидели, чтобы получить эту свободу!

В свободной же Америке ни одному американцу не приходит в голову эмигрировать из своей страны. Ни одному! Даже самым несчастным бомжам, которые живут на улицах и питаются на помойках не приходит в голову эмигрировать в другую страну.

Почему? Как? Откуда возник этот массовый психоз: что все поголовно, даже очень хорошо живущие в Союзе люди, умудряются найти в своей жизни какие-то изъяны и мечтают об Америке? Откуда взялась сама мечта?

* * *

Говорила с девчонкой из Вьетнама. Ее и ее маленькую сестру посадили на плот вместе с десятью другими детьми и пустили в открытый океан. Доплывут до Америки, значит, спасены. Нет – значит, погибли. А остаться дома – верная смерть. Они эмигрировали, понятно. Умирали от голода.

Но у нас в Союзе никто не умирал от голода. Во всяком случае, ни одна из тех семей, которые уехали из Нальчика, судя по рассказам дедушки, вовсе не голодала. С другой говорила – с израильтянкой: там девушек в армию забирают, взрывы на улицах, постоянная война, тоже понятно. Нас не война до эмиграции довела. Я помню, у нас была спокойная, нормальная жизнь. Они мне говорят, что я жила у папочки за пазухой.

Может быть, я чего-то не видела, не понимала, по молодости?

Может.

Не может быть, что все население Союза и Америки – идиоты! Наверное, что-то здесь не догоняю я.

Глава шестая
Сентябрь – ноябрь 1981 г.

В Бруклинском колледже, говорят, много «русских». В местном кафетерии, говорят, они всегда собираются. Это пятачок русских. Я пришла. Все как один в черной кожаной одежде, с железными толстенными цепями, поперемотанными вокруг всего, где только можно намотать, с причудливыми стрижками, с серьгами в ушах, в ноздрях, в висках, в зубах… Это русские???

Сидят, играют в карты. Отборная матерная брань на чистом русском языке… Действительно, говорят по-русски… Но как?!!! Я вообще заметила, что в Америке русские эмигранты все отчаянно ругаются матом. Это сюда все такие приехали? Или они здесь такими стали? Речь, что помойное ведро. Посмотрела на них издалека, так и ушла, даже не стала подходить. Эти русские, пожалуй, более чужие мне, чем сами американцы, под кого они подделываются. Таких русских я в своей стране не видела. Да их там и нет таких. Это они здесь такую окраску приняли, так уродливо адаптировались.

* * *

С Танькой я познакомилась на уроке английского языка. Я сразу узнала, по одному взгляду на нее, что она «русская». Она тоже сразу признала во мне свою. Таньке было уже восемнадцать, она приехала с предками из Москвы три года назад. Симпатичная девчонка: короткая стрижка, пухлые губки и озорные-озорные лукавые черные глаза. Танька, казалось, вся сияла свежестью, здоровьем и хорошим настроением. Похоже, эмиграция не угнетала ее так, как меня. Мы разговорились.

– А что тебя удивляет, что оружие запрещают в классах?! – сказала она. – Конечно, пусть запрещают! Здесь же эти придурки ходят с оружием – все кому не лень. Год назад один парень повздорил с другим во время урока, а тот, не долго думая, достал пистолет и застрелил его.

– Не может быть! – не поверила я.

– Ага… не может быть… Эти американцы, они же придурки. Ты тут поживешь, еще не такое увидишь.

– Хуже, чем то что ты мне только что рассказала?

– Это смотря как на это смотреть… Застрелил, это конечно плохо, но если особо не высовываться, никто тебя не застрелит. А

со мной была история, уф… это полный караул…

– Что за история?

– Целый год мне пришлось сидеть недалеко от ублюдка… это еще когда я училась в школе, он приходил на урок, вынимал свой член и начинал мастурбировать.

– Сочиняешь ты это…

– Хотела бы я сочинять. Зачем? Ну, честное слово! Замучил он меня. Великая радость сидеть и созерцать, как он мастурбирует всю дорогу. Поэтому я и говорю, не знаю, что хуже, это или когда стреляют…

– Как он может мастурбировать при всем классе? А учительница? А все?

– Вот! В том-то и дело, что забил он на всех! И директора вызывали, и втыки ему делали, и учительница на него наезды устраивала… Хоть бы что! Придет, пять минут посидит, и рука его уже в ширинку полезла, затряслась. Сиди, весь урок это созерцай.

– Ну это, наверно, какой-то больной человек.

– А они здесь все – больные.

– Ты жалеешь, что уехала?

– Я? Нет, что ты! Как можно жалеть, что уехал из Союза!

– А что, Союз? Что там было плохо?

– Ой, да все! Я не знаю, скорее, что там было хорошо.

– С оружием там не ходили школьники, в классах не мастурбировали. Ты сама только что сказала, что американцы все отморозки. «Они здесь все – больные», – это ты сказала?

– А, ну это да. Так а там своего дерьма было выше крыши.

– Ну ты конкретно можешь хоть один пример привести?

Танька смотрела на меня так, как если бы я говорила нечто, ни в какие рамки не входящее: как будто только полному дебилу могло быть непонятно, что же именно в Союзе было плохо.

– Нет, ну это полностью несвободная страна, – отвечала она, по-московски растягивая слова, – где все и вся под каблуком у власти. Театры под цензурой, кино тоже, писателей гноят, народу даже колбасы не дают пожрать. Что там хорошего?

– А здесь лучше? В кино нет советской цензуры. Посмотри, что у них за кино.

– Кино здесь, конечно, дебильное. Что поделать?! Здесь своего дерьма хватает, но тут, по крайней мере, свобода.

– Свобода? Когда все могут носить оружие и стрелять друг в друга, если вышла ссора?

– Ты права, это другая крайность. А ну их, на хрен, эти страны. Для бабы главное не страна, а мужик, чтоб был хороший. А страна… Чихать на страну!

– Мужик? Ну хороший мужик – это да. Я согласна, мужик – это самое главное.

– Еще нужно получить образование, найти хорошую работу – и ты в ажуре! – добавила Танька.

– На кого ты учишься? – спросила я, болезненно сморщив лоб (если она сейчас скажет, что хочет стать программистом, она сразу умрет для меня).

– На рэджистеред нёрс.

– Что? – не поняла я.

– Я буду медсестрой после колледжа, – легко и просто ответила Танька.

– Тебе нравится эта профессия?

– А что там, нравится – не нравится, в реальном мире нужно твердо стоять на ногах. Медсестрам хорошо платят.

Правда, зачастую нужно работать в ночную смену. Но, что поделать? Думаешь, мне не нравится писать стихи или сниматься в кино… Нравится! Только стихи не кормят!

– А как ты поняла, что я хочу писать стихи или сниматься в кино? – удивилась я.

– Нет, это я не о тебе, это я так, в целом, говорю. Сейчас в Москве каждый пишет стихи или мечтает сняться в кино. Я поэтому. А ты что – все еще болеешь этим? – сочувственно спросила она.

Я пожала плечами.

– Забудь! – посоветовала Танька. – Здесь реальная жизнь. Реальная жизнь – суровая.

– Тебе восемнадцать лет? – спросила я, смеясь. – Ты просто даже мудрее, чем мои предки!

– Жизнь меня научила.

– Это за три-то года?! Танька, ты счастливый человек, если можешь так легко адаптироваться к окружающей среде.

– И ты адаптируешься! Это вопрос времени. Ну ты представь себе, во что превратится страна, где вместо того, чтобы работать, все повально пошли писать стихи! Стихи это, конечно, прекрасно, но кто будет работать? Поэтому та страна и загинается, там все поэты и художники! А работать, кто будет?

Я стояла с невольно съеженной осанкой, принимая Танькины удары по моему сознанию. Я не знала что ей ответить. Одно я знала с непоколебимой точностью, если я не стану писателем или кинематографистом, если мне когда-то придется адаптироваться настолько, чтобы стать медсестрой или еще кем-то, значит, моя жизнь про-иг-ра-на.

– Да, – неуверенно возразила я. – А что ждать от страны, где вообще поэтам и писателям нет места, где поэты должны

переквалифицироваться в программистов, парикмахеров, медработников, а художники в мясников? А в лучшем случае писать такую муть, от которой волосы дыбом встают, лишь бы эту муть покупали. Муть на продажу. Это лучше?

* * *

Вечером Леня пришел с работы, как всегда, в восьмом часу вечера. Залез в холодильник, набрал еды и к телевизору!

– Ну-у-у… обиженно протянула я, – снова телевизор?

– Ну, ма-а-мочка, сейчас же мое любимое шоу! – сникнув, как ребенок, умоляюще сказал он.

– Ну, хорошо, – сказала я, – посмотри свое шоу – и все!

Вмиг повеселев, Леня улегся напротив телевизора с тарелкой еды. Вся наша мебель в зале – это телевизор, купленный здесь, и ковер, привезенный из Нальчика. Леня лег на ковре, я села рядом, дожидаясь. Пока шла реклама.

Безукоризненно физически совершенные парни и девушки куда-то бежали по берегу моря: физически совершенные они были не на самом деле, а по их, американской формуле, эту формулу я уже наизусть знала. Девушки – все патологически худющие, как лягушки и с кукольными лицами, лишенными всякой индивидуальности, а парни, накаченные, как папандопалы, с бычьими шеями и трафаретными стрижками. Все эти лица и фигуры, похоже, штамповали на одной и той же фабрике.

Юноши и девушки жадно пили холодную, пенящуюся кока-колу. Оркестр играл гимн и приятный голос пел:

Кока-кола – самый заветный напиток!
Кока-кола – вкус несравнимый ни с чем!
Зачем любовь, зачем земные блага?
У меня есть кока-кола!

Действительно. Зачем американцам любовь, когда есть кока-кола?!

Потом на экране появился Шекспир с бутылкой в руках.

– Пить или не пить, уж более не вопрос! – сказал Шекспир, отхлебывая из бутылки, а потом, подмигнув, добавил: – Пейте «Коронел»!

Мало того, что у этих варваров не было своей культуры, они еще глумились над чужими святынями: Шекспир (!) у них занимался рекламой. И рекламой чего? Виски! Раздавить им было мало, им надо было еще плюнуть вдобавок и растереть. Ничего у

этих людей не было святого, никого они не уважали, дай только пожрать, попить, попалить из пулемета или поглазеть на неправдоподобно, безукоризненно физически привлекательных, по их меркам, людей.

Недавно я видела еще одну рекламу: какая-то фирма рекламировала свои вонючие бутерброды. Реклама начиналась с бессмертного портрета Джоконды, нежной, кроткой, сияющей своим таинственным светом. Затем показали громадный, набитый всякой всячиной бутерброд. При виде этого бутерброда нежная Джоконда раскрыла огромную пасть и по животному жадно откусила огромный кусок бутерброда, принялась, как голодное, одуревшее животное, лихорадочно жевать его в таком темпе, что от нее искры летели. Ну американцы! Даже Джоконду испоганили! И здесь все свелось к каким-то низменным плотским радостям. Ни на что большее американцы не способны.

Джоконда, лихорадочно жующая бутерброд, Шекспир, занимающийся рекламой виски… все это неприемлемо для человека, выросшего в Советском Союзе. Нас воспитывали снимать шляпу перед красотой, нас воспитывали уважать мудрость. Америка же глумится над всем и вся, для нее нет никаких авторитетов.

«Как он может это смотреть!», – думала я, сидя у телевизора. Показывали так называемую комедию. Взрослые люди, все с иголочки разодетые и, конечно же, все без единого изъяна во внешности, кривлялись, корчились, кидали друг в друга торты, выливали друг на друга ведра воды…

«Как он может это смотреть? Даже если не думать о том, что он смотрит телевизор в эти бесценные редкие часы, когда мы можем быть вместе? Он, писавший такие глубокие стихи, как он может смотреть такую дешевую чушь? Да не просто смотреть, а взахлеб!»

Когда закончилась комедия и начался новый поток рекламы, Леня подскочил как ужаленный:

– Ах, мамочка, миленькая моя, такой фильм сейчас начнется! Такой фильм! Ну позволь посмотреть!..

– Хорошо, хорошо, – сказала я. – Я же не жандарм.

Счастливый и оживленный, он поудобнее улегся опять, еще ближе придвинувшись к телевизору.

– О! Вот!!! Это мой любимый актер, – указал Леня на мускулистого железнолицего мужчину с бычьей шеей и крепкими белыми зубами. – Чарльз Бронсон.

«Любимый актер» – положительный герой, он баснословно силен физически, хитер и умен. Он не знает поражений. На протяжении всего фильма он гонится за какими-то

«отрицательными» личностями, убивая одного «плохого» человека за другим.

Пуф-паф, паф-пуф! Сумасшедшая погоня, оглушительный скрежет тормозов, машина переворачивается трижды, но герой выходит целый и даже без царапины. В него палят из пулемета, но все мимо. Однако сам он, прицелившись, стреляет один раз и сразу убивает троих врагов. Еще одного противника ловит на обрыве горы. Борьба на обрыве… Затем хороший (наш герой) сбросил плохого с горы. Тело плохого летит с невероятной высоты, он орет нечеловеческим голосом, затем разбивается. Все это смакуется в деталях.

Хороший идет дальше, он мстит плохим за что-то или за кого-то. Целую шайку бандитов наш герой, перехитрив, запирает в доме и поджигает – всех разом.

– Ах! – кричат горящие, треща в огне, – Ох! Хммм! – тела разваливаются, а стоны и крики еще слышатся…

Я встала и, не выдержав, ушла из комнаты. Как он может смотреть это? Как, он, со своим уровнем (судя по его стихам) может получать удовольствие от такой примитивщины? Как он, пишущий о возвышенном, может так по-мещански жить: телевизор, тарелка у телевизора, прозаичная работа… Не ошиблась ли я, не поспешила ли замуж?

* * *

Я слышала, что многие великие поэты, писатели, музыканты, такие прекрасные в своем творчестве, в жизни часто совершенно расходятся с тем образом, который мы рисуем, судя по их работам. Леня в стихах и Леня в жизни были такие же противоположности, как белое и черное. Порой мне не верилось, что именно этот человек, который сидел постоянно у телевизора, поглощая всю эту американскую ширпотребщину, мог писать такие талантливые стихи.

Вот, например строка из одного его стихотворения:

Давай уйдем с тобою в лес!
Давай, заблудимся в лесу!..

А в жизни, какой там лес! Работу один день пропустить не может! Мещанская жизнь с вечерами у телевизора…

* * *

У какой девчонки звон по коже не пойдет от талантливых стихов? Я вам расскажу, девчонки, что делают поэты, которые пишут такие стихи, в реальной жизни. Досыта насмотревшись всякой низкопробной муры по телеку, ложатся с вами в постель, чуть ли не кряхтя, как пенсионеры, говорят вам, как они счастливы с вами, как сильно они вас любят, таким примерно тоном, каким старый Каренин говорил это своей жене, затем достают из тумбочки газету и начинают читать все, что в ней есть, от корки до корки.

Я не преувеличиваю! Новости из-за рубежа для них интереснее, чем шестнадцатилетняя девочка, которая лежит рядом и зябнет в одиночестве. И это их первый месяц совместной жизни! Вот уже последняя страница толстенной газеты: спорт, погода, адрес редакции, имена сотрудников, телефоны для справок… ну же! Ах боже мой, в углу кроссворд. Когда в газете не остается ни одного непроштудированного миллиметра, они достают из тумбочки авторучку и начинают разгадывать кроссворд.

* * *

В мечтах все было совсем по-другому. В мечтах был голубой полет. В реальности – все прозаично и грубо. Обычный заурядный половой акт. Ничем не отличается от грубого и примитивного совокупления, которое происходит у всех людей и животных.

Это не то.

Он такой довольный, что я уже женщина! А я ненавижу это слово – «женщина»! От него пахнет старостью. От слова «жена» пахнет мещанством. Эти два ненавистных для меня слова он больше всех других слов любит применять по отношению ко мне.

* * *

В сложившейся неромантичной обстановке я стараюсь, изо всех сил напрягая воображение, сохранить, насколько возможно, тот свободный свежий дух, так отличающий мир подростков от оседлой старческой семейной жизни. Я часто говорю: «Давай представим, что мы живем в студенческом общежитии, а ты ночью пробираешься ко мне через вахтерок, боясь разбудить девчонок в моей комнате… Или, можно представить, что мы в палатке в турпоходе, в лесу, у костра, все спят, и учительница даже не догадывается, что ты ко мне прокрался»…

«Ага!», – говорит Ленька, а сам как будто нарочно все портит, каждый день принося в дом и мастеря какие-то мещанские вешалки, полки, подставки, так безжалостно разрушающие фантазию и напоминающие о семейном быте.

Даже любовью он занимается не так, как подростки это делают, а как взрослые семейные люди, кем он, к моей досаде, и считает нас, называя меня постоянно женой и обижаясь, если я кому-то о нем говорю «мой друг Леня», а не «мой муж Леня».

* * *

Занималась уборкой в доме. За какими-то ящиками нашла кучу неизвестных мне книг. Все разных авторов: Левитанский, Ряшенцев, еще какие-то незнакомые имена. В каждой книге – Ленины стихи. То есть… Как??? Ленины стихи – не его? Обманул… Украл все лучшие «свои» стихи… Украл… Вот это я попалась!..

Все можно было бы пережить – но это… Это главное, за что я терпела всю муру… Если стихи не его – что же остается? Мещанский быт, глупые комедии, примитивные боевики, бесконечные кроссворды… И ложь. Как можно было обмануть в таком! На что он рассчитывал? Хоть бы уж спрятал эти книги подальше, а то прямо дома…

Показала ему свою находку. Он не растерялся. Это, говорит, все равно мои стихи. Я, говорит, настолько то же самое чувствую, что хоть и не я их написал, а они все равно мои. Какая, говорит, разница, кто написал, раз, говорит, я их выделил, дал тебе, значит, это все мое, часть меня.

Железная логика.

* * *

Урок английского языка в колледже. Если провести параллель с русским, то вот, что мы делаем на уроке.

Учительница (сидя на столе и показывая всему классу свое нижнее белье):

– Ма-ма мы-ла ра-му. Повторяйте, дети!

Весь класс дружно, хором:

– Ма-ма мы-ла ра-му…

Как сейчас помню: выписыванье одного и того же слова на всю строку, диктанты, грамматика…. Десять лет советской школы! Это две-трети всей моей жизни. Все это уже положено на

то, чтобы выучить меня на уровне автоматизма правильно писать слова, грамотно строить предложения, разбираться в суффиксах, приставках, глаголах и подлежащих, четко и красиво излагать свои мысли и т. д. и т. д. и т. д.

Все это я блестяще осваиваю, а затем, в один день (!) выбрасываю десятилетний труд в мусорную корзину и переселяюсь на другой континент, где ни русский язык (ни правильный, ни неправильный), ни литература, ничего из того, что я так хорошо освоила, никому, к черту, не нужны. Как, по-вашему, должен чувствовать себя человек на моем месте?

Не успев пожать плоды труда практически всей моей жизни, я теперь должна снова опуститься на уровень первого класса средней школы и начать все сначала. Конечно, все во мне протестует! Конечно, я и в начале урока, и в середине, и в конце задаю себе один и тот же мучительный вопрос: не вернуться ли мне обратно?

Мне теперь не пять лет, как было, когда меня посадили в класс, где писали: «ма-ма мы-ла ра-му». По возрасту и по своему развитию я достигла уровня первого курса института, и вернуть меня сейчас на уровень первого класса начальной школы – значит перечеркнуть всю меня.

Оказывается, язык, это база, без которой, все твои знания сходят на нет. Это же так элементарно. Как же я этого раньше не учла?!

Дети в Союзе идут в школу с семи лет. Родители пытались экономить мое время еще с детства. Пользуясь своими связями (ведь папа был преподавателем в нашем университете, а мама учительницей в средней школе № 4 Ленинского района города Нальчика), они смогли устроить меня в первый класс в пять лет. А читать и писать я научилась еще дома, примерно в три года.

– Ты трудностей боишься?!! – стыдят меня Леня и папа.

– Ты главного не знаешь, – говорит папа Лене. – Она страшно недовольна и не может простить мне, что я увез ее из Союза. Она считает, что бросила чудесную страну.

Леня, услышав эту новость, выкатывает такие глаза, как если бы папа ему сообщил, что его дочь – особа вообще-то не женского пола, но и не мужского, а просто-напросто какой-то гермафродит.

– Не может быть! – говорит Леня, недоверчиво косясь на меня. – Ты? Любишь Союз? Ты, с твоим умом, с твоим умением ценить поэзию… Не может быть! Ты не можешь любить Союз!

Он говорит это, как бы заклиная меня успокоить его, не убивать: не гермафродит я, нет. Девушка я. Нормальная.

– Что значит с моим умением ценить поэзию? По-твоему, Союз плохая страна для поэтов? Да только там и рай на земле для

поэтов! А в Америке кому нужна поэзия?

– Рай для поэтов?! – чуть ли не визжит Леня от возмущения. – Ничего себе рай, когда их расстреливают!

– Ну кого расстреляли?

– Ах ты еще и этого не знаешь… как же ты любишь эту страну, если ты ее совсем не знаешь? А ты знаешь, что Гумилева расстреляли? А ты знаешь…

– А кто это такой, Гумилев?

– Ну-у… вот тебе, пожалуйста! Не просто расстреляли, но и запретили. Потому-то ты его не знаешь, что запрещен он, один из лучших поэтов двадцатого века!

– Дело даже, может, не столько в любви к Союзу, – поясняет папа Лене, – сколько лень перестраиваться в новой стране, адаптироваться, язык учить. Моя дочурка ведь страшно лени-и-ивая…

* * *

– Зачем тупо преодолевать препятствия? – не понимаю я.

– Я должна идти дальше в своем развитии. Для этого нужно одно из двух: или быстро освоить английский в такой же степени, как я владею русским, или вернуться в страну, где все функционирует на языке, которым я владею в совершенстве.

– Вспомни Бунина, – говорит Леня, – вспомни Набокова! Эти люди выдержали эмиграцию, а ты ноешь, как будто тебя на Колыму заслали. Даже в Гулаге выживали такие личности, как Солженицын. Что за проблема?! Ты что, английский язык не можешь выучить?

Я молчу. Чувствую, как мне стыдно. Действительно, что это я? Ведь я не слабая, ведь я личность. Что это я раскисаю!

– А кто это, Набоков? – спрашиваю я Леню.

– Ты не знаешь Набокова?! – глаза Лени блестят от восторга. – О-о-ох, я тебе завидую!

– Почему завидуешь?

– Тебе еще предстоит открыть его для себя. Набоков тоже эмигрант. Всю жизнь прожил за границей, и ничего. Он не утратил своего прекрасного русского, а многие романы вообще писал на английском. Некоторые он переводил сам на русский, а некоторые с русского на английский. Он в совершенстве владел двумя языками. Если Набоков мог, то почему ты не сможешь?

Я чувствую, как задыхаюсь. Задыхаюсь от ощущения непосильности задачи, поставленной передо мной, и в то же время от стыда, что я не могу того, что смог какой-то Набоков.

Ведь я могу все, что возможно! И даже более.

Прочитала впоследствии «Лолиту». Пришла в восторг. После Толстого и Достоевского впервые, пожалуй, пришла в такой восторг. Действительно, гигантский мастер.

Как же случилось, что я о нем никогда не слышала?!

– Ты знаешь, почему ты о нем не знала? – спрашивает Леня. – В твоей любимой стране он был запрещен. Нормально запретить такого, как Набоков?

Мне нечего ответить, и я, потупив взгляд, задумываюсь крепко: чего еще не знаю я о грехах своей любимой родины?

* * *

Значит, Набоков писал по-русски и по-английски. Значит, такое возможно. Набоков тоже, как я, уехал из России в ранней молодости, он был даже старше, чем я, когда уехал, и это не помешало ему овладеть английским в совершенстве.

Почему же мне кажется, что передо мной стоит неразрешимая задача? Почему чувствую, что никогда не преодолею этого препятствия???

Давай подумаем спокойно, без эмоций: насколько реальна задача освоить английский за один, два, пусть даже три года? Когда я говорю «освоить», это значит освоить по-настоящему, а не просто уметь объясняться на улице. Если на освоение русского ушло десять лет школы, а еще важней, две-трети всей моей жизни, то как же возможно пройти десятилетний путь за два-три года?

Это логика. А если без логики? На ощупь… Пытаюсь почувствовать, чутьем сообразить – конкурент или не конкурент английский русскому? Девяносто девять процентов клеток моего существа состоят из русского языка. Меньше одного процента во мне – английский. Это без логики, на ощупь. Русский язык во мне – это нечто величиной с Атлантический океан, простирающийся от Гренландии до Южной Африки, с немыслимыми глубинами, с богатой подводной жизнью. Примерно таких объемов. Английский во мне – это чашечка с водой из водопроводного крана. Какой шанс, что в чашечку когда-нибудь накапает так много, что ее содержимое вырастет настолько, что сможет конкурировать с Атлантическим океаном?

Есть вещи заведомо нереальные. Тратить время на достижение нереального глупо. Если потратить на это жизнь, возможно, я что-то и освою. Если бы английский был самоцелью, можно и жизнь этому посвятить, но ведь он всего лишь средство

для дальнейшего развития и функционирования. Убить сейчас на английский десять лет, это значит во всем остальном отстать от сверстников настолько, что уже сам английский потеряет смысл.

Что же делать? Такой, казалось бы, простой вопрос, а заблокирована вся жизнь.

* * *

Оказывается, язык необходим для жизни, как воздух! Его не замечаешь, пока он есть, но без воздуха человек умирает. Лишившись способности говорить и понимать, человек тоже в некотором смысле умирает. Он превращается в организм-овощ. Что толку, что живой?

Как же я об этом прежде не догадывалась?

Во мне сохранен русский язык, но в условиях американской жизни он непригоден. Я теперь – овощ. Даже хуже: я-то в реальности не овощ, а должна жить, как если бы была им.

Теперь, в возрасте шестнадцати лет, я должна регрессировать в раннее детство и начать агукать? Взрослый человек на уровне новорожденного – что может быть страшнее этой трагедии?

Моя духовная жизнь остановлена. Смутно чувствую, что язык – это не единственный камень, заблокировавший ее. Мало, что этот камень сдвинуть невозможно, за ним стоят другие, не менее неподъемные скалы.

Похоже, вырулить в этой ситуации нереально.

Вернуться обратно?

Тогда все станет на свои места. Я снова смогу дышать легко, говорить полноценно, попаду в свою стихию, в свою культуру. На первый взгляд, это так просто, взять и вернуться… А вот, поди, сделай!

* * *

Мне часто снятся мучительные сны: сцены прошлой жизни. Я проснулась, теплая от слез….Умопомрачительное ощущение тепла! Какое счастье только что мной пережито. Но это было во сне…

Только что, минуту назад, я там была, в той обстановке, в том тепле… Какие ломки – возвращение обратно! Непреодолимая тяга… все на свете бы отдала, чтобы вновь оказаться там. Самые простые незначительные вещи я видела во сне. Просто наш двор, солнышко… деревянные ставни… кустики роз под окнами… если

так подумать, то совсем ничего особенного. Мне снилась не картинка двора, а мне снилось – ощущение двора. И дело было даже не в самом дворе. Ощущение жизни, разлитое по всему двору…

Я проснулась, переполненная отчаяньем. Там солнце было – живое!!! Все – вплоть до асфальта в нашем дворе, подогретого солнышком, чернозема под кустами роз, кирпичных стен нашего дома, деревянных ставень, на которых играли солнечные блики, – все было живое… настоящее, теплое.

Теплое и живое!

Как я хочу схватить и удержать это ощущение жизни! Но я проснулась. Обильные горячие слезы (вот все, что удалось забрать сюда из реальной жизни) – резко остывают на подушке, и сейчас снова ничего не останется, кроме граненых льдов, синтетики и холода. Ощущение тепла вытекает из моего организма, как вода сквозь пальцы, а вместе с этим теплом вытекает жизнь…

* * *

Несчастье – это когда ты страдаешь на самой высокой, пронзительной ноте и при этом совершенно бессилен что-либо изменить. Несчастье не в самом страдании, а в твоей беспомощности против него.

* * *

Нет во всем этом огромном Нью-Йорке точки, где бы я чувствовала себя уютно, спокойно, удобно или хотя бы естественно. Ну какая разница – наш (советский) тротуар или американский?! Наше дерево – или американское, наш камень – или их, наш стиральный порошок – или их… Какая, какая, какая разница?!!!!!!!

Здесь все как будто выскочило, вывихнулось из состояния нормальности. Или это мое восприятие вывихнулось? Или это моя жизнь вывихнулась… Не знаю. Только я отчетливо, почти с физической болью чувствую нечто насильственное, давящее… дискомфорт от каждого штриха, каждого предмета окружающей среды. Мне больно. Моим глазам больно. Моему мозгу больно. Моему телу больно. Моей душе больно… До шока: при некоторых оглушительных ударах уже боли не чувствуешь, а падаешь в обморок – так мне больно.

* * *

Урок: «соушел сайколоджи». Вот как выглядит для меня среднее предложение на английском языке.

«Когда люди пришли знать, что… (шесть непонятных слов подряд). Люди… (непонятное слово) иметь потерять их (незнакомое слово) как они… (два незнакомых слова) один… (непонятное слово) танцевал… (незнакомое слово).

Вот так.

Интересное чтиво!

На то, чтобы выписать из словаря все слова, которые я не понимаю в этом предложении, ушло более часа (заметьте, на перевод предложения, которое можно прочесть за полминуты, уходит более часа!) Вы думаете, выписав все слова, вы сможете понять предложение?

Вот как звучит предложение по-английски:

When people came to know that the war was over the crowds went berserk. People seemed to have lost their senses as they screamed, hugged one another, danced wildly.

Вот все непонятные слова, выписанные из словаря: the war – война to be over – быть законченным the crowd – толпа to go berserk – рассыпаться в разные стороны, сходить с ума в восторге to seem – казаться it seems to me – мне кажется he seemed to be tired – он казался усталым senses – чувства to bring one to his senses – привести кого-либо в чувство he sensed that – он почувствовал, что to scream – кричать screaming – кричащий screamed – кричал to hug – обнимать they huged each other – они обняли друг друга another – другой another day – другой день wild – дикий, неистовый wildly – дико, неистово.

Вот, что я собрала, выписав все незнакомые слова. Выделяю особенно этот шедевр.

«Когда люди пришел (пришли) знать, что война была закончена, толпы пошел (пошли) ликовать (беситься, сходить с ума от радости). Люди казался (казалось, казаться) иметь потерять их чувства, как они кричали, обнимали один другой, танцевали дико».

Бурда какая-то! Мне бы сейчас поглощать тоннами непрочитанные сокровища мировой литературы. Русскую

литературу я знала более чем хорошо, а вот зарубежную, еще не успела. Не успела я еще и освоить поздний двадцатый век своей страны. Сотни поэтов, которых я не знала, сотни, имена которых знала, но не успела прочитать…

Вместо того чтобы заниматься делом, писать, творить, я трачу драгоценнейшие часы и дни на освоение этого проклятого-растреклятого английского языка!!!

* * *

– Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Передаем последние известия!..

Сколько раз по вечерам слышала я запретные маяки, когда все члены семьи собирались у радиоприемника, как если бы происходило грандиозное событие. Соседи, родственники сбегались в заветный час, припадали к приемнику, как околдованные, коллективно загипнотизированные, слушали голоса с «Того Света», слушали «Архипелаг Гулаг»…

Что было это? Откуда появился тот психоз? Почему вдруг возник тот нездоровый интерес к Америке?

Если бы большинство из нас хоть чуть-чуть могли себе представить эту Америку, когда мы были в Союзе, возможно, весь интерес бы как рукой сняло.

А в учебнике психологии я недавно нашла такой термин: «cognitive dissonance».[9] Когнитивный диссонанс, по определению Леона Фестингера, писали в учебнике,[10] – это дискомфортное психологическое состояние, возникающее от наличия у человека в сознании одновременно двух или более убеждений, которые конфликтуют друг с другом или противоречат друг другу.

Так, например, если вы хотите похудеть, вы стараетесь не есть сладкого и жирного. Или, если вы считаете данный район плохим, то не снимаете в нем квартиру. Такое психологическое состояние, когда ваши убеждения и поведение находятся в полной гармонии друг с другом, называется «когнитивным консонансом», оно приятно человеку и естественно для него.

Однако не всегда в жизни выбор так прост. Вы, может быть, считаете данный район плохим, но снять квартиру в лучшем районе вам не хватает денег. Квартира «Х» находится в хорошем районе, но стоит чересчур дорого. Квартира «У» находится в плохом районе, зато цена превосходная. Какой выбор должен сделать человек?

С точки зрения психологов, ответ прост. Человек принимает решение, любое решение, а его потребность в устранении

дискомфорта от когнитивного диссонанса позаботится обо всем остальном.

Как только человек принял решение, ему свойственно убедить себя, что он принял правильное решение. Так, если он снял квартиру в дорогом районе, для того чтобы устранить дискомфорт от диссонанса, он должен убедить себя, что цена не такая уж и высокая. Или он должен убедить себя в том, что какая бы высокая цена за квартиру «Х» ни была, квартира «У» – абсолютно непригодна для жизни!

Если же он принял решение остановиться на дешевом районе, то для устранения диссонанса, ему необходимо убедить себя, что дешевый район не так уж и плох. Словом, убеждения и действия должны быть в гармонии.

Для того чтобы устранить диссонанс, человек должен либо убедить себя, что его выбор правильный, либо настроить себя еще более негативно против отвергнутой альтернативы.

Пример с диетой: чтобы избежать дискомфорта от когнитивного диссонанса, человек, мечтающий похудеть, должен либо воздерживаться от сладкого и жирного, либо, если он не в состоянии воздерживаться, должен поменять свое убеждение насчет того, что быть полным плохо. Если же и это невозможно, он должен внушить себе, что он вовсе и не полный. И внутренний дискомфорт будет устранен.

Чем более важны вещи, о которых идет речь, тем сильней дискомфорт от диссонанса, вызываемого противоречивыми убеждениями, и тем острее нужда в его устранении посредством одного из многих вышеприведенных методов.

* * *

А не эмигрировать ли нам в Америку? Действительно ли там жизнь гораздо лучше, чем у нас? Какие трудности там ждут? Не совершим ли мы ошибку?..

Все эти вопросы задает себе каждый человек до того, как он принимает окончательное решение, рискнуть и все-таки эмигрировать. Как только он принял решение и совершил шаг, уехал туда, откуда назад уже дороги нет, сколько бы негативного ни увидел он в новой стране, с какими бы трудностями ни столкнулся, для устранения сильного психологического дискомфорта от когнитивного диссонанса ему свойственно убедить себя или в том, что Америка прекрасная страна, несмотря на все недостатки, или в том, что недостатки у Америки пустяковые, или в том, что даже если у Америки и есть свои

серьезные недостатки, но в Союзе было гораздо хуже.

Сказать самому себе: «Я сюда приехал, а здесь хуже», – значит обречь себя на мучительное психологическое состояние. Ведь изменить уже ничего нельзя! Решение принято, и решение жизненно важное. «Чем важнее решение, тем сильнее психологический дискомфорт от диссонанса и тем сильнее потребность в его устранении».

«Я принял решение (по собственному убеждению) бросить ту страну, а там было гораздо лучше (это тоже мое убеждение)». «Здесь плохо (это мое убеждение), а я приехал сюда (по собственным убеждениям)». Все эти конфликтующие мысли, воспалительный процесс в сознании, вызывают у человека сильный дискомфорт, т. е. когнитивный диссонанс. Естественный защитный механизм заставляет человека инстинктивно склониться к тому, чтобы изменить свою точку зрения, если он не может изменить свои действия.

Кажется, Крылов в своей басне «Лисица и виноград» тоже писал про когнитивный диссонанс. Мы по какой-то причине не можем обрести счастье и покой в своей стране (не можем достать виноград) – значит, страна плохая (виноград еще зелен). Мы покидаем виноградник, при этом нам нужно чувствовать, что мы все правильно делаем, чтобы устранить дискомфорт в себе. Мы умудряемся увидеть и поверить в то, что «зелен виноград», ничего мы не потеряли.

Однако ж!!!

Но тогда вопрос: а почему закон когнитивного диссонанса не распространяется на меня? Почему я не «уговариваю себя», что правильно сделала, приехав в Америку, ведь я уже здесь и мне, как и остальным, дороги назад нет? Не лучше ли мне убедить себя, что здесь хорошо, чем жить и все ненавидеть?

Ответа на этот вопрос в моем учебнике психологии начального курса нет. Неужели вся разница между мной и моим папой или дедушкой в том, что я, в отличие от них, решения эмигрировать не принимала сама? Меня увезли, я жертва. Я не чувствую себя виноватой в том, что попала в этот кошмар. Положение «я жертва, мне испортили жизнь», похоже, гораздо легче воспринимается собственным сознанием, чем положение «я дура, я сама себе и своим близким испортила жизнь». Так что ли?

Или дело в другом: может быть, я просто исключение из правила? Ведь не бывает правил без исключений.

* * *

Итак, совершив поступок, когда уже известно, что назад дороги нет, человек имеет свойство убеждать себя, что поступил правильно, и в упор не видеть тех факторов, которые бы делали для него очевидной совершенную им ошибку. Подсознательно понимая, что уже исправить ничего нельзя, человеку гораздо приятней убедить себя и жить с верой, что он все сделал правильно, что альтернативный вариант был абсолютно неприемлем.

Милый мой дедушка, теперь я понимаю, почему ты при своей кристальной чистоте и прекрасном уме пишешь в Союз такие письма!

Вот и крутится эта страшная машина. Но кто запустил ее? Каким образом, отчего она пришла в движение?

Глава седьмая
Декабрь 1981 г. – февраль 1982 г.

Доска объявлений в колледже. Любители плаванья собираются по средам в спортзале. Кружок йоги, по пятницам и воскресеньям: корпус 3, комната 8. Лекции по нетрадиционной медицине… Вдруг глаза мои вышли из орбит и ярко осветили написанное: «Клуб лесбиянок. Встречи, дискуссии, вино и печенье. Каждый вечер, с 6 до 8. Корпус 1. Комната 2».

– Ты не знаешь, кто такие лесбиянки?! – с покровительственной нежностью в голосе сказала Танька во время одного из наших разговоров. – Это когда женщины друг друга любят. Не платонически любят, а с сексом, со всеми делами, понимаешь? – лукаво улыбаясь, искоса поглядывала она на меня.

– Нет. Не понимаю. Как с сексом?! – удивилась я.

– Мила-а-аша… смешная такая, – Танька смотрит на меня с нежной улыбкой. – Я тоже вначале, как ты, таращилась, – говорит она. – Нас так воспитали в Совке, мы там ничего этого не знали. Ты тоже привыкнешь, не будет тебя это так шокировать.

– Дело не в шоке, я просто не понимаю, какой секс может быть у женщины с женщиной?

– В том-то и дело, поэтому их и называют лесбиянками.

– Как это вообще возможно трахаться с женщиной? А чем? У нее же члена нет!

– Ну и что?! Есть резиновые члены! Пальцами можно, языком. Закомплексованная ты. Но это не твоя вина, это Совок всех такими делал.

– Резиновые члены?.. Зачем нужен резиновый член, когда вокруг миллионы живых парней?

– А они предпочитают с женщиной! Америка – свободная страна! Видишь, это тебя в Союзе так закомплексовали, что ты глаза таращишь. А что в этом плохого, если женщина предпочитает любить женщину, а не мужчину? Кто сказал, что мы должны любить именно мужчин? Почему не женщин? У нас, в твоем любимом Союзе, этих бедных людей преследовали, в тюрьмы сажали… А за что? Кто сказал, что любить мужчину – правильно, а любить женщину – неправильно? Почему все должны жить так, как они говорят?

– А разве у нас были эти самые… ну, лесбиянки?

– У нас?! Еще как были! Просто об этом никто не говорил! Все скрывали.

Я смотрела на Таньку и не знала, что ответить. Действительно, а кто сказал, что мы должны любить мужчин, а не женщин? Мне это даже в голову не приходило. Как если бы меня спросили: кто сказал, что, когда у нас горе, мы должны плакать, а не смеяться? Почему не смеяться с горя? Не знаю. Наверно, действительно, все зависит от того, как тебя научили реагировать с детства. Возможно, если бы было принято смеяться, когда горе, и плакать, когда радость, мы бы все так и делали. Оказывается, важно то, как тебя с детства приучили!

– Но ведь ты сама говорила, что для тебя мужик – самое главное.

– Для меня, да. Я не лесбиянка. Но я и не ханжа. Я не считаю, что если кто-то хочет быть не таким, как я, то он какой-то урод или неполноценный. В этом прелесть Америки: все имеют право на жизнь. Все свободны делать, что хотят. Открыто.

«Да, – подумала я, но не сказала вслух, – Америка – свободная страна. Свободная от комплексов и предрассудков. Удивительно, что они посрать в сортир ходят, а не срут открыто. Зачем? Это же так естественно, срать. Кто сказал, что, чтобы посрать, нужно уединиться? Кто это придумал? Предрассудки. Комплексы. Советское порабощение умов. Свободные люди должны без всяких предрассудков испражняться и мочиться там, где им заблагорассудится. Почему нет?»

«Па-чему-у не-е-ет?», – часто любят здесь спрашивать, искренне недоумевая.

Проклятая страна.

* * *

Каждый раз, когда мы идем с Леней в кино, у меня начинается депрессия. Какой фильм ни выбирай, в какой кинотеатр ни пойди, все пути приводят в Рим. Они только названия меняют, а фильмы все, как один. Как правило, это боевик с каким-нибудь железнолицым бугаем: бугаи – их кумиры, они все на одно лицо и все лихо убивают людей, как мух. Если это комедия, – то кидание торта в рожу. Если драма, то такая примитивщина, просто диву даешься, что в такой прогрессивной стране, как Америка, кино ставят на уровне каменного века. Не считая, конечно, техническую часть: пленку, там, хорошие камеры, трюки и т. д.

У нас в Союзе на весь советский кинематограф, начиная еще с «Броненосца “Потемкина”», не потратили и половины тех денег, которые эти тратят на один свой кассовый фильм. При таких

затратах, они производят не кино, а черт знает что, язык не поворачивается назвать это уродство «кино».

Наши могут, несмотря на скупые средства, строгую цензуру, создавать такие шедевры, как «Летят журавли», да что там, сотни хороших фильмов. Практически каждый советский фильм наполнен смыслом, глубиной.

Вот, к примеру, «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского. Разве американцы могут что-нибудь подобное поставить? А про такого, как Эльдар Рязанов, я просто молчу. У него же ни в одной комедии ни торт не летит в лицо, ни ведро воды никому на голову не выливают. В Америке бы он не пошел.

Каждый наш фильм отражает какую-то эпоху, каждый герой находится в каком-то поиске или сложном конфликте. Любой советский фильм заставляет думать, размышлять. Воспитывает, будит в тебе что-то доброе, человечное.

Я как-то спросила у своего преподавателя в колледже.

– Почему у вас в Америке такое примитивное кино?

– «Голливуд» делает фильмы, чтобы продавать их. Убийства и торты в рожу, которые тебя так возмущают, продаются лучше всего. А серьезные фильмы скучны. Зрители не хотят думать. Они не хотят переживать. Зрители хотят расслабиться и получить удовольствие.

«Расслабиться и получить удовольствие», – звучит-то как!

– Американские зрители, – пояснила я.

– Да, мы так воспитаны, – смеется он.

Это преподаватель урока «Хистори оф американ синема». Если для них хорошее кино «боуринг», как они это называют, то мое творчество в любом виде не для этой страны. Я никогда не опущусь до того уровня, чтобы им угождать, создавая маразм типа того, на который выстраивается в кинотеатрах Нью-Йорка километровая очередь. А создавать и прятать в шкаф – глупо. Признание людей, их любовь необходимы мне, как солнце для цветка, я без этого не смогу. Это главное.

Так, значит, проблема не только в английском языке. Я бы этот английский зубами разгрызла, если бы в нем одном было все дело. Смутно понимаю, но не хочу признать, что проблема моя гораздо, гораздо глубже, чем английский язык.

* * *

На улицах вечереющего Нью-Йорка уже вспыхнули ночные лампочки. Огромный кинотеатр, бурно переливаясь огнями, сиял в ночи, как волшебный дворец, у подножия которого кишела

несметная толпа молодежи. На вывесках реклама трех фильмов, которые сегодня можно посмотреть. На одной из них: нижняя половина женского тела, от талии до кокетливо выставленной пяточки, в очень открытых трусиках и мужская рука, волосатым пальцем игриво зацепившаяся за трусики, вот-вот готовая стянуть их.

– Это кинокомедия, – сказал Иосиф, друг Лени, – я ее уже смотрел. Ой, ребята, это такой смешной фильм! В духовной семинарии, где одни мужчины, появляется баба, ну и, как вы понимаете, она устраивает там такой кавардак! Со всеми по очереди… ну, вы сами понимаете. Одна баба целый класс мужиков-гимназистов переимела. А как смешно поставили! Посмотрите как-нибудь потом.

На другом плакате изображен сияющий стальной мускулатурой железнолиций мужчина, обнаженный по пояс и с пулеметом в руках. Рядом с ним худющая девушка с мраморным безизъянным телом и грудями, неестественно выставленными напоказ.

– Боевик, – сказал Леня.

Я злобно взглянула на него.

– Я не хочу больше боевики смотреть, – сказала я.

– А другой фильм – horror! – сказал он.

– Что значит «horror»? – поинтересовалась я.

– Что значит «horror»? Фильм ужасов.

– Что значит «фильм ужасов»?

– Ну очень страшный, много страшных сцен.

– А-а-а-а… – с недоумением протянула я и посмотрела на вывеску.

Вывеска была совсем не страшной: очень юная и обаятельная девочка наивно смотрела в глаза зрителям. Между тем кишащая молодежь постепенно стала принимать форму очень длинной очереди. Толпа народа, по 3–4 человека в ряду, как выстроенные роты солдат, стояла мощной длиннющей колонной, уходящей за угол и тянувшейся так далеко, что конца не было видно. Это ждали открытия дверей в кинотеатр люди с билетами. У кассы тоже стояла очередь. У входов в два других зала тоже стояли очереди, но они были заметно меньше.

– Horror movie наделал много шуму! – оживленно сказал Иосиф. – Все билеты на этот сеанс проданы, представляете?!

Заинтригованные неимоверной очередью, мы решили подождать следующего сеанса, взяв билеты заранее.

– Здесь недалеко тир есть, как раз пару часов и постреляем, – предложили Леня и Иосиф, указывая на сверкающий огнями тир.

Тир был декорирован под уютную комнату, посреди которой

бесстыдно стояла полуголая женщина в корсете и в чулках на подтяжках, в высоких кожаных сапогах и наброшенном на плечи шелковом халатике. Оказалось, это манекен. Огромные ресницы, взбитый парик. Женщина – заводная кукла, то поворачивалась к стрелкам задом, выставляя его в похабной позе и запрокидывая халат, то снова передом, открывая пышный вываливающийся из-под тугого корсета бюст. Грудь ее была простреляна во многих местах и окровавлена. Самый большой приз получал тот, кто попадет ей в зад, в эпицентр. Второй приз получал тот, кому удавалось прострелить ее сочную грудь. Те, кто попадал ей в остальные места, получали уже маленькие призы.

Я стояла, во все глаза уставившись на эту крутящуюся «женщину», на стрелявших, на работников тира. Никто вокруг никакого возмущения не выказывал, наоборот, всем было очень весело. Во мне происходила работа.

– Это же всего-навсего игра! – сказал Леня, заметив мое лицо. – Понимаешь, американцы любят острые ощущения!

По оживленным лицам Лени и Иосифа я видела: то, что мне казалось диким, им приносило море удовольствия. А ведь мы все трое приехали из одной и той же страны.

* * *

Пришли в кино. У них это называется «фильм ужасов». У нас такого жанра даже не существует. Я не люблю «ужасы», мне не нравится само название. Леня говорит, что в человеке есть и «от Бога» и «от дьявола» понемногу. Наши советские фильмы человека показывали однобоко: подчеркивали только хорошее в нем, а плохое, дьявольское, сильно смягчали. Таким образом, освещая человека только с одной стороны и умалчивая о другой, советские фильмы обманывали нас. Мы должны знать все. Должны знать всю правду, а не ее часть, нравится нам это или не нравится.

– Я не желаю, чтобы кто-то за меня решал, что мне можно смотреть, а что нет! – говорит Леня. – Мне же не четыре годика. Я хочу иметь возможность смотреть все (!). А я уж сам решу, что хорошо, а что плохо. Я взрослый человек.

На экране армия каких-то дегенератов, раздев до гола девчонку лет пятнадцати, подвесили ее вверх ногами, отрезали кусками мясо с ее живого тела, как с туши на мясокомбинате, при ней же кусали, жевали его в то время, пока она, все еще живая, подвешенная вниз головой, истекала кровью и, теряя кусок за куском свою плоть, медленно умирала в мучениях.

Постановщик фильма в деталях смаковал эти сцены, заражая эмоциями своих героев и зрителей.

Неужели и впрямь человек должен знать все, что есть в этом мире? Оказывается, этот мир не такой уж добрый. Теперь я знаю: и такое бывает.

Как было хорошо, когда я не знала!

Что же лучше, знать все, включая это омерзение, или быть «однобокой», как говорит Леня? Что правильнее? Мне не хочется жить в этом мире после того, что я увидела. Моя жизнь, мое мировосприятие – навсегда изменились. Нужно ли мне это в самом деле? Может, все-таки лучше быть однобокой?

Ненавижу! Ненавижу проклятых американцев! Америка – страна порока, извращений, жестокостей и примитивнейших низменных удовольствий. Не-на-ви-жу!!!

* * *

Странные чувства, которые накапливались во мне, искали, но не могли найти выхода. Я не могу даже дать названия тем чувствам, которые я испытывала. Что это? Крайнее отчаянье, боль, злость, возмущение, дикость??? Все эти чувства смешивались во мне, и вместе с тем ни одно из них не могло правильно охарактеризовать то, что я испытывала. Организм мой должен был как-то физически отреагировать на увиденное, ибо не отреагировать на такое он не мог, а единственная форма выражения сильных эмоций, доселе моему организму известная, – это слезы. Или даже отчаянный плач.

Через несколько минут Леня вышел вслед за мной и шепотом сказал:

– Неудобно, мы же не одни здесь. Давай не будем портить и Иосифу выходной, пойдем в другой зал, другой фильм посмотрим. Там нормальный фильм, не ужасы.

Пришлось покорно отсидеть еще более часа уже в другом зале, где показывали «нормальный» шустренький фильм, в котором главный герой, сияющий стальной мускулатурой и несказанной силой и ловкостью, боролся с врагами за первенство добраться до сейфа банка, где лежат миллионы.

К подобным фильмам я по крайней мере привыкла и, надо заметить, к концу фильма не могла не признать: герой был очень обаятелен, образы ярко очерчены, врезались в память, и фильм, несмотря на глупое содержание, снят с потрясающей художественной яркостью. По-видимому, не меня одну впечатлил ловкий и сильный герой этого фильма. Выйдя из кинотеатра,

Леня, как мальчишка прыгал, выкрикивая: «Пчь-у! Пчь-у! Пчь-у!»

– Старик, старик! Кончай ногами дрыгать на улице! – успокаивал его Иосиф.

– Хороший фильм, а! – сказал Леня, перестав прыгать, но все еще находясь в очень оживленном состоянии. – Вот мужик! Вот сила! А?!

Вдруг на улице раздался выстрел. Кто-то закричал, и вмиг, на противоположной стороне улицы образовалась толпа, загородив собой все происходящее. Поднялся шум, приехала полиция. Мы тоже подошли, но из-за толпы, ничего нельзя было рассмотреть.

– Убита? Застрелили? – говорили вокруг.

– Что такое? Что такое? – говорили другие.

Никто не знал толком, что произошло. Наконец из глубины толпы вышла какая-то женщина с бледным расстроенным лицом. Все ее окружили.

– Девчонку шестнадцатилетнюю убил, козел! – сказала женщина. Она вся дрожала от волнения. – В себя не могу прийти! Прямо на моих глазах! Вот так, миг – и нет человека… За один миг!..

Помню, в Союзе был какой-то международный кинофестиваль. Помню развешенные по всей Москве афиши и плакаты: «За гуманизм киноискусства! За мир и дружбу между народами!»

Какими нарочитыми и шаблонными казались мне тогда эти лозунги! Как теперь по-другому я все это вижу. Я готова взять плакаты и выйти на демонстрацию сама: «За гуманизм киноискусства!!!..»

За гу-ма-низм!!!!!!!

Как же может кто-то не понимать?.. Да не кто-то, а огромная мощная страна, как она может не понимать того, что каждый, даже самый маленький человек, выросший в Союзе, понимает: великая сила искусства должна работать на то, чтобы облагораживать человека, будить в его душе Бога, а разбудив, вскормить его и развить настолько, чтобы он победил живущего в той же душе дьявола. Мне казалось это естественным, само-собой разумеющимся. Да так это и было в моей стране. Здесь не моя страна. Здесь страна варваров: у них свои законы и свои нравы. У меня шерсть становится дыбом и спина, как у дикой кошки, выгибается от того, какие фильмы промывают головы людям этой страны и оттого, кого, должно быть, эти фильмы воспитывают. Однако, кто я, чтобы соваться в их уклад жизни со своим уставом?

* * *

Что важнее – генетический код или социальная среда, в которой растет и воспитывается человек?

Этот вопрос обсуждали сегодня на уроке психологии. Психологи считают, что генетический код важнее. Провели исследования: несколько сотен однояйцевых близнецов разлучили, оставили их с детства жить в абсолютно разных семьях, в разных городах, в разных социальных условиях, в разных культурах. Через двадцать лет, проверили, что получилось. Выяснилось, что дети алкоголиков были склонны к алкоголизму, несмотря на то что выросли в семьях, где алкоголем и не пахло; дети интеллектуалов выросли интеллектуалами, несмотря на то что росли в семьях, где не умели даже читать, и т. д. Более того, выросшие в абсолютно разной социальной среде однояйцевые близнецы проявляли потрясающую схожесть характеров, наклонностей и судеб. Они выбирали одни и те же профессии, у них были абсолютно одинаковые хобби, одинаковое количество детей, они даже имена своим детям давали одни и те же, партнеры были выбраны так, как если бы и партнеры были однояйцевыми близнецами. Словом, по мнению моего учебника социальной психологии начального курса, социальная среда играет очень незначительную роль в формировании человека, хотя, безусловно, социальная среда тоже важна. По мнению психологов, за все в ответе генетика.

А я-то знаю, какую роль сыграла в моем формировании окружающая среда! Уж мне-то они могут не рассказывать! Приехав в Америку, я поняла воспитательную роль окружающей среды больше, чем когда-либо или кто-либо! Я могу сама написать об этом целый учебник.

Что важнее для формирования человека – социальная среда или гены??? Спросите об этом эмигранта!

* * *

Урок английского языка в колледже. Учительница, сидя на столе, болтая ногами, пьет кофе, кусает огромный кусок бутерброда и с набитым ртом, говорит:

– Кто-нибудь жнает, кто такая шештра Керри?

Весь класс сидит, как в рот воды набрал. Я молчу из чистого любопытства, выжидаю.

– Это роман Теодора Драйзера, – продолжает учительница,

проглотив, с освободившимся ртом. – Кто-нибудь знает, кто такой Драйзер?

Все сидят, как зайцы, увидевшие волка. Молчат.

– Теодор Драйзер – это выдающийся американский писатель двадцатого столетия. «Сестра Керри» – одно из самых известных его произведений…

Варварская страна! Куда я попала! Куда я попала! У нас, каждый школьник еще в начальных классах вам ответит, кто такой Драйзер. Причем, заметим, ведь это американский (не русский!) писатель. Если они даже своих лучших писателей не знают, то, что они знают? А ведь это не где-нибудь на базаре происходит, а в колледже, в высшем учебном заведении! Как же после этого жить здесь? Зачем приспосабливаться к дегенератам?

Казалось бы, такие мелочи: учителя едят во время урока, говорят с набитым ртом, некоторые постоянно показывают классу свои «прелести» под юбкой… Какое, казалось бы, мне до всего этого дело? А настроение становится загробным на месяцы от таких мелочей. Почему? Я чувствую, что попала в какую-то помойку, вместо того чтобы попасть в прогрессивную, цивилизованную Америку. Я чувствую, что есть реальная опасность сгнить здесь, никогда более не получив возможности вырваться назад в цивилизованный мир.

Это ощущение – так портит мне настроение?

* * *

В призрачном тумане я вижу нашу кухню…

Бабушка, склонившись над столом, что-то нарезает. Не эта бабушка, синтетическая и холодная, что здесь с нами, а та, живая и теплая, с одуряющим запахом в седых волосах, в складках ситцевого халата, пропитанного теплом ее тела…

Что-то жарится на сковородке… Болгарский перец? Запах свежего болгарского перца???.. Запах чего-то жареного?.. Запах пропитанного бабушкиным теплом ситцевого халата?.. Ощущение, осязание седой головы?.. Осязание ситцевого халата и теплого летнего дня?.. Запах бабушки?.. Или жареного лука? Каких-то овощей? Запах нальчикского солнца?

…Деревянные ставни… Физическое ощущение деревянных ставень… Запах облупившейся зеленой краски, перемешанный с запахом дерева… Не могу уловить, не могу уловить…

Проснулась, переполненная отчаяньем. Плакала, сотрясаясь всем телом. Насквозь пронизана только что пережитым ощущением. Вся. Сейчас все улетучится. Останется блеклая пыль

нью-йоркской постели.

Только после таких сновидений я начинаю понемногу прозревать, начинаю понимать, что я потеряла, уехав из родной страны. Это не просто язык и неспособность функционировать в стране, где все говорят по-английски. Это не разница в культурах и ценностях, которым эти две страны поклоняются. Это гораздо страшнее: это – нельзя выучить или освоить.

Даже выучи я английский трижды, я не способна функционировать в этой стране, и точка. Я не способна здесь быть живой! Жизнь не способна здесь быть живой! Не знаю, как это объяснить…

* * *

Что во мне умерло здесь, что там было живое??? Как этот орган в моем теле или в моей душе называется?

Я сама для себя назвала это «органом Родины», чтоб хоть как-то назвать… О нем нигде не написано, ни в каких словарях, никто о нем никогда не упоминает. А я отчетливо ощущаю на себе, как стала инвалидом с отъездом!

Люди, вы знаете, еще оказывается есть орган Родины?! Почему об этом нигде не написано?

* * *

Чувствую себя зверем в клетке в полном смысле слова. Я физически чувствую железо своей клетки, в бешенстве сотрясаю ее, обливаясь слезами и захлебываясь злостью. Готова разгрызть ее зубами. Все во мне кипит, булькая, от желания вырваться… Но разве самые сильные эмоции могут уничтожить железо?

Я живу – не живу, – а крепко сплю во льду. Меня усыпили, приложив к носу солидную дозу наркоза. Сосуд, в который меня уложили, наглухо герметически закупорили и опустили в лед.

Между тем, тень моя, двойник мой, фальшивое подобие меня подсунуто вместо меня в мою жизнь. Все, что эта тень сделает, все, что эта тень «проживет», – не репетиция, а уже премьера, неповторимая, единственная премьера моей жизни.

* * *

Когда я очнулась и все предметы и люди вокруг проявились,

я увидела свое тело уже нормальным, без лопающегося живота. Потом рядом с моим телом принесли и положили что-то крошечное, розовое, двигающееся, судя по поведению всех окружающих, принадлежавшее мне. Моему телу было теперь свободнее: мне стало легче двигаться, я могла глубоко вздохнуть и начать жить, избавившись от груза внутри меня, обязывавшего ко многому. Но не тут-то было!

Избавившись от груза внутри себя, мое освобожденное, принявшее прежний вид тело, вдруг оказалось с маленьким, беспомощным живым существом на руках, никому ранее не принадлежавшим. Его нельзя было с извинением всучить обратно тому, кто мне его дал подержать. Его нельзя было тихонько положить в укромный угол и уйти: оно было живое. Живое беспомощное существо было мое. Я должна была отвечать на его крик, я должна была его кормить, высиживать с ним дни и годы, пока это существо не научится жить самостоятельно, чтобы со спокойной совестью его можно было оставить наконец и вернуться к своей жизни.

Бутылочки, ванночки, распашонки, пеленочки, наведывающиеся бабушки, бессонные ночи, дни, полные бессмысленных хлопот или простого лежания рядом с розовым, ничего не подозревающим грузиком, иногда беспомощно попискивающим, но большей частью мирно спящим.

Занятия в колледже были временно прекращены по двум причинам. Во-первых, родился ребенок, а во-вторых, я и без ребенка не знала, зачем мне этот колледж нужен.

* * *

Вот оно – твое высшее назначение в жизни! – сказал мне папа.

– Что ты, папа! Родить младенца может практически любая женщина. Для этого не надо быть выдающейся или суперодаренной. Любая кошечка или собачка – все могут родить младенца. Высшее назначение человека не в этом…

– А в чем же?

– В том, что человек оставит после себя. Не ребенка, что-то более значимое. Я вам еще покажу, чем я отличаюсь от миллионов других людей.

Папа снисходительно смеется:

– У моей дочурки звездная болезнь.

* * *

Какое-то заведение, похожее на деткую поликлинику… Мне странно видеть свое тело как будто со стороны, стоящее в каком-то зале, среди каких-то людей, заботливо оберегающее какую-то коляску. Коляска эта, по-видимому, стала неразрывной частью жизни тела. Присмотрелась, в ней ребеночек. Ах, уже ребеночек?! Давненько я тебя не навещала, как бы удивился прилетевший навестить свое тело дух. Как ребеночек? Откуда ребеночек?

Со мной происходят важнейшие вещи в то время, как я сплю беспробудным сном, без сновидений.

Меня, спящую, под наркозом, ничего не чувствующую, обвенчали. Под наркозом сделали беременной. Под наркозом родила, и вот на минутку оторвали наркоз от носа, дали очнуться, увидеть все, что произошло со мной… Не успела я ужаснуться, снова плотно приложили наркоз к носу… и вот я опять уже засыпаю, за-сы-па-ю-ю-ю-ю!!!

Нет! Нет! Я не могу заснуть более… я всю жизнь так просплю… надо, чтобы кто-нибудь меня расколдовал… Нельзя засыпать! Нельзя засыпать!

Сколько человек, к носу которого приложили наркоз и который, отчаянно боясь заснуть, повторяет себе, отгоняя сон: «Нельзя засыпать! Нельзя засыпать!», – сколько такой человек сможет не заснуть? Как ни протестовало все во мне, я против своей воли заснула снова, как это часто бывает, даже не запомнив момента, когда именно я заснула.

Но даже сквозь глубокий сон, осталась злоба, остался протест, осталось чувство жизненной необходимости бороться с этим. Я понимала, что никто не сможет спасти меня, кроме меня самой. Ведь спала я, словно заколдованная, под сеткой-невидимкой. Никто бы даже не смог обнаружить меня. Через тяжелые сети густого сна я помнила: я должна вырваться. Я должна что-то сделать!

* * *

В кинотеатры я уже не хожу: их фильмы вызывают во мне омерзение. После просмотра американского фильма мне хочется умереть. Убийства, убийства, убийства в самых разнообразных формах и видах. Погоня, скрежет тормозов. Пуф-паф. Трафаретные лица и фигуры актеров. У них даже нет, как у нас, такого понятия – «искусство кино». У них это называется «энтертейнмент бизнес». Развлечение – «энтертейнмент». Второе слово – «бизнес». Развлекательный бизнес? Так что ли?

Но этот фильм считался шедевром американского кино.

Он начинался с вида ночного поля, освещенного луной. Играла таинственная музыка. Любое более-менее хорошее искусство раскрывает душу для чувств, как горячий пар раскрывает поры на коже. С первых же минут фильма я почувствовала приглушенную внутри, как бы силившуюся прорваться острую боль. То ли это была пронзительная жалость к кому-то, то ли угрызения совести, то ли еще что-то непонятное.

Отчего-то мне вдруг вспомнился маленький Сашенька, которого мы только что с легким сердцем отвезли к маме Лени. Я вдруг увидела этого ребенка, в отличие от постоянного своего состояния незамечания его. Я увидела отвергнутого, беззащитного человечка, воспринимаемого мною, гадкой матерью, как грузик, которого я как ненужную вещь постоянно бросаю то у одних, то у других родителей, а главнее всего – которому я не даю и сотой доли того тепла и ласки, в которых малютка нуждается.

Ощущение это на мгновение коснулось меня болезненно остро, а затем стало неуловимым. Словно свет молнии, осветил мое ветреное, полное эгоизма существо, занятое лишь мыслями о себе, которое не в состоянии отказаться от своей жизни, ради другого маленького человека.

Я все еще чувствовала боль, но теперь, казалось, она была от другого. Ощущение полной незащищенности, беспомощности перед мощным колесом жизни, казалось, было причиной чудовищной боли. Или это было чувство жалости ко всем, находящимся в таком же положении, моим двуногим братьям… или… что это было? Что переполняло меня такой нестерпимой болью?

На экране – удивительно задумчивый мальчик не спит ночами, а все ходит по залитому лунным светом полю.

Нарастающие тона музыки предвещают что-то таинственное и трагическое… Все мои родные на мгновение предстали передо мной, такие беззащитные, такие трогательно-покорные перед ударами жизни; все, что жизнь преподнесет, они примут. А что делать… Боль во мне нарастала с каждой минутой, с каждым кадром, с каждым звуком беспокойно бушующей музыки…

А события фильма развивались. Мальчик, ходивший по таинственному полю, вдруг напал на следы существа с другой планеты. Как только я увидела этого, похожего на человечка инопланетянина, – боль перевалила за посильные для человека границы. Это было что-то совершенно странное, непонятное, что со мной происходило. Ничего такого особенного в этой кукле не было: невысокий рост, длинная шея, большая голова, сморщенная кожа и огромные добрые глаза на расплюснутом лице.

Кого мне напоминала эта кукла? Квазимодо или доброе чудище из «Аленького цветочка»? Он был похож на старичка, этот инопланетянин. Или на ребенка??? И эти печальные добрые глаза… отчего они причиняли мне такую невыносимую, до истерики доходящую боль???

Фильм рассказывал о дружбе мальчика и инопланетянина, а между тем, всякий раз, как на экране появлялась старческая фигурка и излучавшие доброту большие глаза, сердце мое болезненно сжималось.

Дальше судьба разлучает двух друзей. И-Ти[11] попадает в какие-то губительные для инопланетянина условия. Покуда мальчик успевает узнать об этом и примчаться к другу на помощь, тот уже лежит бездыханный, не может ни говорить, ни пить, ни есть и, по-видимому, умирает.

На Земле уже все знают о прибытии существа с Марса. Друзья и родные мальчика, тоже сильно привязавшиеся к И-Ти, бьют тревогу на весь мир. Мечется и сам мальчик: рассылает письма во все медицинские учреждения мира, звонит в Вашингтон, звонит в Париж… Ученые всего мира собираются, исследуют умирающего инопланетянина. Как вылечить существо с другой планеты? Что за организм у него?

Что за клетки? Какой состав вместо крови? Казалось, весь мир поднялся спасать существо с добрыми глазами, но никто ничего не мог сделать. Пока все только изучали его организм.

Сколько времени пройдет, прежде чем смогут понять болезнь, найти лечение? А он уже лежит безжизненно прикрыв глаза, земные кислородные подушки ему не помогают! Неужели он больше никогда не откроет их? Боль во мне заливает весь кинотеатр, холодный пот выступает у меня на судорожно напряженных ладонях. Я чувствую, что не могу дышать. Грозные тона музыки не обещают ничего, только нарастание трагедии, только неминуемое наступление смертельной болезни, перед которой все и всё бессильны, в какие колокола ни бей.

И вдруг я вспомнила, кого напоминали мне эти глаза. Поняла, отчего так нестерпимо ныло в душе при виде куклы, напоминавшей старичка. Этот старичок, который лежит, закрыв глаза, обессилевший от болезни, а смерть наступает на него, и любые старания всех докторов мира тщетны – этот старичок – мой дедушка!

В первый раз я вдруг поняла, какая неминуемая беда надвигалась на меня. Все мое существо оторопело забилось, протестуя, не принимая, не принимая!

В предсмертной схватке бушевала и разрывалась музыка.

Было ясно, что даже если инопланетянина вылечат, все равно спасения уже не будет. Я поняла, что кино здесь не имело никакого значения, что надвигающееся на меня – не кино, и остановить это невозможно. Мне хотелось орать во все горло, бить руками, ногами, корчась в конвульсиях, как эпилептик во время приступа. Мне хотелось разбить все стены, снести все кресла в кинотеатре, мне хотелось истерически орать, орать, орать… Я впервые увидела надвигающуюся смерть дедушки. Конечно, я не принимала ее.

В молчаливом с мертвенно-белыми стенами туалете я дала выплеснуться всем переполнявшим меня эмоциям. Вскоре фильм кончился, и туалетные кабинки затарахтели. Уже придя более-менее в себя, я вышла из своей кабинки и подошла к раковине, чтобы умыться. Новые рыдания снова набегали, я не могла остановить их.

Леня и его друг Иосиф ждали меня у выхода с встревоженными лицами. Увидав их, я вдруг снова заревела, как плачет человек, впервые после пережитого несчастья увидевший близкого человека.

– Ты просто слишком впечатлительна, – сказал мне Иосиф в машине, когда мы ехали домой.

– Да, кстати! Ведь его вылечили! – сказал Леня, улыбаясь. – Глупенькая моя, это же только кино.

– И он уехал на свою планету… – добавил Иосиф.

Они заговорили о другом. Я сидела, прижавшись к обнявшему меня Лене, который говорил что-то прямо над самым моим ухом и смеялся порой так, что моя голова, лежавшая на его груди, тряслась, и думала: «Или они меня считают ненормальной, или они сами ненормальные. Как могли они подумать, что я так плачу – из-за куклы с Марса!»

Наконец мы приехали домой. Я прошла в спальню, вернулась назад в кухню: спасения нигде не было. Я села на стул, и рыдания, которые я с таким трудом всю дорогу сдерживала, как будто высохли во мне, как только я дошла до дома.

Из зала послышался звук включенного телевизора. Звуки выстрелов, скрежет тормозов. Вбежал Леня на секунду.

– Мамочка, тебе лучше? Там такой фильм начинается… Шедевр!

Я мутными глазами посмотрела на него. Мне хотелось, чтобы он выключил телевизор, посидел со мной.

– Ну хочешь, пойдем, в зале со мной посидишь. Тебе будет легче.

– Ах, уйди! Отстань от меня! – грубо сказала я, в глубине души все-таки надеясь, что именно благодаря моей грубости, он

поймет мое состояние и выключит телевизор. Но Леня, покорно опустив голову, подчинился и ушел, как я сказала.

«Ушел! – подумала я. – Это конец».

Оставаться одной еще два часа казалось дозой невозможной. Я сняла трубку. Хоть услышать, что он пока жив. Все внутри меня дрожало, как будто я боялась уже сегодня услышать ужасную весть. Мне нужно было хотя бы убедиться, что еще не сегодня и даже не завтра…

– Алло, бабушка?

– Что такой, детка, пачиму так поздно?

– Ой, ба, я совсем забыла, который теперь час…

– Ничего, ничего.

– Как дела?

– Все патихонку.

– А как деда?

– Как «как»? По-старому. Сегодня вроде поел. Боль слегка стих, хоть он на человека стал похож…

Я закрыла глаза. «Жив!» – отозвалось во всех моих жилах.

– Что он теперь делает? – спросила я, желая услышать как можно больше деталей, подтверждающих, что он жив.

В трубке молчали, она, видимо, смотрела.

– Спит, – шепотом сказала бабушка. – Измучаль, бедний. Даже ты пазваниль, не проснулсь. Он обычно чутко спит. Слава бох, эти таблетки хорошо помогаит.

– А ты, бабуся, что делаешь?

– Я спаль уже. Черти тибя носят в такую позднь звонить! Ты уверена, что ничего не случился?

– Нет, нет.

– Может, с Леней поругался? – недоверчиво спросила она.

– Нет, баба, все в порядке, иди спать.

– Ну, ладно. Вы тоже ложитесь! Отдыхайть. Окна, двери закрыты? Ну тогда пока!

Разговор с бабушкой слегка успокоил меня. Однако не прошло и двух минут, как я почувствовала, что со мной происходит нечто… нечто не то.

Более руководствуясь инстинктом, чем разумом, я выкопала какую-то старую русскую газету. Я помнила, был такой раздел «Медицинская помощь». Мне казалось, я не успею позвонить – лопну и разлечусь в прах, как при взрывах.

Психотерапевт. Неотложная помощь.

Я набрала номер.

Не я, а инстинкт за меня сказал:

– Здравствуйте. Я прочла в газете объявление. Вы оказываете неотложную помощь?

– Вы хотите прийти утром? – спросила женщина.

«Если я доживу до утра, то зачем вы мне нужны», – подумала я, а вслух сказала:

– А неотложная помощь только утром?

– Утром тариф срочного приема. Это будет сто двадцать долларов. А ночью – триста долларов. Я надеюсь, вы потерпите до утра?

– А сколько же стоит обычный прием? – спросила я, вспомнив, что здесь в Америке медицина платная.

– Восемьдесят долларов, – вежливо ответил женский голос. – Запись за две недели.

– Восемьдесят? – мне казалось, что я сплю и вижу кошмарный сон.

Я повесила трубку и поняла, что пропала. Покорно, как на плаху, положила голову на стол. Все, что могла, я сделала. Что я могла еще сделать?

Из зала доносились безудержные звуки выстрелов, бодрая музыка, оглушительный свист тормозов и восторженные возгласы Лени: «Ух его! Ага! Вот его! М-м-м-м!!!»

Глава восьмая
1982 г., март – апрель

– Год рождения?

– Тысяча девятьсот шестьдесят пятый.

– Место рождения?

– Советский Союз.

– Это понятно. Город какой?

– Город Нальчик. Кабардино-Балкарская автономная республика.

– Сколько лет проживаете в США?

– Скоро будет два года.

– Обращались ли за помощью к психиатрам или психотерапевтам раньше?

– Да, в Союзе.

– Сколько раз?

– Один раз.

– Вы принимали какие-либо препараты?

– Нет.

– Были ли вы когда-либо госпитализированы в связи с психическими или эмоциональными проблемами?

– Нет.

– Страдает ли кто-либо в вашей семье психическими заболеваниями?

– Нет.

– Какая проблема привела вас сейчас?

– Мне… трудно это объяснить…

– Ну объясните, как можете.

– Приступы боли… неожиданно… ни с того ни с сего. Это происходит со мной вдруг. В кинотеатре, например. Или вышла на улицу. Такая боль… Я даже не могу вам передать, что я чувствую… (Слезы.)

– Приступы боли… – повторяет доктор за мной, словно взвешивает каждое слово.

– Да.

– Без всякой видимой причины?…

– Да.

– Расскажите, как это было в последний раз.

– Это было вчера. Я вышла из дома, я была с ребенком, светило яркое солнышко, в воздухе совсем весна, птички щебечут… и вдруг скрутило меня так – хоть вешайся! Боль ведь бывает разная. Эта боль совершенно парализует, ее невозможно

выдержать…

– Вы обратились к врачу, потому что вам плохо. Вы чувствуете, что не можете бороться с этим сами. Правильно я вас понимаю?

Вместо ответа – обильные слезы.

– Давайте вернемся ко вчерашнему дню. Было ли вчера что-нибудь, что могло послужить поводом для боли?

– В том-то и дело, что никакого повода!

– Вот так, ни с того ни с сего, вы выходите на улицу, и приступ боли настигает вас.

– Если бы была причина, то я бы знала, почему я так чувствую и не обращалась бы к врачу. А так… никакого другого объяснения не вижу, кроме того, что я тю-тю!

– Давайте сконцентрируемся с вами на вчерашнем случае. Подумайте хорошенько, может, все-таки повод был?

Пауза (думаю).

– Знаете, то, что мой дедушка смертельно болен или что я несчастлива с мужем, эти поводы со мной каждый день.

– Ваш дедушка смертельно болен? Вы несчастливы с мужем? Это разве не поводы?

– Мне плохо, но я научилась с этим жить и уже давно, да и вообще не плачу из-за этого. Если это поводы, то я должна плакать постоянно. Почему именно вчера? Именно в этот конкретный миг?

– Давайте вместе с вами проживем еще раз этот момент. Вот вы выходите из дома… Вспоминайте… Каждую деталь, каждый оттенок изменения вашего настроения, расскажите мне.

– Я открываю дверь подъезда, у меня в квартире все время сумерки, а тут на меня набросилось необъятное солнце, яркий свет! Я помню именно это ощущение контраста, осознания что ли, что за порогом дома так хорошо, светло, ярко, жизнь играет… (Слезы снова перебивают речь.)

– Вам от этого воспоминания опять больно?

Я закрываю лицо руками и несколько минут пытаюсь подавить набегающие слезы.

– Постарайтесь объяснить, что в этом моменте так больно вас задевает?

– Я не знаю. Был бы это серый день, дождь… хандру, вызванную этим, еще как-то можно понять, хотя и это ненормально – так плакать, оттого что дождь… а уж тем более от солнца и счастья вокруг…

– Вы не знаете. Ну хоть какие-то догадки у вас есть? Хоть какие-нибудь?

– Наверно, я больна.

– Хотите, я как доктор с большим опытом, скажу вам свое мнение?

Я внимательно смотрю на доктора.

– Вы не больны. Вы вполне здоровый психически, нормальный человек. Здесь другое.

– Что же?

– А вот мы сейчас с вами вместе и выясним, что же. Расскажите мне ваши ощущения. Вот вы вышли на улицу, яркий свет ослепил вас, и тут же боль набросилась следом. Похоже, что яркий свет и весенняя природа и были инициаторами вашей боли.

– Да, похоже… но ведь это ненормально.

– А с чем ассоциировался для вас этот яркий свет солнца, вы можете рассказать?

– О, ну ассоциаций много!

– Расскажите любую. Любую, которая придет вам на ум.

– Любую? Ну… яркий свет ассоциируется с радостью жизни, с энергией, бодростью, счастьем.

– Та-ак… хорошо…

– Солнце само по себе – это такой мощный прожектор счастья. Потом… этот весенний запах… он так и прожег меня… Все на улице жило, двигалось, сияло, бурлило, в то время как я, будто в тюрьме, была заперта в своей темнице. Жизнь текла мимо меня, рядом со мной. Когда я открыла дверь подъезда, я как бы это осознала.

– Отлично! Вы «как бы» осознали. Осознание произошло на уровне подсознания. Да? Через ассоциации, не прямо. Ваше сознание не успело зарегистрировать объяснения боли, поэтому боль кажется вам беспричинной.

– Вы не понимаете! Боль, оттого что жизнь проходит мимо, совершенно несравнима с той гигантской болью, о которой я говорю.

– Хорошо, хорошо. Вы сказали ассоциаций много… А какие еще ассоциации? Вы открыли дверь подъезда, яркий свет хлынул на вас…

– Потом эта коляска, без которой я теперь никуда. Я и так тону по жизни, а мне вместо спасательного круга еще тяжеленную коляску с младенцем как камень на шею повесили, чтобы уж наверняка утонула. (Слезы снова перебили мою речь.)

– При упоминании о коляске, ваша боль снова усилилась?

– Не знаю. Может, это просто случайно, именно в этот момент я заплакала.

– Но ведь заплакали вы именно, когда стали говорить о «тяжеленной коляске с младенцем, которую как камень на шею

повесили, чтобы уж наверняка утонула».

– Не знаю, может, я случайно заплакала, когда говорила об этом, я теперь всегда так плачу – в самые неожиданные моменты, без причин.

– А если допустить, что не случайно, что бы вы могли сказать?

– Мне обидно… конечно, мне особенно это больно, что я о маленьком ребенке, о своем ребенке (!) – слезы снова стали душить меня, – так говорю.

– Видите, вот вы снова плачете при воспоминании о ребенке.

– Мне ужасно жаль этого несчастного бебичку. Я чувствую себя бесконечно виноватой. Но вместе с ним мне не выплыть! Мне и одной, может быть, не выплыть, а с ним уж точно! А бросить я его не могу! Я же ответственна за него, это же мой ребенок!

– Посмотрите, как вы волнуетесь, говоря о ребенке. Вы и сейчас считаете, что случайно заплакали, когда заговорили о коляске?

– Не знаю.

– Вы сказали: «Вместе с ним мне не выплыть». Что вы имели в виду? Откуда «не выплыть»? Вы чувствуете, что где-то тонете?

– Я потеряна, я эту страну ненавижу, я хочу вернуться на родину. Мне и так тяжело всех своих близких бросать, да еще ребенок. А остаться здесь значит умереть. Увезти ребенка в Союз – это такая ответственность. Я не представляю… как я там буду жить и сама, а еще и его взять!..

– Вы опять плачете.

Несколько минут я ничего не могу говорить от слез.

– Посмотрите, сколько у вас поводов! Вы сидите в «своей темнице», как в тюрьме, в то время как жизнь, где веселое солнце, движение и счастье проходит мимо. Вас мучает чувство вины перед ребенком, которого вам жаль и которому вы не можете ничего дать. Ребенок сковывает вас по рукам и ногам в то время, как вы сами не знаете, как жить. Бросить вы его не можете. У вас возникает конфликт: с одной стороны, ребеночка жалко, чувство вины… с другой – он вас «топит», как вы говорите. Внутренний конфликт – это всегда боль. Это естественно. Далее! Страна, в которую вы приехали, вам не нравится, вы не знаете, как в ней функционировать. Вы хотите вернуться, но не можете бросить близких. Опять конфликт. Вас рвет на части – между любимой страной и любимой семьей. Вам больно! Далее! Отношения с мужем не сложились. Дедушка ваш умирает… Посмотрите, сколько на вас навалилось конфликтов и несчастий одновременно! Слон бы и тот сломался.

– Но ведь я не думала обо всем этом одновременно в тот

момент! Я просто вышла на улицу. Я ни о чем этом не думала.

– Ваше сознание не думало. А ассоциации? Посмотрите их сколько! И все они для вас одна другой болезненнее. Ассоциации срабатывают на уровне подсознания, молниеносно. Сознание не успевает зарегистрировать их. Боль, которая была результатом вереницы ассоциаций, кажется беспричинной, но это только кажется. Вы сами только что рассказали мне, как ассоциации, вызванные ярким светом солнца, провели вас по всем вашим наболевшим местам, и боль была вполне обоснованная! Помните, когда мы с вами обнаружили первую болезненную ассоциацию – жизнь проходит мимо, – вы сказали, что эта боль не идет ни в какое сравнение с той болью, которая была вчера.

– Да.

– Теперь прибавьте сюда все остальные «боли», которые мы сейчас с вами вытащили из вашего подсознания. Все вместе они составляют очень тяжелый, запутанный клубок. Итак, мы с вами поняли, что вас переполняют конфликты, несчастья, безысходные ситуации. Теперь наша задача найти выход из каждой проблемы. Будем решать одну за другой. Вас перестанут мучить приступы боли.

* * *

Его звали Моисей. В Америке не принято называть людей по имени и отчеству, а только по имени. Даже этот маленький штрих характеризует Америку: у них нет понятий «старший», «младший», «почитаемый по чину или положению», они всем говорят «ты» и всех зовут просто по имени. Он был тоже эмигрант из Союза, из Львова. Возможно, из-за того же английского языка или по каким-то другим причинам он не мог получить «лайсенс» на медпрактику, поэтому работал на дому и брал за визит вместо восьмидесяти долларов в час двадцать долларов за два, а иногда и три часа.

Он принимал меня в полностью затемненной комнате (такой профессиональный прием, по его объяснению, располагал пациента к полной откровенности), и хотя Моисей ни разу и пальцем ко мне не прикоснулся, я все время слегка недоверяла ему. Во-первых, не поликлиника, а квартира одинокого мужика, во-вторых, плотно зашторенные окна, запертые двери…

Однако я остро нуждалась в помощи, а за двадцать долларов принимал только Моисей. Я была еще слишком зеленой, слишком, несмотря на самоуверенность, глупой, чтобы сразу оценить этого мудрого человека. Я часто думаю, может, Моисей –

это его вымышленное имя, под библейского Моисея. Или имя соответствовало сути прямо с рождения?

Моисей – это мой университет, моя научно-исследовательская лаборатория, мой доктор, мой тренер, мой первый учитель уровня вуза. К сожалению, оценить я смогла все то, что дал мне этот человек, только по истечении многих-многих лет. А вначале я даже не могла усвоить, что он, так тщательно разжевывая, осторожно клал мне в рот.

* * *

Ну-у, как вы себя чувствуете? – спрашивал Моисей.

– Как? Все так же, – отвечала я. – А с чего бы мне могло стать лучше?

– Вам помогают наши встречи?

– Помогли бы, если бы мы наконец перестали болтать и занялись лечением.

Мудрый Моисей не возражал. Он не сказал мне, что никакого «лечения», как я ожидала, в виде таблеток или уколов никогда и вовсе не будет. Он не сказал, что все лечение и состоит в этой самой «болтовне». Скажи он мне это, я перестала бы ходить и никогда, никогда не обрела бы тот сильный стержень, которым я обязана только ему.

На всю жизнь осталось со мной удивительное, так помогающее мне в жизни умение анализировать себя. Мне страшно даже представить, насколько бедной, слепой, несовершенной была бы моя жизнь, если бы этот мудрый старик (он мне казался тогда стариком) не научил меня важнейшим азам психологии и психотерапии. Это было для меня на уровне чуда. Спасибо вам, мой любимый, мой дорогой учитель Моисей. Моя жизнь была бы настолько бедней, не случись мне встретить вас.

Школы конца двадцатого века обучают детей многому. Детей учат читать, писать, решать задачи, составлять химические формулы, танцевать, рисовать, водить автомобиль, наконец. Но самому важному, что необходимо в жизни каждому человеку, нас не учат: разбираться в самих себе. А Моисей меня этому научил.

* * *

Интуиция – это то, чем Бог щедро наградил меня. И хоть не хватало еще по тем временам ума, но была интуиция, чтобы наброситься на Моисея с таким же энтузиазмом, с каким рыба,

оказавшаяся на берегу, стремится в воду. Наслышанная о том, что в Америке даже дипломированные врачи, неважно откуда они приехали, все шарлатаны, я не доверяла врачу без «лайсенса», который только и думал о том, как бы на мне побольше заработать (так я воспринимала всех врачей в Америке).

Не доверять врачам я научилась не без причины. Как-то пришла на прием к дантисту: у меня разболелся передний зуб. Раз болит, значит, придется пломбировать канал, решила я. Смотрю, на меня надевают спецжилет, щипцы на стол кладут. Я спрашиваю, уж не собираются ли мне удалять зуб?

– Да, – отвечает доктор.

– Как?! Даже не предупредив меня, не спросив моего согласия? – возмутилась я.

Доктор принес свои извинения, он думал, что я не понимаю по-английски. Хорошо еще, что я такая зануда, всегда смотрю, что там со мной делать собираются. А будь я чуть менее внимательна, получила бы сюрприз: помимо ужаса самой процедуры удаления зуба, еще и беззубую улыбку в шестнадцать лет.

– Почему вы хотите удалять зуб, а не пломбировать канал? – спрашиваю доктора.

– Ух, ты… какая образованная – смеется доктор. – Медикейд не оплачивает рут-канал. Только удаление зуба, потому что удаление стоит пятьдесят долларов, а канал запломбировать триста пятьдесят.

– Ничего себе. И это причина, чтобы удалить мне передний зуб?

– А что делать? Ты же не можешь платить сама?

От возмущения у меня все слова из памяти повыпадали.

– А если я заплачу, зуб запломбируют?

– Да. Триста пятьдесят долларов.

– А если не заплачу, значит, удалят?

Доктор пожал плечами, дескать, что делать.

Когда я работала в «Century 21», моя зарплата была, включая сверхурочные, 210 долларов в неделю. Запломбировать канал – 350 долларов. А главное, даже не спрашивают. Таких историй много.

Я не доверяла Моисею, как и любому врачу в Америке. Однако я не могла не восхититься тем, как он четко подметил, что я заплакала именно при упоминании коляски. Другой бы не обратил внимания на это совпадение, счел бы его случайным. А оно, оказывается, не случайно! Или еще, когда я заговорила о ярком свете, – я даже не придала значения тому, что именно на этих словах слезы стали душить меня. А он заметил сразу и мне подчеркнул. Вы, говорит, именно заплакали на этих словах,

значит, именно в этом ярком свете разгадка. Почему яркий свет причиняет вам боль?

Меня также восхитила эта штука – с ассоциациями. Вот, как хитро мы, оказывается, устроены. Я стала внимательней. Зайду в комнату: хоп – у меня настроение определенное. Я тут же: что в этой комнате? Я уже знаю – ничего не бывает случайного!

Начинаю анализировать. Перечислю, что первым приходит мне на ум при мысли об этой комнате. Затем, какие это вызывает ассоциации. Так, ассоциация за ассоциацией – обязательно выйдешь на какой-нибудь удивительный ответ. Сейчас все это уже стало частью меня настолько, что я и не замечаю. Ведь мы не замечаем, как мы ходим. Зато, как восхищает младенца то, что он делает первые шаги!

* * *

Кудесник колдует в затемненной лаборатории. Нерассеивающийся свет крошечной лампы. Я хожу на встречи с Моисеем с большим интересом. Другие в это время в Москве, посещают лекции в университетах, по-настоящему учатся. Я получаю знания из доступного здесь, в тюрьме, «университета».

Он был высокого роста, худощавый, крепкий. Что-то благородное во всем его облике. Густые прямые волосы, седые вперемежку с черными, зачесаны назад. Толстые очки с поблескивающими стеклами, поверх которых он любил смотреть на меня. Пытливые, умные, пронизывающие глаза, немного похожие на глаза японца или киргиза.

Как сейчас вижу я Моисея, сидящего напротив меня в своем кресле, заложив одну долговязую ногу за другую. Свет яркой ночной лампы освещает его так, что, увидев Моисея где-нибудь на улице, при естественном свете, возможно, я не сразу узнала бы его.

Сколько раз он сидел передо мной и мир казался мне не таким безысходным, тупики все показывали, что в конце тоннеля обязательно есть какой-то выход. Он все знал и все умел, этот Моисей. Все было очень просто: садишься в 68-й автобус, доезжаешь до остановки 18-я Авеню по Кони-Айленд, потом мимо бензоколонки «Амоко» пешком до Оушен-парквей. Он жил между 18-й Авеню и Дитмас. Сколько раз приходила я к нему? Сто? Двести? Или более? И что было бы со мной, если бы не сыскался среди русских эмигрантов третьей волны один такой человек, как Моисей? Что было бы со мной?!

* * *

– Что означает «занимается любовью, как взрослые, семейные люди»?

(Смех.) – Ну это обязательно в двуспальной постели…

– Та-а-к.

– Прямо перед сном, как по графику: утром – завтрак, вечером – ужин, перед сном, лениво улегшись в постельку, – секс.

– Та-а-к (усмехнувшись).

– Ну и больше такой, тяжелый секс…

– Это как?

– Ну сам половой акт, как у животных.

– Ну-у-у…. Почему же так о половом акте?

– Не знаю. Подростки больше ценят поцелуи. Ласки там… (смотрю в пол, чувствую, что краснею).

– Значит, подростки ценят больше поцелуи…

– Да. Подростков рвать тянет, когда их запихивают в кровать, да еще двухспальную, как у родителей… И хоть бы в кровати была любовь, нет. Грубый, тяжелый секс.

– А любовь – это поцелуи?

– Нежность. Да.

– А где же подростки занимаются любовью?

– Где угодно. Только не в постели. Главное, чтобы спонтанно. В лесу можно… в парке, среди деревьев, в подъезде…

– Вы бы хотели, чтобы ваш муж целовался с вами в подъезде собственного дома?

– Я бы хотела, чтобы вы и все, и он сам, перестали говорить это старческое слово.

– Вам не нравится слово «муж»?

– Нет.

– А какое слово вы бы хотели использовать взамен?

– Парень.

Пауза. Моисей молчит, кивает головой. Думает.

– Хорошо… Хорошо… – говорит он. У него такие мягкие, интеллигентные манеры. – Ваш парень, возможно, не очень опытен, плохо образован в любви. В Союзе нас всех так воспитывали – невеждами в любви. Мы ничего не знали. Об этом не принято было говорить. Не было литературы. Откуда ему знать, как устроена женщина! Приведите его ко мне. Я объясню ему, как надо обращаться с женщиной.

– И он будет целовать меня по вашей инструкции?

– А что в этом плохого?

– Лучше умереть.

– Тогда у вас остается другой выход – разойтись.

– Разведенная женщина… с ребенком, к тому же… Лучше умереть дважды.

– Вот видите, опять конфликт. Это очень больно, когда конфликт. Представьте себе: за левую руку вас тянет влево то, что вам с мужем, простите, с вашим парнем, плохо, а за правую руку вас тянет вправо то, что моральные устои не позволяют вам увидеть себя разведенной женщиной с ребенком. Вас рвет на части конфликт. Нужно уступить или правому или левому тянущему, иначе они вас разорвут.

– Я не знаю, что мне делать. (Глубокий вздох.)

– Вы можете принять Леню таким, какой он есть? Принять и быть счастливой с ним.

– Это вопрос или насмешка?

– Я правильно понимаю, что остается два выхода вместо трех? Или мы должны воспитать Леню, сделать его таким, каким вы хотите его видеть, или вы должны разойтись с ним.

– Воспитать Леню… Разве вы можете сделать его тем, кем он не является? А если ему не хочется поцелуев и романтики? Вы можете заставить его играть для меня, но его искренние желания от этого не изменятся.

– Жить с ним и быть несчастной – только приведет вас к неврозу. Вы должны выбрать из двух зол меньшее.

– Я не могу выбрать ни первое, ни второе. (Снова тяжелый вздох.)

– Вот – конфликт. Один из многих ваших конфликтов. Именно от этих конфликтов, зарытых в вашем подсознании, и идет ваша боль. Мы замечательно продвигаемся! Видите, мы вытащили один из ваших конфликтов из подсознания в зону, где уже ваше сознание все проанализировало. Вы осознали проблему. А осознать проблему значит наполовину разрешить ее. Далее, мы будем искать выход. Он рано или поздно найдется. Главное, вы теперь поняли, кто ваш враг: не беспричинная боль, как вы думали, когда пришли ко мне, а целый пучок серьезных, я бы сказал, трещащих конфликтов. Мы будем их решать. Мы будем работать над каждым конфликтом по отдельности. Мы будем работать над этим до тех пор, пока вы наконец не созреете для того, чтобы сделать выбор. В одну или в другую сторону. Конфликт должен быть разрешен. Тогда вы перестанете болеть.

* * *

– Человек входит в комнату и вдруг, без всякой видимой причины, им овладевает страх. Ему кажется, что кто-то прячется в

комнате. В ужасе он выбегает оттуда. В психиатрии это называется фобией.

Какова же причина?

Человек не видит никаких причин, отчего бы ему могло стать страшно. Его сознание не регистрирует ни одного объяснения. Тогда мы начинаем анализировать. Какие ассоциации? Может, воспоминания… В одном таком случае, после долгого анализа, пациенту удалось вспомнить вот что.

На подоконнике лежал ошейник, который забыла соседка. Подсознание ошейник зарегистрировало, а сознание не придало ошейнику, забытому соседкой, никакого значения. Ассоциация, связанная с ошейником: когда-то давно, в детстве, под диваном нашли дохлую собаку, она спряталась там перед смертью. Это впечатление вызвало у пациента, тогда еще ребенка, холодный ужас, страх. Сознание это впечатление забыло, а подсознание живо вспомнило его при виде ошейника собаки на окне (с тех пор ни собак, ни ошейников в доме у пациента не было). Отсюда страх, который, на первый взгляд, не имел объяснения…»

Из бесед с Моисеем

* * *

Значит, ни одна эмоция, ни одно настроение, ничего, что происходит в нашей внутренней жизни, не случайны?!

(Восторг, удивление.)

– Вы сами такой вывод сделали.

– Я? Ведь вы меня на такой вывод навели!

– Я ничего не утверждал. Я рассказывал вам случаи из моей практики. Выводы сделали вы сами!

– Но я правильный сделала вывод? (Я готова схватить Моисея и трясти его от нетерпения.)

– Вы умная девушка. Думайте сами.

– Нет, вы скажите! Я хочу знать ваше мнение! (Я подпрыгиваю на диване, не решаясь прикоснуться к Моисею.)

– Давайте я вам еще интересный случай расскажу…

* * *

Какой блестящий пример подал мне Моисей своим гениальным искусством общения. На себе испытав его чудодейственные приемы, я усвоила от него золотые правила:

Никогда не возражай человеку, не осуждай, не критикуй его, не противоречь. Иначе его потеряешь.

Осторожно, посредством вопросов и ответов, подводи его к самостоятельным выводам так, чтобы он этого не заметил. Он должен сам думать, сомневаться, правильно ли он все понял, трудиться над выводом, а не получать его готовым.

Убедить (переубедить) человека очень хорошо помогают рассказы о ком-то, примеры из чьей-нибудь жизни, нейтральные истории.

* * *

Вы выглядите очень потрясенной. Что-нибудь случилось? (Вместо ответа слезы.)

Моисей ждет некоторое время.

– Что же произошло? Что потрясло вас так сильно?

Я собираюсь с силами, утираю лицо и начинаю говорить.

– Вчера вечером… (слезы снова перебивают мою речь) мы… ездили к океану…

– Та-ак… Хорошо-о… Что же случилось у океана?

– А в том-то и дело, что ничего не «случилось». Я увидела океан… и…

– …И что? – спрашивает Моисей.

– Одурела!..

– Увидела океан и одурела… – задумчиво, как бы взвешивая каждое слово, повторяет Моисей.

– Я не могу вам передать, что со мной произошло…

– А вы попытайтесь! Как сможете. Пусть плохо. Рассказывайте, как можете.

– Когда я увидела океан… эту гигантскую мощь, эту тайну, эту красоту – я никогда раньше не видела океана, только море, это так сильно подействовало на меня… Это было такое сильное впечатление, просто невозможно выдержать! Я пришла домой больная. Я поняла, что стены душат меня, жизнь моя душит меня, все это я больше не смогу ни одного часа терпеть… Океан просто сделал меня сумасшедшей.

– Давайте по порядку. Спокойно и по порядку. Вот вы приехали к океану. Что было первое, что вы помните?

– Первое… Мы вышли из машины, и на меня набросился этот полный дурмана, озона и свежести воздух, воздух взморья, воздух мечты. Он вмиг прожег меня до самых костей. Я сразу почувствовала безудержную боль, отчаянье, еле-еле держала себя в руках.

– Вы почувствовали безудержную боль… почувствовали отчаянье… Попытайтесь объяснить – отчаянье из-за чего?

– Впервые за все время в Америке я почувствовала… природу, запахи, красоту… до этого я жила, словно во сне, а тут все чувства словно прорвало, и это было так интенсивно, так больно… Я не могу объяснить!

– С вами кто-то был?

– Да, был Леня и его друг Иосиф со своей девушкой. Мы приехали прогуляться. Было около семи часов вечера, над океаном начинало смеркаться, огни загорались где-то вдали, еще было не совсем темно, а в этом предвечернем мерцании воды – еще больше поэзии. Эти вековые камни, эти гигантские просторы, какие-то корабли, баржи вдали… а главное, этот воздух!

– Все это прожгло вас нестерпимой болью…

– Знаете, на этот раз даже больше… Я просто, в полном смысле этого слова, озверела!

– Что это значит «озверела»?

– Ну все! Настал предел! Не могу больше терпеть!

– Терпеть что?

(Пауза.) – Хороший вопрос… Неполноценности своей жизни что ли… Я все время живу в каком-то подавленном состоянии, знаете, как в стихах:

Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный в неволе, орел молодой.

Я не живу, а существую. Океан взмутил во мне мощную жажду полноценной жизни. Причем безудержную жажду, когда это необходимо позарез, срочно, крайне!!!

– Жажду жизни… А сейчас вы не живете… Только существуете.

– Такое у меня ощущение.

– Было что-либо со стороны ваших попутчиков, что могло способствовать вашей реакции? Может, кто-то что-то сказал или сделал?

– Наоборот. Они вели себя так, будто ничего такого в океане нет. Они даже не заметили этой до одури потрясающей красоты, наготы природы… Вы знаете, я сейчас поняла… впервые, с тех пор как я в эмиграции, я почувствовала природу. Наркоз отошел, и боль страшная проявилась. Эта природа была такой трепещуще живой, в ней было столько поэзии, что даже мертвый проснулся бы.

– А ваши попутчики ничего не заметили.

– Да. Они говорили, шутили, красота океана их не трогала. Я

почувствовала так остро, что все они чужие мне люди.

– Какие были у вас ассоциации?

– О, ассоциаций было много! Вмиг почему-то вспомнила Жюля Верна, нет, не то что бы вспомнила, а так, очень отчетливо пронеслось в подсознании… и захотелось вслух прочесть стихи Гейне:

Обнявшися дружно, сидели,
С тобою мы в легком челне,
Плыли мы к неведомой цели
По морю при тусклой луне.
И так нас к себе несдержимо
Звало и манило вдали,
А мы безутешны, мы мимо
По темному морю плыли.

– Вы хотели бы уплыть с кем-то в легком челне в открытый океан? Или это грезы?

– Я понимаю, что это грезы… но мне этого позарез не хватает. Ну хоть сесть в лодку и уплыть подальше, там целоваться, вбирать в себя эту вековую красоту… с тем, кто это все так же чувствует, как я, с таким тонким, чувствительным, как Генрих Гейне.

Моисей смеется.

– Там была еще парочка, они сидели на камнях и целовались. Волны бились у их ног, луна взошла над водой, а они самозабвенно пили друг друга… У меня онемели ноги от этой картины. Я была подавлена. Я чувствовала, что моя жизнь проиграна. Я замужем. У меня ребенок. Никогда уже в моей жизни не будет поцелуев на камнях у океана, не будет легких челнов и открытого моря… Никогда… этого всего не произошло со мной, и уже теперь не произойдет. Главное, ради чего стоит жить, – никогда со мной не случится. А я не могу с этим смириться!!! Я все на свете готова отдать за один сумасшедший поцелуй у воды!

– Вы пробовали поцеловаться с Леней?

– Нет, не с Леней… Поцелуи с Леней – это не то.

– А с кем?

– С тем, кто меня понимал бы, кто все чувствовал бы так же, как я. Леня – это не то.

– Может быть, вы еще встретите, этого «того»?

– Как это возможно? А ребенок? А муж? Куда все это теперь деть?

– Но смириться с тем, что все для вас кончено, вы не

можете…

– Не могу!!! Не могу!!!

– Что же делать? Опять у нас конфликт. Конфликт – это то, что вас разрывает на части, это очень больно. Мы должны работать над этим. Главное, мы сегодня поняли, что есть еще один конфликт. Да? «За один сумасшедший поцелуй у воды готова все на свете отдать!» Да? Но тут же возникает конфликт: «А муж? А ребенок? Куда все это деть?» Да? Нет на свете неразрешимых конфликтов, поверьте! На каждый замок есть своя отмычка. Главное, отмычку эту найти. Вот мы с вами и будем искать.

* * *

– Вечер у океана словно пробудил меня от спячки. Я проснулась и поняла, как позарез мне хочется Любви. Я, как затравленный зверь, попавший в капкан. Любви я ждала всю жизнь. И вдруг, представьте, обнаружила себя в семейном быту, погрязшей в каком-то мещанстве, а того главного, той Любви, о которой я так мечтала, и не было.

– У океана вы это осознали…

– Да.

– Вы мечтали о Любви… Вы произносите слово «любовь», как я вижу, вкладывая в него особый, свой смысл. Расскажите об этом подробней. О какой Любви мечтали вы? И почему ваши отношения с Леней не соответствуют тем мечтам?

– Ну это было всегда, сколько я себя помню. Еще детьми мы сидели с девчонками у кого-нибудь во дворе и разговаривали по душам. Мне было лет семь-восемь, другим девчонкам столько же или на год-два побольше. Те, кто постарше, рассказывали о своих любовных приключениях. Они все сочиняли, я знаю, но рассказы их сильно волновали меня. После, оставаясь одна, я слушала шорохи листвы, смотрела на сияющую в небе луну и мечтала, когда же и со мной произойдет нечто похожее.

– Вы помните это?

– Да. Помню, как мы проходили в школе «Дубровского», «Ромео и Джульетту», «Евгения Онегина»… Каждое из этих произведений сделало свое дело. Кино… Помню, весь город говорил о фильме, который привезли из-за рубежа. Даже помню, как он назывался – «Майерлинг». Фильм рассказывал о страстной бескомпромиссной любви. Герои решили уйти из жизни вместе, потому что родные были против их отношений. Такая душещипательная история. Но в детстве это сильно потрясает.

Добавляло еще и то, как весь зал на это реагировал. Все плакали, говорили об этом фильме. Это было целое событие в жизни Нальчика. Вообще о Любви были почти все фильмы, все книги, все разговоры девчонок. Даже сказки… Помните фильм: «Василиса Прекрасная»?

– Помню, помню… – усмехается Моисей. – Герой фильма проходил испытание за испытанием. Он должен был убить кащея, разыскать дерево, в дупле которого лежит яйцо, а в яйце – игла… Словом Любовь была не на шутку. Она требовала борьбы за нее, причем не на жизнь а на смерть.

– Именно. А «Руслан и Людмила»… Вспомните, через что прошел Руслан, чтобы отвоевать свою Людмилу. Сколько соблазнов его ждало на пути, сколько женщин, а он все отметал и твердо следовал за своей Любовью.

– Словом, все эти истории «промыли вам мозги», что называется. Заложили образец, к которому вы теперь подсознательно стремитесь. Простая любовь для вас теперь пресна. Вам нужны сценарии из произведений искусства…

– Не знаю, но как-то так получилось, я для себя усвоила: со мной должно когда-нибудь случиться такое сильное потрясение, о каком говорилось во всех фильмах и книгах.

– А ничего похожего не произошло…

– И самое страшное – не произойдет!

– А вам бы очень хотелось…

– Это необходимо мне как воздух!!! Какой смысл в жизни, если этого никогда не будет?

– Насколько я понял, вы говорили, что смысл жизни для вас состоит в том, чтобы оставить после себя нечто великое и бессмертное. Теперь я слышу другое? Так в чем же все-таки смысл вашей жизни: пережить сильную Любовь или создать великие произведения?

(Задумалась…) – Знаете… я теперь понимаю, что и то и другое одинаково важно. Мне нужно и то и другое. Я не могу выбрать.

* * *

– Я хотел бы сегодня поговорить о вашем детстве. Вы уже однажды обращались к психиатру. Это было еще до того, как вас увезли из страны, в которой вы считаете, вы могли бы быть счастливы. Что же было причиной тогда?

– Вы хотите сказать… Я понимаю. Это, наверное, действительно так. Нормальных людей увозят или не увозят из

страны, это на них не действует так, как на меня. А если у человека проблема, то даже в родной стране он страдает.

– Я хочу повторить вам: я считаю вас абсолютно нормальным человеком. Никаких психических заболеваний у вас нет. Вы просто гиперчувствительный человек. Вы острее, чем другие, воспринимаете жизненные конфликты. Давайте вспомним, что привело вас к психиатру в Союзе?

– Это долгая история.

– Пожалуйста. У нас есть время.

– У вас, возможно, есть время. Не обижайтесь, но у меня времени нет. Каждый день, каждый час моей жизни уходит впустую, я не могу этого допустить. Я не могу тратить время на лирику. Что было в Союзе, – теперь безвозвратное прошлое. Что сейчас об этом говорить? Сейчас меня интересуют другие вещи, мучают другие проблемы. Давайте решать проблемы сегодняшнего дня, а не столетней давности.

– Вы как личность сформировались в Союзе. Правильно я вас понял?

– Да.

– Как вы думаете, могу я работать над продолжением вашего сознания, не затрагивая его начала? Сознание – это ведь нечто целостное. Мы не можем работать только с его хвостиком, мы должны работать с ним в целом.

– Я не смогу рассказать вам за полчаса или за час или за два то, что составило несколько лет моей жизни, причем самых важных лет.

– Почему вы считаете, что это были самые важные годы вашей жизни?

– Это были годы, когда я сформировалась как личность. В двенадцать лет я была еще ребенком. В пятнадцать – я была уже взрослым, вполне сформировавшимся человеком. Да-да, пусть вам не кажется, что это рано. В четырнадцать-пятнадцать лет человек уже полностью сформирован. За два-три года произошло невероятное превращение.

– Ну это же очень интересно! Как же оно произошло?

– Это целый процесс, в двух словах мне не рассказать.

– Расскажите подробно. Это очень важно.

Глава девятая
Май – сентябрь 1982 г.

– Мою жизнь в Союзе можно разделить на две части: до превращения и после.

– Под превращением мы имеем в виду ваше формирование как личности?

– Да.

– Сколько вам было лет, когда превращение началось?

– Началось? Ну, наверно, около тринадцати… Да, около тринадцати с хвостиком.

– Простите, еще очень важный вопрос: когда у вас была первая менструация?

– Первая менструация? – Моисей застал меня врасплох. – А что, вы считаете, что эти две вещи как-то взаимосвязаны?

– Не знаю. Сейчас мы с вами вместе посмотрим. Так, когда была первая менструация?

– Первая менструация – в двенадцать с половиной лет. Я помню точно, потому что мама мне сказала: «Запомни доченька эту дату, в жизни тебе это может пригодиться».

– В двенадцать с половиной первая менструация. А в тринадцать с хвостиком – начало процесса формирования личности. Правильно?

– Действительно… Надо же… Я бы никогда не додумалась связать эти два события… Первая менструация и формирование личности. Вот это да! Но ведь менструация – это мое тело, – я смотрю на Моисея вопросительно. – А превращение происходило в моем мозгу, в моем сознании, в моей личности.

– Ваш мозг это тоже часть вашего тела. Вы могли бы вспомнить, с чего конкретно все началось? Как вы жили до превращения? И что случилось потом?

– Конкретно? Конкретно я влюбилась в Толстого. Не так, как любят писателей, а по-другому. Так, как любят шизофреники.

– Это как же?

– Ну ненормальная любовь к Толстому была.

– В чем же именно состояла ненормальность?

– Хорошо, я расскажу с самого начала….

* * *

– Вообще, все началось со свадьбы Илюши. Илюша – это мой

двоюродный брат, сын тети Вали, папиной родной сестры, с которым с самого детства мы очень близко дружили. Когда все готовились к свадьбе, Маша (старшая дочь тети Вали) говорила мне постоянно, что на свадьбе Илюши будут все его друзья и я могу выбрать себе жениха по вкусу. У нас так принято, девушки рано замуж выходят. Илюше, когда он женился, было всего восемнадцать лет. Всем его друзьям примерно столько же. А мне в то время было тринадцать с хвостиком. Разница в пять-шесть лет между парнем и девушкой вполне нормальное дело. Илюша женился на семнадцатилетней. У всех по-разному.

– Тебе нравится Заур? – спрашивала Маша с видом человека, знающего что говорит. – Или тебе нравится больше Дмитрий?

Я смущалась, краснела, не знала, что ей отвечать. Мне было стыдно сказать, что мне кто-то нравится, т. к. все считали меня ребенком, и мне было еще неприлично думать о парнях. Однако, оставаясь ночью одна, я с замиранием сердца думала о Машиных словах. Раз она меня постоянно спрашивает, кто мне нравится, значит, она знает о чем говорит. Маша была старше меня на целых восемь лет, и ее мнение было очень авторитетно для меня. Значит, мне уже можно думать о любви, возможно, даже я кому-то из этих ребят нравлюсь.

Неужели я кому-то нравлюсь? Неужели мне уже можно влюбляться?! Мама говорила, что раньше, чем закончу школу, чтоб не смела думать о парнях. А Маша прямо при маме говорит: «Выбирай, любого! Все они, говорит, твои!» Мама говорит: «Уж куда там!» А Маша ей возражает: «А что, моя сестричка всякому понравится, главное, понять, кто нравится ей».

К свадьбе готовились несколько месяцев. Специально шили платья на заказ. Честно признаться, мне нравились все Илюшины друзья. То есть в любого из них я готова была влюбиться. Все они мне были интересны. Только я не могла поверить, что могу понравиться хоть кому-то из них, такими недоступными они мне казались. Но Маша сказала: «Выбирай любого».

Я все же предпочла дождаться дня свадьбы и предоставить мужчине решать. Тот, кто будет со мной больше всех танцевать на свадебном вечере, тот, кто больше других будет ухаживать и показывать, что влюблен в меня, и станет моим избранником.

Приближающаяся свадьба была центральным событием в моей жизни. Я ждала Любви с самого детства. Не могла поверить, что сейчас, в день свадьбы Илюши, все начнется. Вот наступил долгожданный вечер. Было начало сентября. В Нальчике еще совсем тепло, в это время и самая горячая пора свадеб. Горские евреи на Кавказе играют шикарные свадьбы. Во дворе, под деревьями, разбивают большой шатер, развешивают разноцветные

лампочки, шары. Расставленные рядами столы ломятся от угощений. Приглашают местный ансамбль, и на весь город разносится музыка, многократно усиленная микрофонами.

Молодежь танцевала. Если бы это не была свадьба моего брата, то есть очень близкого родственника, то меня бы на свадьбу даже не пригласили, т. к. я пока относилась к категории детей, а не молодежи. Может, еще год-два – и меня бы уже начали приглашать. Пока же я имела уникальный шанс быть среди молодежи на свадьбе, как будто я уже была взрослой девушкой. Я ужасно волновалась. Не знала, как вести себя, если меня пригласят на танец, что говорить. Мне все казалось, что меня так никто и не пригласит ни на один танец. Я сама не знала, чего больше боялась: того, что меня не пригласят танцевать, или того, что пригласят.

Однако вечер был в полном разгаре, а меня никто не приглашал. Заур, о котором столько раз спрашивала меня Маша, сидел напротив меня и даже ни разу не взглянул в мою сторону. Дмитрий вообще сидел где-то далеко, и ни танцевать, ни разговаривать со мной, по всей видимости, не собирался. Я сидела, забытая всеми, даже близкими. Мама с папой сидели за другим столом, далеко от меня, Илюша был занят, как и должен быть занят жених на своей свадьбе, Маша где-то там суетилась, и паника потихоньку овладевала мной.

Неужели так никто и не пригласит меня танцевать? Неужели я так и просижу на своем месте весь вечер и никто меня даже не заметит?

Как видно, на лице у меня было видно то отчаянье, которое я испытывала, т. к., пробегая мимо меня, Маша, в длинном вечернем платье, сверкая бриллиантами и своей красотой, сначала прошла, было, мимо, а потом, спохватилась, вернулась и спрашивает:

– А ты чего не танцуешь?

Я пожала плечами и почувствовала, что сейчас умру от унижения. Все сидевшие рядом парни и девушки могли услышать ее вопрос. Она попала мне в самую рану.

– Я не хочу танцевать – сказала я глухо.

Тогда Маша сделала еще хуже. Она подошла к Дмитрию и что-то сказала ему. Он сидел далеко от меня. Музыка громко играла, я не могла расслышать, о чем они говорили, а через минуту Маша подвела Дмитрия ко мне и сказала: «Иди потанцуй с Димой».

Я не знала, что делать. Маша любила меня; она не могла унизить меня так, чтобы попросить его танцевать со мной. Не могла. Но, почему он сам, без нее не пригласил? Может быть, он

стеснялся? Может быть, ждал ее помощи? Может быть, он ее раньше просил познакомить нас поближе, а она сначала забыла, но потом вспомнила…

Я встала и пошла с Дмитрием туда, где все танцевали. Неужели сейчас все начнется? Если он ждал Машиной помощи, то сейчас все начнется. Дмитрий начнет ухаживать за мной. Пригласит еще на один танец, потом еще, еще. Потом он попросит мой номер телефона. Будет мне звонить. Мы будем говорить по телефону ночи напролет. Потом он пригласит меня в кино. А может, даже в парк. Потом попросит моей руки. Мы поженимся и проживем вместе всю жизнь.

Никогда не будем расставаться, не изменим друг другу ни разу… Однако танец закончился, а Дмитрий не сказал мне ни слова. Отвел меня на место, вежливо поблагодарил за танец, и все. За вечер он ни разу не подошел более ко мне. Я с ужасом догадалась, что Маша… Не может этого быть! Неужели она додумалась до того, чтобы просить его пойти со мной танцевать?! Я не переживу такого унижения!

После свадебного торжества я слегла в постель от пережитого унижения, которое Маша, желая сделать мне лучше, еще умножила на три. Ни один из молодых людей, бывших на свадьбе у Илюши, так и не пригласил меня танцевать. Ни один! Я никому не нужна. Наверно, я урод. Наверно, меня невозможно полюбить. Всех девушек, подруг невесты, приглашали, даже по нескольку раз, а меня – ни разу, никто… Мало этого, Маша унижалась, просила этого Дмитрия… Нет, после такого унижения вообще не стоит жить на свете.

Я смотрела на себя в зеркало, казалась себе симпатичной, но окружающие, по всей вероятности, этого не видели. Только тетя Валя говорила всегда, что ее племянница еще всем покажет. Пожалуй, она так искренне думала, только оттого что любила меня, а не потому, что я на самом деле чего-то стоила.

Проснувшись утром, в понедельник, я вдруг почувствовала абсолютную бесполезность всего, что происходило в моей жизни. Школа, хорошие оценки… зачем все это? Зачем?

Вопрос «зачем» я впервые задавала себе. До этого я жила и как-то мне не приходило в голову спросить себя: зачем? Ответа на этот вопрос я не знала. Придя на урок, я утвердилась в бессмысленности всего, что происходило в моей жизни. Я снова задала себе вопрос: зачем?

Зачем учить уроки? Зачем получать пятерки? Что это в конечном счете мне дает? Я как есть никому не нужна, так и буду никому не нужна. Отметки мне не помогут. Жизнь стала казаться мне бессмысленной. Я начала хандрить. Так, через депрессию,

через тоску, начался процесс моего «превращения».

* * *

Всего одно поражение так сильно сломило вас?

– Одно поражение?.. Нет, пожалуй, это было последнее поражение, которое окончательно утвердило меня в том, что я никому не нужна, что меня полюбить невозможно.

По телевизору тогда часто показывали сказку «Гадкий утенок», и я совсем по-другому уже смотрела этот мультфильм. Теперь это было выстраданное мной, наболевшее, сокровенное. Как сразу раскрылась глубина в простом мультике! Я чувствовала себя именно «гадким утенком», красоту которого невозможно было оценить уткам. Утками на птичьем дворе были все: Заур, Дмитрий, Вовка, другие ребята, игнорировавшие меня на школьных вечеринках. Я же была одиноким лебеденком, который почему-то оказался в обществе уток. Эти утки должны были еще впоследствии увидеть, кого они игнорировали.

– Были еще и другие поражения?

– Примерно за год до Илюшиной свадьбы – я была тогда в восьмом классе – я пережила разочарование в первой любви.

– Этот опыт тоже был у вас неудачным?

– Да. Но после него я оправилась относительно легко. А вот во второй раз я уже укрепилась в убеждении, что поражение не случайно: что я не способна возбудить в ком-либо какие-то чувства.

– Всего было только два поражения?

– Два серьезных, крупных. Были еще школьные вечеринки. Это редко бывало, я ждала от них… чего-то особенного. Но меня и там никто не приглашал танцевать. Я смотрела на других: редко, когда мальчики танцевали с девочками, но это было. В основном, успехом пользовались девчонки, которых моя мама называла «девицами легкого поведения». Они носили очень короткие юбки, уже красили губы и по вечерам ходили с парнями в кино. В моей семье, запрещали даже распускать волосы, не то что краситься. Обувь можно было носить только детскую, без каблуков, и вообще я должна была быть «порядочной» девочкой. Но дело не в этом. Я не жалею о том, что родители держали меня в узде. Большинство тех девочек, которых приглашали на школьных вечеринках танцевать, уже в шестом, седьмом, а кто в восьмом классе выбыли из школы, чтобы рожать. Не дай Бог мне такую участь! Просто, куда ни ткнись, не чувствовала я себя желанной.

– Расскажите пожалуйста подробней о вашей первой любви.

* * *

Это началось в пятом классе, в начале учебного года. Вовка Снегирев учился тогда в седьмом. Мы часто видели друг друга в школьном коридоре, то на одном этаже, то на другом, во время перемен, после уроков.

Мне бы и в голову не пришло влюбиться в него, если бы он сам не спровоцировал это. Всякий раз, Вовка смотрел на меня своими большими светло-карими мечтательно-грустными глазами так, что этого нельзя было не заметить. Невозможно было никак не отреагировать на такие долгие пожирающие взгляды. Длинные русые волосы спадали ему на лоб, придавая его облику еще более грустный, романтический вид. Возможно, Дубровский Пушкина выглядел именно так, или Печорин Лермонтова. Во всяком случае, мне эти герои виделись именно такими: русый, худощавый, что-то грустное в глазах, что-то романтическое в облике. Так выглядел и Вовка.

Примерно в это же время моя подруга Эмка каждый день рассказывала мне истории о том, как Эдик, который жил за рекой и был на три года старше нее, самозабвенно в нее влюбился, преследовал ее повсюду, даже ночевал у нее под окнами, домогаясь взаимности. Он сказал Эмке, что вскроет себе вены, если она не встретится с ним ночью, чтобы выслушать его объяснение в любви. Все эти истории страшно будоражили мою фантазию, хотя я и не совсем верила. Однако они сыграли свою роль, чтобы направить мои мозги на то, как интерпретировать и как воспринять длинные и жгучие Вовкины взгляды.

Немая эта любовь длилась несколько лет. Мимолетные встречи в школьных коридорах были самым значительным в моей жизни. Минутная встреча, один взгляд, на несколько секунд задержанный друг на друге, значили больше, чем пять уроков данного дня и вообще весь оставшийся день.

Эти долгие Вовкины взгляды наполняли мою жизнь самым значительным смыслом: они словно говорили мне: «Ты любима, ты желанна, он тебя выделил среди сотен других девчонок, значит, что-то в тебе есть… заслуживающее любви…» Этого одного было достаточно. Ничего другого не нужно было. Время от времени встретить этот полный обожания и немой любви взгляд и утвердиться: «ты любима».

Мы ни разу даже не говорили друг с другом. Единственным результатом этой любви было мое первое желание «взять в руки

перо» с тем, чтобы написать о нашей с Вовкой такой необыкновенной, такой полной поэзии любви. Прототипом моего романа был роман Пушкина «Дубровский» и множество фильмов о любви, которые мы с подругами ходили смотреть в местный кинотеатр «Октябрь» почти каждое воскресенье.

Когда же в восьмом классе мы перешли к изучению «Евгения Онегина» на уроках литературы, великая красота поэзии Пушкина полностью завершила процесс.

Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено…

Я полностью отождествляла себя с Татьяной. Описывая Татьяну Ларину, Пушкин словно писал ее с меня, как будто он хорошо знал меня. Все переживания Татьяны, все ее томленья и чувства, все страданья – все было несказанно близко мне. Как будто это все переживала не она, а я в какой-то таинственной далекой жизни, в которой когда-то давным-давно жила я.

Пережив на страницах гениального романа большую любовь, я почувствовала, что должна пережить такую любовь в реальной жизни. Одних взглядов было уже мало. Нужно было теперь что-то большее… Я даже не смогла ничего видоизменить в своей реальности, а все воспроизвела один в один. Я написала своему герою письмо, хотя это было рискованно и стыдно. Письмо – слово в слово письмо Татьяны к Онегину.

Роман «Евгений Онегин» так трогал и волновал меня, что мне все время хотелось перечитывать его, декламировать вслух отрывки, находить в окружающей жизни то, что описал Пушкин, и озвучивать это его чудными стихами, наконец, говорить с окружающими этими стихами…

Я отправила Вовке по почте письмо Татьяны к Онегину, предварительно сперев из журнала в учительской его адрес.

Подписать письмо я не решилась. К тому же, мне хотелось убедиться, догадается он, что это я или нет? Если он сразу поймет, что это я, значит, мне не кажется, он меня выделил. Если же я все себе придумала, он так и не поймет, кто ему написал.

Реакция Вовки на мое письмо была самой неожиданной. Я ожидала, отправляя письмо, последующие тайные встречи по ночам, украдкой от родителей и от всех, записки, назначающие тайные свидания, объяснения в любви при свете луны… словом, все, что было описано в романе «Дубровский». На худой конец, я понимала, могли быть нравоученья Онегина и разбитое сердце. То, что произошло на самом деле, было совершенно неожиданно.

Вовка стоял, окруженный мальчишками из нашего класса,

еще какими-то мальчишками, которых я не знала, держал в руке мое письмо и, размахивая им, при всех во всеуслышание говорил:

– Ты, шизачка, еще раз напишешь, в лоб получишь, слышала меня?

Мне показалось, что я сейчас же умру от стыда, но, пересилив себя, я шла, как будто его слова относились не ко мне. Тогда кто-то из толпы выскочил мне навстречу и, преградив дорогу, остановил меня.

– Не слышишь что ли, с тобой говорят?

Я невольно подняла глаза на стоявшего передо мной пацана и едва смогла проговорить:

– Пусти меня. Чего тебе надо?

Пацан указал на Вовку, все еще держащего на виду у всех мое письмо. Вовка повторил снова: «Если еще раз напишешь, шизачка…»

– Я ничего не писала, – задохнувшись, проговорила я.

– А это кто писал? – громко заявил Вовка, размахивая письмом.

Письмо было без подписи, но мой одноклассник Юханов Леня, сидевший тогда со мной за партой, стоял здесь же и твердо признал, что это действительно мой почерк.

Я почувствовала, что необходимо любой ценой закончить этот стыд немедленно.

– Ты! Если еще раз напишешь, в лоб получишь, поняла меня? – все не успокаивался Вовка.

– Поняла, – проговорила я, сгорая от стыда. Что мне еще оставалось сделать, чтобы они отпустили меня и перестали позорить?

Травма, оставшаяся после этого случая, не сразу дала о себе знать. Год спустя, когда к ней присоединилась вторая травма, оставшаяся после Илюшиной свадьбы, вместе они имели для меня тяжелые последствия. А образ русого длинноволосого юноши с грустными светло-карими глазами остался нереализованной мечтой.

* * *

Итак, после неудачной первой любви вы оправились. – Да. Больших перемен в жизни не было, хотя травма и осталась.

– Что же произошло после второй травмы, после Илюшиной свадьбы?

– Я как бы утвердилась окончательно в своей непривлекательности, отверженности. Чувство одиночества,

тоски, ощущение бесполезности всего начали заполнять мою жизнь все больше и больше. Часто на меня находила такая тоска, что я могла целый день лежать в постели и хандрить. Много плакала, без всякой видимой причины. Проснешься утром, такая тоска навалится, плачешь и не знаешь даже почему. А иной день – вроде ничего, одевалась, шла в школу… Я была тогда в девятом классе.

* * *

Апатия овладела мной. Я полностью потеряла интерес к учебе в школе. С пятерок скатилась на колы и двойки: демонстративно не хотела даже открывать учебники, много пропускала. Учителя были просто в ярости. Единственный урок, который был для меня отдушиной, это русская литература. Поэты и писатели, произведения которых мы проходили, все говорили о каких-то душевных смятениях, поисках, переживаниях. Это сильно трогало меня и интересовало. Помню, в тот год мы проходили Толстого. Лариса Александровна дала нам общий обзор творчества Толстого, прежде чем перейти к основным его произведениям: «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение». Нам было задано прочитать эти три книги. В библиотеке, кроме «Войны и мира», ничего не было. Остальные произведения были на руках. Была еще одна книга Толстого, но о ней никто не упоминал. «Хотите?» – равнодушно спросила библиотекарь насчет второй книги. Я замешкалась, но потом рассудила: раз других нет, то возьму хоть эту. На худой конец не стану читать и принесу обратно. – Неожиданно я умолкла, задумавшись, и в затемненной комнате с включенной ночной лампой воцарилась тишина, которую несколько минут никто не прерывал.

– Вы задумались, – сказал Моисей, после долгой паузы, внимательно глядя на меня поверх очков.

– Я задумалась о том, как же это странно, как интересно, что случайность перевернула всю мою жизнь. Не окажись книги «Детство. Отрочество. Юность» случайно в библиотеке в тот день, вся моя жизнь была бы, возможно, совсем другой. Или я могла бы ее не взять, ведь не задавали. Взяла так, даже не была уверена, что прочту. Могла ли я знать, что с этой книги начнусь настоящая я. Любопытно и то, что случайно (или все уже предназначено судьбой?) именно в том году мы проходили Толстого. Случайности все это? Или все шло по плану, уготовленному задолго до моего рождения?..

– Давайте пока не будем на это отвлекаться. Мы поговорим

об этом позже. Что было дальше?

– Роман «Война и мир» пугал своим объемом. Поэтому первая книга, которую я раскрыла, была неизвестная книга раннего Толстого. Это была трилогия: «Детство. Отрочество. Юность».

Чтобы не тратить время зря, а сразу определить для себя, стоит ли задерживаться на этой книге, я начала читать отрывки из середины.

На первом же отрывке я и запала. Прочла другой отрывок, еще больше запала. Словом, книга эта поглотила меня с головой. Повествование велось от имени мальчика, подростка, возможно моего ровесника. Это сближало меня с рассказчиком. Он как будто говорил со мной. Все, что он рассказывал о своей жизни, о себе, о переживаниях своего детства, отрочества, юности, – все это, оказывается, было страшно близко мне. Я почувствовала с Николенькой Иртеньевым ту духовную близость, которой мне так не хватало в реальной жизни.

Никто не мог бы меня понять лучше, чем Николай Иртеньев, а я понимала все, что он описывал, как никто другой. Я полюбила автора «Детства», «Отрочества» и «Юности», как очень близкого мне по духу человека. Конечно, я понимала, что автор на самом деле – Толстой. Я полюбила Толстого. Но не просто как писателя, а как человека, как родную душу. Если хотите, я влюбилась в него.

«Если бы он только был жив! – повторяла я себе по ночам, закрыв книгу, – какая бы была у нас Любовь! Как бы мы друг друга понимали!!!..»

* * *

– Вы принесли свою любимую книгу?

– Да.

– Вы прочтете мне тот первый отрывок, на котором вы «запали»? Вы помните, какой это был отрывок?

– Да.

Я открываю заветную книгу, как Библию и начинаю читать.

«После «кошки-мышки» кто-то затеял игру, которая называлась у нас, кажется, Lange Nase (длинный нос, франц). Сущность игры состояла в том, что ставили два ряда стульев, один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по переменкам выбирали одна другую.

Младшая княжна каждый раз выбирала меньшого Ивина, Катенька выбирала или Володю, или Иленьку, а Сонечка каждый

раз Сережу, и нисколько не стыдилась, к моему крайнему удивлению, когда Сережа прямо шел и садился против нее. Она смеялась своим милым звонким смехом и делала ему головкой знак, что он угадал. Меня же никто не выбирал. К крайнему оскорблению моего самолюбия, я понимал, что я лишний, остающийся, что про меня всякий раз должны были говорить: «Кто еще остается?» – «Да Николенька: ну вот ты его и возьми»…

Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Сонечке в особенности: начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих играх, что они приличны только девчонкам, и мне черезвычайно захотелось буянить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила»…

– Читать дальше?

«Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив, после всех несчастий, постигших меня, и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них?.. Я не плакал, но что-то тяжелое, как камень, лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моем расстроенном воображении»…

– Читать дальше?

– Действительно, он писал именно о том, что в то время вас сильно волновало, – усмехается Моисей.

– В реальной жизни я бы никогда не осмелилась открыто говорить с кем-либо о таких сокровенных вещах. Унизительно, неловко: говорить о своих поражениях. А тут… С такой простотой, так искренне, мальчишка рассказывал о своих несчастьях и переживаниях, и я понимала, что не я одна, есть еще он. Рассказав мне о своих несчастьях, так похожих на мои, он расположил меня к себе. Я чувствовала, он бы мог меня понять. Но рассказать свою историю ему я не могла. Ведь это персонаж, герой повести, а не реальный человек. Всю любовь, доверие, близость, которую я почувствовала к этому мальчику, подростку, юноше, я перенесла на Толстого. Ведь Толстой был реальный. Конечно, Толстого уже давно не было в живых, однако его любила не только я. Оказалось, так просто и откровенно исповедуясь, Толстой, как писали о нем критики, «стал новатором в литературе, который показал не только внешнюю, но внутреннюю жизнь человека», а то, что мне казалось постыдным и ужасным в моей жизни, что так же, как я, пережил и так хорошо описал Толстой, оказывается вовсе не унизительно и не ужасно, а близко многим, многим людям и называется в большой литературе

«диалектикой души».

Вот еще отрывки не менее важные, но уже из критики.

«Разумеется, повесть «Детство», как и трилогия в целом, основана на жизненном опыте самого Толстого: многое из того, о чем он рассказывает, взято прямо из его собственной жизни. В повести постоянно присутствуют сам писатель, его переживания, его мысли, его личность… Рассказ от первого лица придает стилю произведения черты ярко выраженного лиризма, глубокой субъективности….Жизнь героя «Детства» изображена как история формирования сложного человеческого характера, становления и вызревания яркой индивидуальности, неповторимо самобытной личности».

– То есть, не просто мои страдания близки и самому Толстому, а еще эти самые страдания – это история формирования «неповторимо самобытной личности»! Понимаете?

– Понимаю, – отвечает Моисей.

– Читаю дальше, уже другого критика:

«Толстовский герой необычен, даже исключителен – в том смысле, что его внутренние переживания отличаются большой силой напряжения, глубокой эмоциональностью. Николенька живет жизнью более интенсивной и более сложной, чем жизнь окружающих его детей. Перед нами – человек с несомненными задатками художника, натура потенциально творческая»…[12]

– Да-а… И в это же время по телевизору показывают «Гадкого утенка»…

– Да, а еще называют Андерсена выдающимся сказочником, бессмертным художником, а его произведения – великими.

– Вы хотите еще что-нибудь почитать?

– Я могу читать вам любой отрывок: все это сокровенно бесконечно – до боли мое.

– И все-таки прочтите только те, самые первые, отрывки, на которые вы «запали».

– Хорошо.

– Вы их помните?

– Помню. Это чересчур важные вещи, чтобы их не помнить.

– Замечательно. Читайте!

«Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице»…

* * *

– Взаимоотношения с матерью, – задумчиво, как бы взвешивая свои слова, говорит Моисей.

– Да. Все очень похоже: и воспоминания уютных вечеров с мамой, и образ матери как источник бесконечной неж ности, ласки и любви, и беспредельно огромное чувство к ней и даже в какой-то степени, я бы сказала, нездоровый страх потерять ее…

– Вы испытывали в детстве страх потерять маму?

– Постоянно. Я помню это как сейчас. Когда мама долго задерживалась на работе или еще где-либо, мною овладевала неугомонная тревога. Я слонялась из угла в угол, посматривая то на часы, то на дверь, не могла ничем заняться и только ждала: когда же наконец вернется мама. Мне было страшно, мне казалось, что она может в один прекрасный день уйти и не вернуться, могут позвонить и сказать, что мама… (пауза) попала под машину или что ей стало плохо с сердцем на работе и она умерла…

– Вы постоянно испытывали страх потерять мать…

– Не постоянно, только когда она надолго отлучалась из дома, или, например, когда я знала, что ей уже пора вернуться с работы, а ее все нет. При этом я бы ни за что на свете не призналась никому в своих чувствах – мне казалось это очень стыдно. А прочитав Толстого, я увидела, что не одна я испытываю подобное. Это тоже меня сильно с ним сближало.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях с матерью.

* * *

– Мама – это самый главный человек в моей жизни. С тех пор как помню себя, помню я ее мягкое пахучее нежное тело, которое было для меня, ну, чем-то вроде Солнца, дающего нам свет и жизнь. Она, ее родное лицо, полный любви взгляд, были чем-то вроде индикатора спокойствия и благополучия… Мама где-то рядом – на душе и во всем мире светло и спокойно. Мамы нет нигде вокруг – на душе и во всем мире сгущаются тревога и холод. Как и Толстой, я бы описывала отдельные детали – мягкие нежные руки, теплые объятия, запах ее коротко постриженных каштановых волос, запах ее шеи. Сколько помню себя, помню ее постоянное присутствие, ее полный бесконечной преданности взгляд и готовность на все ради меня. Мама всегда сидела у моей постели, когда я болела, она читала мне сказки, ставила мне банки, парила ножки в горчичном растворе, поила куриным бульоном. Мама посещала все родительские собрания.

Мама целовала и обнимала меня на сон грядущий (а также,

внепланово, по сто раз в день). Мама будила утром и помогала собраться в школу. Она ездила со мной по магазинам, покупала мне одежду, обувь. Она стирала и гладила мою школьную форму, нашивала наутюженные белоснежные воротнички. И, упаси боже, если мне случалось ушибить ногу, поцарапаться, повздорить с кем-то из детей на улице, мама мчалась мне на помощь быстрее стрелы. Мамочка – была, есть и будет – мой свет в оконце, мой уют, мой покой, мой стержень жизни и источник любви и тепла.

– Все еще есть.

– Конечно. Только теперь я люблю ее не как ребенок, а как взрослая девушка.

– Все еще больше всех на свете?

– Мама вне конкуренции.

– А папа?

– Папа… папу, конечно, я тоже люблю. Даже несмотря на то, что он нас всех увез, изуродовал мою жизнь… Даже если забыть об этом… Я очень мало в детстве видела папу. Мое первое воспоминание о нем: какой-то чужой дядя с огромным чемоданом пришел к нам в дом и почему-то пытался отнять меня у мамы. Я отбивалась руками и ногами, плакала, не хотела идти к нему ни в какую. Боялась его. Он мне казался страшным, чужим, непонятным. Это было тогда, когда папа вернулся из Москвы домой, после защиты диссертации, мне было три года. До этого я папу совершенно не помню. Постепенно я стала привыкать к чужому дяде, хотя долго еще не была согласна с высказываниями окружающих, что детям нужен отец. Что люди все говорят «отец, отец»? Нам и без отца было хорошо, нам хватит и одной мамы! – думала я. Позднее, он читал мне сказки Пушкина: «О царе Салтане», «О мертвой царевне и семи богатырях», «Сказку о рыбаке и рыбке». Как сейчас помню, он любил декламировать вслух:

Там лес и дол, видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой…

Весь день, как правило, папа был занят наукой: либо преподавал в университете, либо сидел у себя в кабинете наверху и все время что-то писал. Когда папа бывал дома, все домашние поминутно цыкали: «Ш-ш-ш-ш! Папа у себя работает!»

Иногда папа водил меня гулять. Почему-то мне вспоминаются по-сказочному уютные зимние вечера: искрящийся под уличными фонарями снег, белая пушистая, как ковер, дорога, пар изо рта, усыпанное звездами темное морозное небо, мягкая тишина и

волшебство заснеженного зимнего вечера. Как правило, это бывало часов в семь-восемь вечера, перед сном. Мы гуляли с ним пешком подолгу, и он рассказывал мне про галактики, про созвездия, про Малую Медведицу и Большую.

Чтобы я не упрямилась, а ходила с ним, он придумал для меня такую взятку. Мы шли до «Центрального» гастронома, который находился в нескольких километрах от нашего дома, в самом конце Ленинского проспекта (центральная улица Нальчика), и там он мне покупал ровно сто грамм конфет «белочка» или «мишка на севере». Продавщица в белом халатике и белом колпаке на голове отвешивала нам ровно семь конфет, и мы тут же съедали их с папой на пару, набирались новой энергии и чесали назад домой все это немыслимое для меня, ребенка, расстояние. Зато, когда мы доходили до дома, я падала, как говорили наши, «без задних ног» и спала крепко и сладко. Одновременно папа, целый день сидевший за письменным столом, получал необходимую ему разрядку перед сном, чтобы заснуть без снотворного.

Папа почти никогда не обнимал и не целовал меня. Он много разговаривал со мной. Позднее, когда я уже пошла в школу, помогал делать уроки по математике, читал мне стихи. Все это не шло ни в какое сравнение с одним, полным волшебного дурмана, мягким объятием мамы. Физическое тепло ее тела было необходимо мне для жизни как воздух: мне необходимо было уткнуться носом в ее плечо, в ее грудь, мне необходима была эта ее безграничная любовь, выражавшаяся в ненасытных поцелуях и объятиях. Поэтому папа, конечно, порядком проигрывал.

Ну а теперь эмиграция вообще убила наши отношения. Мы уже, наверное, никогда не примем друг друга. Я ему не смогу простить Америки, хоть и понимаю, что он хотел как лучше. Это выше моих сил, не злиться на него: в конце концов, он испортил мне всю жизнь. Папа же, со своей стороны, никогда не простит мне того, что я не принимаю его Америку и не благодарю его за этот безумный шаг.

Бабушка тоже такая, как папа: скупа на ласки и объятия, хотя, я знаю – она бесконечно предана нам. Она помогала маме вырастить и меня, и Таню. Когда я родилась, мама училась в университете, у нее были постоянные лекции, сессии. Потом она пошла работать. Все это время со мной была бабушка.

* * *

Бабушка, в отличие от папы, была немногословна: она не

только никогда не обнимала и не целовала меня, но и почти не разговаривала со мной. Все время, пока мы были с ней дома, она что-то натирала, намывала, стряпала, убирала. Практически никогда я не видела бабушку просто сидящей. Даже вечерами, когда вся семья собиралась у телевизора, бабушка усаживалась с грудой каких-то вещей, которые нужно было заштопать. Она надевала очки, раскладывала вокруг себя катушки с нитками, наперстки, иголки и смотрела телевизор вместе со всеми, работая.

По-русски бабушка говорила плохо, и мы, ее внуки, часто смеялись над ней, когда она неправильно выговаривала русские слова. Приходили в гости Илюша и Маша, бабушка всех угощала своими вкусными пирожками с мясом. У нас это блюдо называется «чуду». Мы дружно ели и говорили ей весело: «Бабушка, скажи «пышка»!

«Пишьке», – говорила бабушка, криво улыбаясь, она знала, что мы сейчас дружно взорвемся смехом.

Мы ликовали!

– Бабушка, бабушка! – говорили мы, покатываясь со смеху, – а скажи «мальчик»!

«Малчык», – говорила бабушка, и мы снова помирали со смеху.

Бабушка выходила из дома только в таких случаях: если кто-то в городе умер, если кто-то родился или женится, на рынок или в магазин за покупками и если дедушке нужно было помочь по делу.

Они поднимались с бабушкой до рассвета, около трех часов утра, чтобы ехать в район выбирать корову. Привозили корову в Нальчик, в специальное место, приглашали ребе, забивали корову так, как это положено по еврейскому обычаю, потом продавали парное кошерное мясо. В основном работу эту выполнял дедушка, а бабушка помогала. Дедушка приходил очень уставший и отсыпался днем. На его сапогах и одежде были следы крови, а в карманах толстые пачки денег. Они садились с бабой и начинали подсчитывать: выручка или убыток. А если выручка, то большая ли?

– Кутенок, почисть мою одежду, – просил дед меня обычно. – Набери в ведерко теплую воду и помой мои сапоги.

– Зачем вы заставляете ребенка делать такую работу? – вступалась за меня мама. – Давайте я почищу.

– Ребенка надо приучать к труду, – говорил дедушка.

– За что вы не любите вашу внучку? – обиженно говорила мама. – Сапоги с кровью! Где только вы в этих сапогах не ходили! Ребенок должен возиться с этим? А если она подхватит какую-

нибудь заразу?

Мне было вовсе не трудно почистить сапоги, тем более что за этим всегда следовал рубль в награду. Мамины слова меня немного конфузили, но я знала, что вряд ли дед поручит мне такую работу, от которой я подхвачу гадость.

* * *

Летними вечерами мама и бабушка, как и все соседские женщины, выходили посидеть у ворот, поболтать, пощелкать семечки. От нашей беседки во дворе, увитой виноградом, шел аромат муската и свежей зелени. На крылечке горела яркая лампа. Мы, дети, играли, то бегая по улицам, то, забегая во двор к нам или к кому-то из соседских детей. Дедушка с другими стариками играл во дворе в карты. Папа работал у себя наверху.

Когда все расходились по домам, дедушка с озорным выражением на лице (такое лицо у него всегда бывало, когда он выигрывал в карты), одним пальцем, желтым от копоти сигарет, подзывал меня к себе:

– Иди сюда, Кутенок!

Я подбегала, счастливая. Я знала, сейчас будут две радости – дедушкины пропитанные табаком объятия, колючий от небритых щек поцелуй в щеку и деньги. Действительно, перво-наперво дед обнимал и целовал меня, и это сразу включало для меня лампочки счастья, озаряющие всю вселенную, затем он протягивал мне серебристый рубль с портретом Ленина на обороте, и это удваивало мое и без того беспредельное счастье.

Дед дарил мне свою любовь, и дед дарил мне в виде серебристого рубля много-много удовольствий, которые можно было купить на этот рубль. Сеанс в кино – десять копеек, порция фруктового мороженого – девять копеек, стакан газировки с сиропом – три копейки, стаканчик семечек на базарчике за углом – пять копеек, стакан с шишками – двадцать копеек, петушок – пять копеек. Вот сколько было удовольствий!

Удовольствия эти не всегда давались просто так: иногда дед просил сделать массаж ног, если он пришел с работы усталый. Это совсем не омрачало моего счастья. Не было ничего проще и легче, чем сделать дедушке массаж его усталых ножек. Закончив дело и помыв руки с мылом, я хватала свой рубль, чмокала деда в шершавую пахучую щеку и убегала тратить деньги!

«Счастливая, счастливая невозвратимая пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней! Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником

лучших наслаждений»…

Эта цитата тоже из «Детства» моего Толстого. Видите, как органично она вписывается в описание моего детства?

* * *

– А вот отрывок из «Юности».

«В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил сидя на своем тюфяке, вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастии, которое мне всегда казалось высшим счастием в жизни, и тоскуя о том, что мне до сих пор дано было только воображать его. Бывало, только что все разойдутся и огни из гостиной перейдут в верхние комнаты, где слышны становятся женские голоса и стук отворяющихся и затворяющихся окон, я отправляюсь на галерею и расхаживаю по ней, жадно прислушиваясь ко всем звукам засыпающего дома…

При каждом звуке босых шагов, кашле, вздохе, толчке окошка, шорохе платья я вскакиваю с постели, воровски прислушиваюсь, приглядываюсь и без видимой причины прихожу в волнение. Но вот огни исчезают в верхних окнах, звуки шагов и говора заменяются храпением, караульщик по-ночному начинает стучать в доску, сад стал мрачнее и светлее, как скоро исчезли на нем полосы красного света из окон… И вот тогда-то я ложился на свою постель, лицом к саду, и, закрывшись, сколько возможно было от комаров и летучих мышей, смотрел в сад, слушал звуки ночи и мечтал о любви и счастии.

Тогда все получало для меня другой смысл: и вид старых берез, блестевших с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой – мрачно застилавших кусты и дорогу своими черными тенями, и спокойный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, и лунный блеск капель росы на цветах перед галереей, тоже кладущих поперек серой рабатки свои грациозные тени, и звук перепела за прудом, и голос человека с большой дороги, и тихий, чуть слышный скрип двух старых берез друг о друга, и жужжание комара над ухом под одеялом, и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террассы и как-то таинственно блестели на месяце своими зеленоватыми спинками, – все это получало для меня странный смысл – смысл слишком большой красоты и какого-то

недоконченного счастия. И вот являлась она, с длинной черной косой, высокой грудью, всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, с сладострастными объятиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты ее любви всей жизнью. Но луна все выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет все прозрачнее и прозрачнее, и, вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне, что и она, с обнаженными руками и пылкими объятиями, еще далеко, далеко не все счастие, что и любовь к ней далеко, далеко еще не все благо: и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище»…

Моисей смотрит на меня сквозь толстые стекла очков.

– Ожидание любви, – говорит он.

– Да. Так и хочется вернуться на полтора века назад, разыкать его, явиться к нему, как он об этом мечтал… Вот это была бы Любовь… Это вам не Леня. И не какие-нибудь мальчишки нашего столетия.

– А такого, как он, в реальной жизни нет, – задумчиво констатирует Моисей.

– Нет! – с отчаяньем говорю я. – В реальной жизни такого нет.

– Обратите внимание: она – с «длинной черной косой», «печальная» и «прекрасная». Очень похожа на вас.

– Действительно, – усмехаюсь я. – Здесь принято прекрасными называть блондинок. И непременно должна быть веселой. У нас – черная коса, печальные глаза – считались красивыми. Это идет еще от Толстого и Лермонтова. Помните Бэлу?

– Герой Толстого мечтал о девушке, которой могли бы быть вы.

– Не только черной косой я соответствовала его идеалу. У нас было одинаковое восприятие – во всем.

* * *

Книга «Детство. Отрочество. Юность» стала моей настольной книгой. После нее, уже полюбив Толстого, я взялась за другие его книги и объем их уже не пугал меня. Чем больше я читала, тем больше сходства я находила между собой и героями Толстого, а в сущности – с самим Толстым. Андрей Болконский мучительно искал смысл жизни, Наташа Ростова, так же как я, страшно

волновалась, выезжая на свой первый бал, Кити Щербацкая была раздавлена тем, что Вронский не приглашал ее танцевать, Левин чувствует себя одиноким и отвергнутым… Словом, читая Толстого вечер за вечером, книгу за книгой, погружаясь в мир, описанный им с такой художественной выразительностью, я через некоторое время стала полностью жить в этом его мире.

Мне иногда даже казалось, что у нас по улицам ездят брички и кареты, что живу я не на Кавказе, а в средней полосе России, воможно в Туле, в Ясной Поляне, и отсюда до столицы и Петербурга рукой подать, что все персонажи Толстого живут среди нас. Мой папа – Пьер Безухов, дядя Артур – Андрей Болконский, я сама – немного Наташа Ростова, немного Николенька Иртеньев, немного Левин, немного Кити, немного Анна… А вернее, я – это сам Лев Толстой, создавший этих героев, таких близких мне.

Что было дальше – вы знаете. Через Толстого я вышла на новый смысл жизни. Благодаря ему, школьной программе по литературе, Ларисе Александровне, многочисленным передачам по радио и ТВ, я поняла, что жить нужно для того, чтобы создать произведения такой силы и важности, какие создал он. Если я смогу своим творчеством так же сильно повлиять на жизнь хоть одного человека, как Толстой повлиял на мою, если в сердце хоть одного человека я смогу пробудить такую любовь, какую Толстой пробудил в моем, то, значит, я не зря жила.

* * *

Сегодня у родителей распахнула окно, которое выходит во двор-колодец, чтобы повесить постиранное детское белье. Погода замечательная, первые по-настоящему теплые дни. Мы уже ходим все в летнем. Солнышко светит даже в колодце! Замечаю некоторое «потепление» подоконника и обстановки вокруг. Как если бы этот подоконник вмиг унес меня в начало прошлого лета, нашего первого лета в эмиграции, заставил окунуться в ту атмосферу жизни, вспомнить тот год. Что это?

Этот отдаленный звон ощущения, что подоконник знакомый и родной, мгновенная ассоциация с прошлой поздней весной и началом лета. Вид подоконника мгновенно вернул мою память в прошлое лето, которое было как-то связано с этим подоконником. Год назад, при других обстоятельствах, я так же склонялась над этим причудливым американской формы подоконником. Все прошлое пронизано любовью, плотные узы держат меня, мое сердце и мое прошлое… Так, так… я, кажется, начинаю понимать.

Неужели это так?! Неужели же то тепло, то ощущение «живой» жизни, оставленное на родине, это всего лишь накопленные за жизнь ассоциации, связанные с местами, где ты прожил много лет?! Пассивная память или то, что мы просто называем привычкой?

Так вот откуда шло то ощущение целого мира в каждой травинке!

Моисей рассказывал, что если в одном и том же месте, на этом кресле например, человеку постоянно давать конфету, делать это регулярно раз десять, то на одиннадцатый раз уже только при виде этого кресла у человека возникнут приятные ассоциации, связанные с приемом конфеты. У собак Павлова один звук колокольчика вызывал выделение желудочного сока.

Человек рождается на земле: его первые шаги, его первые ощущения, переживания, словом, весь – месяц за месяцем, год за годом – накопленный опыт его прожитой жизни ассоциируется с обстановкой, в которой это все происходило. И затем неразрывно с этой обстановкой связан.

Как, оказывается, важна и сильна эта ассоциативная память!

Весь опыт моей прожитой жизни как бы воплотился в тех травах, в тех улицах, в элементарных предметах окружавшей меня жизни. Отсюда, вероятно, и идет ощущение, что «наш» асфальт теплый и родной, а американский – холодный и синтетический. Наш асфальт теплый, потому что хранит в себе тонну ассоциаций, связанных с моей прошлой жизнью, а этот холодный, потому что он просто-напросто асфальт, с ним у меня ничего не связано.

Миллионы предметов и деталей окружавшей меня среды, постоянно «накапливая опыт» моей прожитой жизни при помощи ассоциативной памяти, стали, как оказалось, неотъемлемой частью меня, еще одним жизненно важным органом, о котором нигде не написано, но при поражении которого человек хоть и не умирает, но получает серьезную травму, калечащую его восприятие жизни.

* * *

Когда человек перемещается в совершенно незнакомую ему обстановку, у него отрубает, как топором, всю ассоциативную память! Мне казалось, что если память при мне, то все остальное ерунда, я и не подозревала, что есть еще и такое понятие, как ассоциативная память, и что она имеет такой вес в полноценности восприятия жизни в целом! А без предметов

окружающей среды, вызывающих ассоциации с прошлым (т. е. присутствовавших во время этого прошлого), ассоциативная память ложится и спит мертвым сном, а вместе с ней спит ощущение жизни.

* * *

Подоконник в американской квартире «потеплел» потому, что уже накопил какие-то ассоциации, связанные с моим прошлым. Но тепло этого подоконника не идет ни в какое сравнение с теплом подоконника в Нальчике, потому что в конкуренцию вступают неравные: там подоконник имеет 15 лет накопленных ассоциаций, а тут – всего два-три года. Ха-ха-ха-ха-ха! Вот я и поняла, откуда идет вся моя «мертвость»!!! Рассказала обо всем Моисею. Он сказал, что я молодец, делаю большие успехи.

* * *

– Я хотел бы побеседовать с вашими родителями. Вы не возражаете?

– А это еще зачем?

– Очень интересно послушать, что они о вас расскажут. То, что вы рассказываете, это ваше видение. А они, возможно, откроют мне что-то новое.

– Честное слово, я рассказала вам все, как было. Родители ничего нового не расскажут.

* * *

Как ни удивительно, мама открыла Моисею нечто очень важное, что я вовсе и не думала от него скрывать, а просто совершенно забыла. По рассказу моей мамы, все началось не со свадьбы Илюши, а со смерти матери моей одноклассницы, Лены Четверяковой.

– Ах, как же я об этом могла забыть! Конечно, все началось не с этого, но этот случай тоже был немаловажным. Молодец мама, она все помнит!

Они жили прямо рядом со школой, и мы часто заходили с девочками к Лене домой после уроков. Ленкина мама всегда встречала нас, угощала чаем, фруктами, печеньем. Она была цветущая и молодая, уютная и теплая, добрая и строгая, всегда

ходила по дому в халате. Ее смерть ворвалась в мою жизнь, как снежная вьюга среди августа. Неожиданно. Противоестественно. Убийственно. Конечно, я знала, что бывает смерть, что люди умирают, но так близко, лицом к лицу со смертью я столкнулась тогда впервые.

– Простите, перебил меня Моисей – сколько лет вам тогда было?

– Мы учились тогда в девятом классе. Ленина мама умерла зимой. Мне было почти четырнадцать. Несчастный случай. Утечка газа, отравление. Не откачали. Болезненнее всего было то, что это умерла мама, хоть и не моя, а моей одноклассницы, с которой мы общались каждый день на протяжении девяти лет. Я переживала боль, которую, я догадывалась, переживала Лена, как свою. А уж, упаси Господи, случись это несчастье с моей мамой, – я бы просто этого не прежила.

Тогда я поняла, что так же внезапно, так же нелепо может в любой момент умереть и моя мама, любой из моих близких и даже я сама. Несчастный случай. Легко и молниеносно – нет человека! Словно в первый раз меня огрело: жизнь может оборваться в любой миг. Как же так? Как так глупо?! Как так нерационально? Зачем рождаться, чтоб потом умирать? Помню зимний солнечный день. Гроб на пороге Ленкиного дома, весь наш класс, учителя, родные Лены, ее отец, старший брат. Улыбчивое строгое, в какой-то степени родное лицо Лениной мамы, как закаменевший воск, как какой-то предмет, как ничто – в гробу. Отвезли на кладбище, заколотили, зарыли в землю. А еще вчера, позавчера, всю мою жизнь, сколько я помню, она была живая!.. Она была родная… Любимая мамочка… Лены. После этого события, я сильно изменилась, и, пожалуй, мама права: хандра моя пошла именно оттуда.

– У нее появились страхи, – рассказывала мама. – Она стала бояться спать в комнате одна. Стала часто плакать, постоянно спрашивала, «в чем смысл нашей жизни, если мы все все равно, умрем?»…

– Ага! Так это после смерти матери Лены Четверяковой началась хандра и вопросы о смысле жизни?

– Да-а… Насколько я помню, именно после этого, – утверждала мама. – Мы даже приводили бабку-знахарку, чтобы она молитву читала, заговоры.

– Хм… Я как-то не придала тогда этому значения… Я о смерти Лениной мамы и вовсе забыла. Возможно… Возможно, что именно после этого случая, я впервые задала вопрос: в чем смысл этой жизни, если у нас у всех один удел – смерть? Но не только эта смерть, Илюшина свадьба тоже…

– Итак, свадьба Илюши была, когда вы учились в девятом классе – осенью. Смерть Лениной мамы – в том же году, чуть позднее, зимой. Так?

– Так. После свадьбы Илюши мне все стало казаться бессмысленным. А после смерти Лениной мамы это ощущение бессмысленности еще более утвердилось.

– А первая менструация – летом, когда вы перешли в девятый класс?

– Да… Действительно, получается, все эти события пришлись на один и тот же учебный год… Неужели это все взаимосвязано???..

– Ваше поражение с Вовкой Снегиревым не сломило вас сначала. Правильно я вас понял?

– Да. Сразу я как-то не особенно сильно от этого свернулась. Оно дало о себе знать позднее.

– Оно дало о себе знать все в том же злосчастном девятом классе. Так?

– Так.

– А сколько прошло по времени от момента разочарования в Вовке до первой менструации?

– Опять вы с этой менструацией! Ну неужели она так важна, что вы постоянно все события с ней связываете?!

– Нет, я просто хочу узнать.

– Ах, Боже мой! Вовка был осенью, когда я была в восьмом классе. Это было почти за целый год до первой менструации.

– А свадьба Илюши пришлась несколькими месяцами позже первой менструации, так?

– Ну, так.

– Свадьба Илюши сломила вас (вернее не сама свадьба, а унижение, которое вы пережили на этой свадьбе), а разочарование в Вовке, прошло без последствий. Во всяком случае, если бы не та же злосчастная осень девятого класса, Вовка бы прошел без тяжелых последствий. Хотя, на мой взгляд, унижение которое вы пережили из-за Вовки, гораздо сильнее, реальнее, чем то, что было на свадьбе у Илюши. Здесь вас просто не приглашали танцевать, а с Вовкой вас активно унижали. Там вы остались целы, а тут сломались.

Там вы были далеко по времени от первой менструации, а тут в нескольких месяцах. Просто любопытное совпадение. Ведь мы же с вами знаем, ничего случайного не бывает.

– Уверена, что менструация тут не при чем. Хотя… вообще-то интересное замечание…

* * *

Я долго листал вашу любимую книгу. Я хотел бы показать вам еще несколько любопытных страниц. – Моисей раскрывает книгу и подает ее мне: – Читайте!

«Посредине комнаты, на столе, стоял гроб, вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дьячок и тихим однообразным голосом читал псалтырь.

Я остановился у двери и стал смотреть; но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать; все как-то странно сливалось вместе: свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовая, обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвета. Я стал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо; но на том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же бледно-желтоватый прозрачный предмет. Я не мог верить, чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? Отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей? Отчего выражение всего лица так строго и холодно? Отчего губы так бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?..

Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало предо мною и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положении: живою, веселою, улыбающеюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть…»[13]

– Я же вам говорила, он писал всегда о том, что было мое. Он как будто прожил именно мою жизнь: все, о чем он пишет, близко мне, все, что мне близко, – он в своих книгах описывает.

– Любопытно, – говорит Моисей, улыбаясь и лукаво глядя на меня. – О-о-очень любопытно.

Глава десятая
Октябрь 1982 г. – май 1983 г.

Я открыла глаза – и гиря сознания придавила меня. Я лежала, распластанная, в широкой бездне двуспальной кровати и на моих руках, плечах, голове, ногах тоже лежали тяжелые гири.

Снятся иногда такие кошмары: на тебя обрушилась тонна земли из бульдозера, тебе хочется сделать высвобождающее движение, но пошевелить ни рукой, ни ногой, ты не можешь. Тогда ты собираешься закричать, но мышцы твоего лица плотно сжаты, и ты не можешь издать и звука.

Несмотря на желание встать, двигаться, я не могла даже поднять тяжелые веки. Опускала я веки или открывала глаза – передо мной был все тот же полумрак моей квартиры. Все вокруг было перевернуто, на полу картонные коробки с книгами, чемоданы, валяющиеся повсюду вещи.

Каким образом я оказалась в этой жуткой темнице?

Да, это же квартира, которую мы сняли, когда я вышла замуж за Леню… я вышла замуж… Да-да, мы приехали в Америку… я ведь уже давно не живу дома… Мы приехали в Америку… Леня ушел несколько дней назад… Ушел… правильней сказать – я его выжила. До этого были изнурительные ссоры, бессонные ночи… едва он ложился в кровать с этой своей ненавистной газетой в руках, я мучалась, лежа рядом, непреодолимым желанием вскочить, броситься на него и задушить.

Едва он переступал порог дома, я с трудом удерживала себя, чтобы не запустить в него стулом или не разбить холодильник голыми руками… я не могла больше спокойно видеть его… Когда же раненько утречком, в очередное воскресенье я проснулась и увидела Леню, помытого, побритого, уже давно вставшего, со свеженьким номером очередной газеты в руках, я потеряла полностью контроль над собой: в него летели вазы, швабры, стулья… Это была уже не я…

Опешив от такого неожиданного моего пробуждения, Леня (с его точки зрения, я это делала ни с того ни с сего) реагировал довольно интересно. Он начал драться со мной в ответ: тоже кидал в меня стулья и вазы. Это была последняя наша ссора; мы чуть не убили друг друга. Наконец ему надоели мои постоянные истерики и он ушел…

Сквозь непроходимый туман до меня доносится крик ребенка. Ребенок… Да-да-да… Ах, еще ребенок… Не встану, думаю я, – покричит да умолкнет.

Визг ребенка доносился, как из глубокого тысячеметрового колодца… это кричал мой ребенок… да-да… боже мой, я осталась с ребенком… боже мой, как он орет!.. Не встану, пусть орет – нет сил… Визг нарастал, перекатывался под потолками, бил по нервам… Вскочив, изо всех сил шлепнула его по губам и, как сквозь сон, смотрела на покрасневшие беспомощно перекривившиеся губки. Монотонный визг умолк, и через секунду жалобный плач наполнил мою душу отчаяньем. Я бросилась к нему, обняла, как во сне, смотрела сверху на ходящее туда-сюда с младенцем в руках, свое тело.

Вспомнила, ведь он голодный… как же я могла забыть, что не кормила его еще сегодня…

Кто знает, сколько теперь времени: может, утро, может, полдень, может, четыре часа дня… День пасмурный. В этой квартире всегда полумрак… я же его еще ни разу не кормила сегодня. Как я могла забыть…

Сумерки стали гуще в моей душе. Засохшее яйцо… еще какая-то еда, засохшая со вчерашнего дня… Сашенька бьет ножками изо всех сил от радости, что его взяли. Он такой жизнерадостный, этот маленький дурачок, несмотря на жуткие условия, несмотря на скотскую мать… Неужели это он со вчерашнего дня в одном и том же памперсе… Ах, черт побери! Бедный ты мой бебичка, маленький… Что же ты раньше не разорался, чтобы напомнить скотине-матери о том, как она тебя обижает… Ничегошеньки-то ты не понимаешь! Простил мне все, виляешь хвостиком…

Тяжелый воздух в доме… Окно… Спасение? Дорожка тротуара… Можно открыть дверь и выйти из камеры-темницы. Никто не держит.

Куда ведет эта тропинка, кончик которой я вижу из окна?

Тропинка – простой вход в гигантский, запутанный лабиринт, который называется город Нью-Йорк. В этот лабиринт входят живые люди, а уж выйти – никто не может.

Как называлась эта сказка? Нить Ариадны? Она дала Тезею клубок – и они нашли выход… О-о-ох-хо-хо…

Как же это так, само собой в Союзе было, я знала, был ВГИК, я знала, был МГУ, а еще Литературный институт, один – на всю страну. Откуда я это так четко и хорошо знала? А здесь? Что здесь вместо ВГИКа? Куда идти? Как узнать? У кого спросить?

Сашка ползает, валит стопки с книгами, опрокинул тарелку с супом, вытерла, все собрала, а он, пока я этим занималась, хлопнул приемник со стола, слава богу, не разбил себе голову. Выпустишь его из кроватки – он, как зверек. Ни на секунду это существо не перестает что-то теребить, ковырять, валить, ломать…

Телевизор. Вот кто был моим главным информатором. Ни школа, ни учителя, ни знакомые не знали того, что знал Телевизор. Телевизор был у меня и здесь. Едва я включила его, на экране показали аппетитный пирог, аромат которого, казалось, я ощущала через стекло экрана. Какая-то белокурая американка, закатывая от удовольствия глаза, надкусывала хрустящий, рассыпчатый кусок и мычала от восторга: «М-мм, м-мм»… Уж насколько я равнодушна ко всем этим их бренным радостям, даже меня в аппетит ввели. Вот мастера! На что только талант уходит, вот чего жаль. С отвращением выключила телевизор.

«Сашенька, открой ротик». (Мягко, ласково.) «Открой рот, говорю!!!» (Неистово, выходя из себя.) Держал, держал во рту свою кашу, вместо того чтобы проглотить, хоп (!) – и все на полу. А я только что вытерала разлитый им суп.

Скрип дверей в подъезде… Кто-то вошел в подъезд… Идет по коридору… Сердце подскакивает: ну! Отчего я так вся напрягаюсь? Еще секунда и раздастся стук в дверь. Стук в дверь – и я спасена! Но скрип утихает, шаги умолкают, и снова все тихо. Я с горечью усмехаясь, говорю себе: кто же может ко мне постучать? Ведь знакомых у меня никого! Кроме Лени. Но Леня уже не придет.

Мне все время кажется, что сейчас кто-то постучится в дверь. Я жду стука в дверь, как спасения, как чуда. Я понимаю, что прийти никто не может, нет ни одного знакомого. А тем не менее, не могу перестать напряженно прислушиваться к каждому звуку и шороху за дверью.

Кто-то придет… Кто же? Ведь никто прийти не может…

* * *

Когда я выхожу на улицу, положение мое сразу начинает казаться мне не таким уж безнадежным. Как будто я вырвалась из газовой камеры, где задыхалась. На улице сразу как-то легче дышится… И появляется надежда. Присутствие людей вокруг мгновенно вселяет в меня силу.

Я вижу, как будто со стороны, себя, идущую по улице, катящую коляску. Если бы кто-нибудь из знакомых увидел меня – не поверил бы, что это я. Вещи на мне помятые, волосы кое-как заколоты, синие круги под глазами. Я смутно сознаю, что похожа на человека, который сбежал из больницы или из дурдома, но едва могу толкать свое сонное тело, хоть в таком виде. Нечто большее, как привести себя в порядок, мне уже не по силам. Я еле-еле встала. Кое-как одела ребенка. Я встала, потому что

лежать в темной квартире более совершенно невмоготу.

Вот я свернула на оживленную Авеню Ю. Автобусная остановка. Сигаретный киоск. Вот перекресток, светофоры и тысячи, тысячи несущихся со свистом машин. Пиццерия (ее держат итальянцы). Магазин модной одежды. (Хозяева – израильтяне.) Продуктовый магазин, им занимаются китайцы. Прачечная (опять китайцы). Аптека (не знаю, кто хозяева). Ресторанчик-забегаловка (здесь правят греки)…

Я внимательно смотрю на каждое заведение, мимо которого прохожу не просто из праздного любопытства. Я ищу то, что я потеряла… Я ищу саму себя, а точнее – применение себе в этом новом мире, в который я попала, как краешек одежды под крутящееся колесо…

Вспоминаются мне многочисленные ссоры, доходившие до скандалов, через которые прошел отец, прежде чем нас вывезти из страны. Папина родная сестра, тетя Валя, осталась в Союзе. Ее муж, дядя Артур, занимает там серьезную должность в Кабардино-Балкарском ГАИ. Он партийный. Когда дядя Артур узнал, что мы уезжаем за бугор, он пришел к папе и, глядя в лицо ему, как предателю, сказал: «Как ты мог!»

Папа взбеленился не на шутку.

– Я – предатель?! Я – единственный честный человек среди вас! Я не вступаю в партию, в глубине души, презирая ее, как это делают некоторые! Я не беру взяток, как кто-то… не будем указывать пальцем… Я не могу жить по уши во лжи и не хочу, чтобы мои дети в ней жили… ты вправе защищать свою семью от таких «предателей», как я, а я вправе – защищать свою семью и вывезти ее из дерьма!..

Как они тогда ругались! Как хлопали кулаками по столу, как оскорбляли друг друга! Все родные отвернулись от папы, считая его предателем. Не потому, что он покидал Родину или что-то там такое, а потому что он уезжал, оставляя в заложниках своих родных, прекрасно понимая, что за его, папину, свободу те должны будут заплатить своими должностями или еще как-то… Правда это или нет, я не знала, но из споров и разговоров понимала, что все родные были крайне недовольны и опасались за свое благополучие после нашего отъезда. Травля, как называл это папа, продолжалась до тех пор, пока у папы не случился микроинсульт. Тогда дедушка встал на его защиту и до самого отъезда никого не пускал к лежащему папе.

Эх папа, папа… За что же ты боролся так яростно, так самоотверженно?

«Я – что… все ради этих двоих детей!» – всегда говорил ты. Не знаю, что там будет с Танькой, но меня-то ты погубил…

Если бы ты только мог понять, если бы у тебя хватило мужества увидеть… признать, что ты натворил!!!

Как ты мог, папа?! Твоя ошибка изуродовала мою жизнь…

Есть некоторые породы растений, которые нельзя выкорчевать с корнем и пересадить в другом климате. Росток не выживет. Я – то растение, которое могло прорасти только в определенном климате, а при пересадке из одной почвы в другую гибнет. Я не выдержу пересадки моих корней из Советского Союза в американскую почву.

Мы с папой теперь, как противники во время гражданской войны: отец за белых, а дочь за красных. Мы избегаем встреч друг с другом, а уж если все-таки приходится встретиться, не можем удержать шквала неприязни и раздражения, которые и обрушиваем друг на друга, каждый в полной уверенности, что именно он – пострадавший.

Супермаркет. Рыбный магазин. Опять забегаловка… В этом мире – мне бесполезно искать… Во всем Бруклине население несколько миллионов человек – и ни одного книжного магазина! Это о чем-то говорит? Ни одной музыкальной школы. Ни одной танцевальной студии. Хотя, нет, есть «танцевальные школы». Это они так называют эти заведения. Как-то я пришла туда.

Три ученика в классе. Вот вся школа. Я не преувеличиваю. Одной ученице лет, этак, под восемьдесят, она размалевала себе лицо и возомнила себя балериной. Другой – за сорок, она весит двести пудов и хочет уметь танцевать сексуальные танцы для своего мужа. А третья ученица, еще еле стоит на ногах, ей полтора годика, и она совсем недавно научилась ходить. Учительница, еще одна двухсотпудовая грация, она же – хозяйка школы, должна ублажать всех своих таких разных учениц. Она должна совместить в одном уроке: классический балет для пенсионеров, «сексуальные танцы» (не совсем понимаю, что это значит, но неважно) и координацию движений для новорожденных.

– Разве можно, чтобы такие разные по возрасту и по уровню подготовки студенты занимались все вместе? – спросила я у нее.

– Я должна оплачивать аренду помещения, счета за свет, отопление, телефон… Я не выбираю: кто приходит, того и беру. Я и без того в минусе, вместо того чтобы зарабатывать, свои деньги докладываю, – сказала учительница Карен, мило улыбаясь.

– А зачем же вы держите такую школу, которая приносит убыток вместо прибыли? – не поняла я.

– Я очень люблю это, я фанат балета. Мой муж смеется надо мной, но, скрепя сердце, все же дает денег на расходы студии. Он тяжело работает, он водитель-дальнобойщик, водит трак[14] на

далекие расстояния. Ему эти деньги тяжело достаются, но он все-таки мне помогает. Я держу студию не для денег, а для души. В Америке танцевальная студия денег не приносит, это только фанаты за свой счет тянут.

– Но почему не приносит?

– Не знаю… – пожала она плечами, – людям не до танцев. В Манхэттене, вообще, есть пара серьезных школ, но их всего две на всю страну. Если тебе нужен серьезный уровень, нужно ездить в Манхэттен.

– Да? Как называются эти школы? Можно я запишу?

– Конечно, детка, записывай: одна школа называется «Степс», другая «Алвин Аллей». По справочнику ты всегда их найдешь. Это очень серьезные школы, там занимаются настоящие профессионалы, которые танцуют на театральных сценах. Ты из России, да?

– Да.

– Конечно, русские известны своим балетом на весь мир. Не зря, наверно? Что, большая разница?

– Такая разница, что я просто подавлена, – нескромно заметила я.

Карен покачала головой с пониманием и состраданием.

– Увы, здесь, в Америке, танцорам не сладко. Всю жизнь мечутся, работают официантами в барах, многие спиваются. Нет работы, а если и есть, нет стабильности. Отработал по контракту годик-другой – и снова безработный. Вот так.

* * *

Танцевальная школа – это бизнес. Карен должна думать в первую очередь о материальной выгоде (или, вернее, наименьших убытках, в ее случае), а уж потом об эффективности занятий. Чему можно научиться в такой школе?

Я не тешу себя мыслью, что могла бы стать выдающейся танцовщицей. Понимаю, что для этого нужна подготовка с детства, покруче той, которую я получила в хореографическом кружке местного Дворца пионеров. Просто танцы – это единственное из мира прекрасного, что мне пока доступно в Америке, т. к. здесь можно более-менее обойтись без языка. Без прекрасного – я труп, оно мне жизненно необходимо. Пусть это будет просто мое хобби, но хоть это!

Однако теперь я вижу, что наш Дворец пионеров был воистину дворец по сравнению со здешними школами. У нас

учителя были настоящие профессионалы, и это было видно по одному взгляду на них. Детей отбирали на конкурсной основе и формировали группы, в которых все ученики были примерно одного возраста и одного уровня подготовки. Никогда новичок не мог оказаться в одной группе с теми, кто уже давно занимается, или первоклассник с десятиклассником. А здесь не школы, а бог знает что. Даже слово «самодеятельность» – слишком громкое для таких школ.

Рестораны, прачечные, забегаловки, супермаркеты. Зато еды здесь в Америке видимо-невидимо! Куда ни пойдешь, везде еда! И прачечных куча. Можно устроиться на работу в прачечную, а можно дорасти до чести быть хозяйкой прачечной. Можно пойти официанткой в забегаловку, а можно – хозяйкой ресторана. Высший пилотаж – программистом! Программисты – герои нашего времени. Слава программистам (восклицательный знак отсутствует).

«Вот Ириночка устроилась на тридцать тысяч в год! А вот Мишенька, молодец такой, со старта, сразу на пятьдесят!» Шестимесячные курсы – и ты робот-программист! Всех под одну молотилку!

– Как может молодая девочка сидеть и ничего не делать?! Почему вы не заставите ее?

– А как ее заставишь? Она считает, что деньги ей не нужны. Летает в облаках!

– Легко ей презирать деньги, когда в Америке столько пособий для одиноких матерей!

– Да разве на эти пособия проживешь? Разве что на хлебе и воде? Буквально во всем себе отказывая. Упрямая она.

– Упрямая и глупая.

Неужели, кроме меня, нет ни одного человека в этой стране, который понимал бы, что, кроме денег, есть еще другие ценности, посерьезней?!

* * *

Вывески насильственно втискиваются в поле моего зрения. Хочешь – не хочешь, а читай: LOUNDRY, GROCERY, BEAUTY SALON, FISH MARKET… Куда деться?

В «бьюти салоне» царствуют русские. Не обязательно быть маникюршей, можно стричь волосы или специализироваться по чистке лица… Можешь выбирать. Ежеминутно надо мной происходит насилие. Я ухожу от одного супермаркета, а передо мной, впереди, уже виднеется другой. Я отворачиваюсь от

пиццерии, а прямо в лицо мне насильственно втискивается лаундри[15]. Как в кошмарном сне, я отворачиваюсь от них, а они хамски, насильно лезут в поле моего внимания.

Я отчетливо помню один из главных аргументов отца. Он часто ездил на международные конференции, симпозиумы, там общался с коллегами из разных стран. Раз, вернувшись после одной из таких конференций, отец заявил: «Мы все в этой стране – рабы! Вы знаете, сколько платят на Западе научному сотруднику моего уровня?! – возмущался папа, приехав домой. – Мои книги переведены и опубликованы более чем в десяти странах мира, а что я за это имею? Шиш с маком! Я ученый-крепостной. Бабка-спекулянтка покупает дефицитную тряпку за сто рублей, продает за двести. Продала три шмотки – вот месячная зарплата доцента, кандидата наук! Допустим, моя жизнь уже частично проиграна, но мои дети… Детям своим я не позволю прозябать в этой грабительской стране. Какой у них выбор? Получат образование – будут нищие. А чтобы жить хорошо, должны или воровать, или заниматься спекуляцией, как бабки на базаре. Я уеду на Запад. Там за каждую опубликованную книгу я буду получать гонорар! Там простой инженер получает оклад, – вы знаете какой оклад у простого инженера?!!! Сорок тысяч долларов в год! Это же баснословные деньги!»

Где же, папочка, твои баснословные деньги? Сначала предлагали работу слесарем. Затем еле-еле устроился на работу чертежником. Даже тут уволили. Сидит теперь, вообще работу не может найти. Там тебя хоть на конференции приглашали, в университете ты преподавал, как человек. А тут ты никому не нужен! Вообще не нужен. Даже чертежником. А попробуй тебе на это намекни, ведь ты и убить можешь. Это тема неприкосновенная.

Я не хочу своим маячаньем у тебя перед глазами каждый раз напоминать тебе горькую ошибку твою… но у меня один путь теперь, который, покуда еще спасает от сумасшествия: девять длинных кварталов, от Авеню Ю до Авеню Эн, где на углу мирный шестиэтажный домик, где светятся окошки моих родителей, где доживает свои последние дни мой любимый дедушка. Я прихожу сюда почти каждый день за глотком тепла. Пусть на десять минут, пусть на пять. Просто зайти, постоять среди теплых, любимых людей. Это терапия. Я сейчас больна и остро нуждаюсь в этой терапии. Так что, извини, придется тебе меня снова увидеть.

Вот перекресток Авеню Эн и Кони-Айленд-авеню. Шестиэтажный дом на углу. Вот я прохожу мимо лавки корейца, он стоит внутри, как всегда за кассой, и жена его тоже, копошится

у полок с продуктами. Вот, проходя мимо окон парикмахерской, я вижу голову Милки, маникюрши, сосредоточенно склоненную над своей работой: она усердно пилит кому-то ногти. Ее муж Сеня неизменно стоит на своем посту и стрижет кому-то голову. Эти люди неизменно стоят на своих местах, когда бы я ни пришла к родителям, как часовые. Зимою, летом, в ненастье или в солнечную погоду, мир на земле или ядерная война, кореец стоит у своего прилавка, Милка пилит ногти, а Сеня кого-то стрижет.

Я прохожу мимо и вхожу в знакомый подъезд. Вместе со мной в подъезд входит еще кто-то. Я поднимаю глаза и вижу Галю с шестого этажа. Она уже возвращается с работы. Значит, прошел еще целый день. В какой-то степени я им всем завидую, они не прожигают свои дни зря, как я, а что-то делают. Вот Галя – отработала, заработала денег, вернулась домой. Теперь свободна. Я же никогда не бываю свободна. Я в капкане, как зверь. Я не езжу на службу, но я не свободна никогда! Я в своих внутренних оковах.

– Как дела? – устало улыбается мне Галя.

– Ничего, спасибо, – отвечаю я.

Галя выражает удивление, что такая молодая девочка сидит все время дома с ребенком и ничего не делает. В Америке принято брать бебиситеров, никто не сидит сам с маленькими детьми дома. Пошла бы, отучилась на трехмесячных курсах, стала бы косметологом, советует мне она. Деньги очень приличные.

«Деньги! Деньги! Деньги! Деньги!», – думаю я, но вслух ничего не говорю, просто стою перед Галей со съеженной осанкой.

– Клиенты оставляют шикарные типы,[16] – продолжает Галя. – Работа чистая, женская, в салоне красоты. Это не то что ногти пилить там, или чьи-то грязные ноги массировать. Здесь все-таки имеешь дело с лицом. Наводишь красоту лица.

Галя села в лифт, а я машинально стояла, глядя, как в окошке лифта потух огонек. Уехала. Так… Что это я хотела сделать… Да, к родителям.

Мама, как всегда, начала охать и ахать:

– На тебе ж лица нет! Посмотри на нее, она же вся синяя. Доченька, что с тобой происходит? Почему у тебя такой вид… Ах, боже мой, а ребенка как она одела! Это в таком виде вы всю дорогу шли?

Причитания мамы прерывает грозный оглушительный удар стула о пол в соседней комнате. Минуту стоит мертвая тишина. Затем разражается плачем испугавшийся страшного звука Сашенька. Выскакивает папа, красный как рак, и начинает орать на маму:

– Она агент КГБ! Они дали ей задание убить своих родителей. Она, как Павлик Морозов, за них, против родителей! Неужели ты не видишь? Все делается специально. Разыгрывается страшная драма для таких, как ты. Ты наживку берешь сразу, а уж твоими руками потом меня уберут…

Папа весь трясется, кажется вот-вот и его разобьет паралич. Я понимаю, что зря пришла. Какая-то невидимая сила приводит меня сюда постоянно, хоть столько раз уже обещала себе не приходить.

Подошла к дедушке. Он еле стонет. Болезнь прибила его настолько, что он уже не улыбается при виде меня, не говорит: «Привет, кутенок». Смотрит сквозь меня и приглушенно стонет. Взяла его за руку. Снова, как бы сверху наблюдаю: серая комната, белая постель, дед в муках и над ним глухое к его страданиям деревянное тело внучки.

* * *

До марта еще далеко, а я, как мартовский кот, который и сам в ужасных муках и всем окружающим покоя не дает.

На улицах еще все серое и даже воздух холодный, а в чем-то неуловимом я уже чувствую приближающуюся весну. В том, как освещены солнцем дома и деревья? В том, как раздаются в воздухе голоса прохожих и шум проезжающих машин? В чем? Как я чувствую это приближение весны?

Слоняюсь из угла в угол, пойду туда, приду сюда. Мучение невыносимое. Чего я ищу? Отчего мне не сидится на месте, как будто что-то сверлит меня?

Мне хочется людей, мне хочется много-много молодежи вокруг себя, куда-то идти, что-то делать… Я просто дурею от отсутствия людей. Вернее, людей на улицах миллионы, а вот я, как-то почему-то одна.

Вышла на улицу.

В каждом моем шаге отдается томленье. Улицы, дома, магазины я вижу будто сквозь туман. Весь организм мой ноет в монотонной, непрерывающейся, медленно поедающей меня боли. Словно я вся развинчиваюсь, как на шурупах, распадаюсь, остаюсь на пути по частям. Умоляюще смотрю по сторонам, заглядываю в машины, мне все время мерещится, что вот-вот и я встречу… его.

Помимо своего желания, Сашку опять у мамы бросила. Я скитаюсь по улицам, как полоумная, по два, по три, по четыре часа. Я не знаю, чего я ищу, какой встречи и с кем жду. Не могу находиться на одном месте. Схожу с ума. Как будто невидимые

муравьи ползают по моему телу, не позволяя ни на минуту обрести покой. Мне восемнадцать лет, разве такую жизнь я представляла, когда достигну этого заветного возраста!

Набродившись по ночным улицам до поздней ночи, я забираю ребенка и иду домой. Прямо у подъезда дома родителей облокотившись на запаркованный автомобиль стоит парочка: он жадно целует ее, его руки ходят по всему ее телу. Я уже давно должна была бы привыкнуть к тому, что в Нью-Йорке молодежь целуется повсюду, совершенно никого не стесняясь, и все-таки при виде этих поцелуев я чувствую себя, как человек, который месяц не ел и вдруг прошел мимо горячего и пахучего блюда, которое кто-то ест. Оказывается, при длительном голоде от одного запаха пищи можно упасть в обморок. Я иду мимо, ноги подкашиваются, везу ребенка. А что мне еще делать?

Дома я стою перед всеми стенами понемногу, я трусь о них, я повисаю на них, я обнимаю их, я бью их… Стены, стены… ведь никто не позвонит. Хоть бы кто-нибудь… пусть даже Леня, позвонил! Невыносимо быть одной! Невольно, сами по себе складываются на ходу примитивненькие стихи.

Я вяну, чахну, загинаюсь, пропадаю…
Мне некого любить! Мне некого любить!
Я молодость бесцветно заметаю…
К чему мне жить? Мне некого любить!

* * *

На Ошеан-парквей автомобили, как обособленные космические кораблики, пролетают на дикой скорости, один поток пуль – вправо, другой – влево. В каждом «экипаже», по меньшей мере, одно живое существо. Я стою на углу Ошеан-парквей и Авеню Ви, в одном блоке[17] от дома. Какая сила вытащила меня сюда опять? Пришлось оставить дома спящего ребенка одного.

Я стою, глядя на несущиеся бесконечным потоком автомобили, и мне кажется невероятным, что мимо меня проносятся ежеминутно сотни живых людей, закупоренных в свои космические корабли, а я так катастрофически одинока. Мне кажется, что если бы любой – любой (!) – автомобиль остановился и ко мне вышел, какой бы он ни был, живой человек, я бы испытала облегченье.

Автомобили, конечно же, несутся, не останавливаясь.

Им и дела нет до стоящей на углу какой-то там фигурки. На

необитаемом острове пытаются, увидев самолет, дать сигналы, просящие о спасении.

Какими жестами просить о спасении, когда ты как будто находишься в густонаселенном городе, а на самом деле на необитаемом острове?

* * *

В темноте кто-то идет… наконец-то, пеший прохожий… открытый, доступный, не закупоренный в железном панцире своего авто… его можно остановить, сказав ему что-то, можно просто кинуться к нему в объятия, повиснуть у него на шее, плакать, рассказать, как остро я нуждаюсь в помощи… Сердце мое забилось… заговори, скажи что угодно, только останови этого прохожего…

Фразы мелькают: «Вы не скажете, который час?» Нет, не годится. «Извините… приятный сегодня вечер, не правда ли?» Черт побери! Даже сказать нечего… Человек подходит совсем близко, вот он проходит мимо меня. В бликах ночных лампочек я разглядываю получше его лицо и понимаю, что зря я так волновалась: прохожий, которого я приняла за живого человека, оказалось, мраморный, синтетический американец. Такой помочь мне не может.

Представляю себе его лицо, заговори я с ним о том, что у меня сейчас на душе! Для американца я Марс со своими переживаниями.

Мимоходом я невольно отмечаю про себя: как удивительно, однако, устроен человек! Ведь, казалось бы, умираешь, уже любой живой человек спасением кажется, а вместе с тем, умирая, все еще перебираешь: «этот – американец, этот – не годится…» Ну какая тебе разница, черт тебя побери, американец он или русский?!!! Ведь ты умираешь! Умираю. А американец – чужой, ничего изменить не сможет.

О чем с ним, американцем, говорить? Он не знает ничего: ни моих любимых мультфильмов, ни любимых книг, ни любимых киногероев. На чем он вырос? На своем американском: пуф-паф? Разве можно согреться от общения с человеком, выросшем на «пуф-паф»?

Я гуляю, гуляю… я гуляю по ночным улицам до превращения в сосульку. Автомобили несутся мимо меня, увозя в своих железных панцирях живых людей…

* * *

На то, чтобы выписать двадцать слов из словаря с переводом и разъяснениями, уходит час. На то, чтобы вызубрить эти двадцать слов, уходит весь день.

Один целый огромный день жизни!

Не просто день, вычеркнутый из жизни, а день нуднейшей, концентрированной, требующей дисциплины и огромной силы воли работы.

До посинения! До истерики:

to assuage – успокаивать, утолять, смягчить горе,

to imbibe – впитывать, поглощать, imbibing –

поглощающий to sprawl – развалиться, сидеть развалясь, растянуться qwirk – причуда journey – прогулка, поездка.

И снова, и снова, и снова.

К вечеру мозоли в восприятии, а слова все-таки на сто процентов не освоены! И это таким адским трудом, ценой уединения, бездействия, тюрьмы… Двадцать слов! Сколько же понадобится лет, прежде чем я смогу приобрести запас из пяти-десяти тысяч слов? А еще же дальше – слова нужно уметь складывать в словосочетания, словосочетания в предложения, знать грамматические правила…

Нет, английский – нереальная задача.

Впервые в жизни я задумалась: а как же я осваивала русский язык?

Было такое ощущение, что я просто родилась с русским языком, встроенным в мою систему. Но я знала головой, что это не так. Русский язык как-то освоился сам по себе. Я даже не заметила, как и когда это произошло. С английским все обстоит иначе. С английским – пока просто-напросто десять слов запомнишь, глаза на лоб вылезут. А что такое десять слов? Даже не стоит тратить на это драгоценное время. Пиши лучше свой роман, толку больше будет. Авось, за гениальный роман сделают для тебя исключение: позволят жить в Союзе, при этом разрешая выезжать в гости, повидать своих родителей. Как знать?

* * *

Наступающий вечер – это что-то пытке подобное. Как тянет меня выйти… если бы только было куда! С кем выйти? Куда пойти? Смотрю в зеркало: лицо еще совсем юное. Глаза блестят: в них все мое томленье и вся моя внутренняя боль видны как на ладони. Сколько мне будет лет, когда я уже отсижу свой срок? С

каким лицом (девичьим, женским, старушечьим…) выйду из этой тюрьмы, в каком возрасте? Встаю, хожу по дому… Схожу с ума… Сяду, еще хуже. Возьму книгу, не могу сконцентрироваться, брошу, включу телевизор, от него еще хуже, выключу. Открою холодильник, пожую, пополам с горечью, какую-нибудь вкусную гадость, проглочу последний кусок, и снова пустота зияющая… Сколько же можно есть?! И так ем каждые пять минут. Меня от холодильника уже тошнит, а сама, как околдованная, нет-нет – и опять к холодильнику! Положишь что-нибудь в рот… и вроде как будто легче на какое-то мгновение. Оказывается, у меня вовсе нет силы воли. Чтобы получить секундное облегчение, я делаю то, за что презираю себя, ненавижу, а все-таки делаю.

Не могу! Не могу! Не могу выдержать эти стены!!!

Одела ребенка, вышла на улицу. Далеко ли можно уйти с коляской? Парафиновые американцы вокруг. Свет магазина, магазины здесь, когда ни выйдешь на улицу, всегда работают. Инстинкт руководит мной: почему-то купила баночку красного молотого перца, баночку черного перца, ломоть острой-преострой колбасы «пеперони». Вернувшись домой, все еще руководствуясь инстинктом, нарезала острую-преострую колбасу, бросила жарить на сковородку, когда выделился из нее жир, красный от перца, щедро добавила целую жмень красного перца – так, что колбаса красным слоем покрылась, затем добавила черного молотого перца – так, что колбаса почернела, жарила до корочки, крепко. Глаза на лоб повылазили от этого снадобья! Жую… дым из ушей идет! Искры из глаз и из мозгов. Жую… с наслаждением!!!..

От остроты меня не только слезы пробили, но и потом прошибло. Все мое тело, все мои мозги, всю меня насквозь прошибло. И тут-то я почувствовала наконец облегченье.

Дым из ноздрей… Облегченье. Море слез… не от эмоций каких-либо – от жмени молотого острого перца, жаренного с колбасой! Представьте себе, облегченье. После этого уложила Сашеньку и смогла усидеть за книгой весь вечер. Отлегло наваждение, стало выносимым.

* * *

Купила газету «Русская жизнь». Привлекла мое внимание статья об Андерсене. Я прочла, что

> «…выдающийся сказочник, написавший наши любимые сказки «Гадкий утенок», «Принцесса на горошине», «Снежная королева», «Русалочка»… был

педофил и психопат, который вообще эти сказки написал случайно, а в основном писал неудобочитаемую пошлятину, которую сам ценил выше своих сказок.

Андерсен был нелюдим, анахорет и мизантроп…. – писал автор статьи, цитирую дословно. – Всю жизнь прожил бобылем, ни с кем не дружил, страдал манией преследования, а детей терпеть не мог. Однажды получил по почте роскошную коробку конфет от своего фаната, и хотя был сладкоежкой, есть их не решился: вдруг отравлены? Взял несколько штук, снес на пробу племянникам, а наутро пришел узнать, живы ли, здоровы ли? И только после этого слопал в свое удовольствие. Странным человеком был автор «Гадкого утенка», «Снежной королевы», «Дюймовочки» и других прелестных сказок, которые вот уже полтора века очаровывают детей и взрослых. Кстати, сам он придавал им маргинальное значение, а больше всего ценил свои неудобочитаемые романы, которые канули в Лету еще при его жизни»…

Вот, такая статья.

Просто хотелось стряхнуть с себя прочитанное. Почему у меня так испортилось от этого настроение?

Все дело именно в том, что статья была написана очень убедительно и, чем убедительней звучали доводы рассказчика, тем больней мне было. Читала и корчилась, как от оглушительных ударов. Дубинками били не по телу, а по сознанию, что, к своему удивлению, я обнаружила ничуть не менее больно.

С детства я привыкла уважать Андерсена, всю жизнь смотрела на него, запрокинув голову вверх, как смотрят на солнце. Они любят здесь, обрадовавшись свободе, какать на святыни. В Союзе бы это им фиг позволили!

* * *

Раздел объявлений в «Русской жизни»:

В крупный продуктовый магазин требуются энергичные продавцы…

Требуется бухгалтер, имеющий опыт работы…

Для развозки хлеба в Бруклине требуется водитель, имеющий мини-вэн…

Требуются женщины на уборки домов и гостиниц…

Требуется бебиситер для мальчика 2-х лет на 6 дней в неделю…

Салону в Манхэттене требуются дамский и мужской мастера, а также маникюрша.

В ювелирный магазин срочно требуется продавец, обязательно имеющий опыт работы и знающий английский.

В строительную компанию срочно требуются маляры, штукатуры, каменщики, сантехники, электрики…

Требуется сиделка, по уходу за тяжело больным стариком…

Требуются рабочие по сборке воздуховодов, металлических изделий, ремонту лифтов.

Требуются девушки 18–30 лет. Самые высокие заработки! Самые лучшие условия! Опыт работы и знание английского не обязательны.

* * *

Оставила газету.

Другая альтернатива – полумрак квартиры.

Подошла к письменному столу, взглянула на кресло пыток. С железным лицом, напрягая волю, заставила себя сесть в кресло пыток. Раскрыла словарь, выписала двадцать слов с переводами и пояснениями. В глазах рябит, неуклонно меня тянет ко сну. Это настоящие пытки – зазубривание слов, сидя в изоляторе под таким естественным названием «твоя квартира». Для молодого, нетерпеливого, полного творческой энергии человека – это высшая мера наказания.

Представьте себе, вы вдруг оказались в каком-то марсианском городе, где вы ни одного человека не знаете и вас никто не знает. На первый взгляд, кажется, такая малость. Кажется, да можно ведь завести новых знакомых. Но это только кажется. Город-то марсианский. Жители его только с виду похожи на людей, а на самом деле – чужие, непонятные мне существа.

А я теперь по-настоящему понимаю, в чем состоит смысл тюрьмы! Оказывается, главное наказание состоит в изоляции от общества. Ведь в тюрьмах и кормят и поят, даже есть дворы, где можно гулять, можно смотреть ТВ. Главное наказание – в изоляции от общества! Стало быть, несколько сокамерников – это еще не общество.

Надо же, как мудро учли такую особенность человека!

Я и не подозревала, что это может быть так тяжело. Дуреешь просто-напросто! Вот и здесь, чем не тюрьма? Люди, как будто есть, но это уже не «твое» общество, это другие люди: ты для них

не существуешь, они для тебя. Познакомиться?! Весь город говорит на каком-то совершенно дегенеративном языке, на освоение которого могут уйти десятилетия. Ты сидишь один, изолированный от жизни. А у этих марсиан все наоборот тому, как это должно быть у людей. Они при рождении человека плачут! На похоронах смеются. То, что у людей хорошо, – для них плохо, то, что для человека гордо, – для них постыдно. Поживи среди таких. Язык учить охота пропадает.

И все-таки английский язык – это замок, который висит на дверях, ведущих из темной квартиры-изолятора в жизнь. Не единственный замок, но тот, который видно сразу. Не один год напряженной работы понадобится. А я не могу высидеть и дня, туман стелется перед глазами.

Попыталась писать свою повесть. Раскрыла тетрадь. То же самое! Это какой-то гипноз! Не идет, хоть убейся. Дома мне так хорошо писалось. А здесь, как будто меня околдовали, ничего не выходит. Все время хочется спать.

Встаю, иду к холодильнику и в продолжение одной-двух спасительных минут пустоту моей жизни наполняет блаженный вкус тающего во рту печенья, того самого, которое постоянно показывают по телевизору. Они так навязывают всю эту муру, что я в конце концов покупаю. Почва для этого самая благодатная: жизнь заполнить нечем, а реклама постоянно призывает расслабиться и получить удовольствие. Расхваливаемые продукты доступны по цене, продаются в каждом магазине, а магазины – на каждом углу.

Откусываешь кусочек и прислушиваешься ко вкусовым ощущениям, как к единственному проявлению жизни. К холодильнику теперь подбегаю каждые пять минут. И ненавижу, и презираю себя за это, а все-таки снова открываю холодильник. Мне всегда казалось, что у меня сильная воля. Что же сталось с моей силой воли? Как будто я сама себе не принадлежу. Меня тошнит от еды, а я постоянно ем… Что со мной?

* * *

Мне до нытья в суставах хочется любить.

Рекламный плакат: парень и девушка, дыхание к дыханью, аж замыкание электрическое по небу от них идет.

Пришла домой: книга о любви. Встаю, взревев, как тигр! Смотрю на ветки с набухшими почками, прямо подпирающие мои окна. Какая ноющая боль меня переполняет. Все дышит грустью, щемит и кусает сердце вид жалобно глядящих в окна одиноких

веток.

Ведь я не калека, не урод! Я нормальная, достаточно приятная, и внешне, и внутренне, девочка. Отчего такое простое элементарное явление, как любовь, недоступно мне?

Смотрю на себя в зеркало. Румянец, глаза блестят. Выплакаться бы. Не плачется. Слезы не идут. Мучительная тяжесть на сердце.

Чего я хочу от этой весны за окном? В комнате моей есть окна, и это начисто дезорганизует меня. Когда включаю музыку, мне кажется, взорвусь.

* * *

Сашка спит в кроватке, а в окна этой квартиры лезет солнце, тени ветвей, уличный гул и свежий весенний воздух. Смешно сказать, что в моей квартире есть окна и это выворачивает все внутри меня наизнанку. Что я хочу от этой счастливой погоды за окном, от этих трещащих птиц, от бисерной игры теней листочков и солнечных просветов между этими листочками? Отчего я все время, как мечущийся зверь в клетке, сквозь которую он видит начало несказанного райского счастья жизни, в которую его не пускают?

Хочется жить и забросить все учебники.

Мерила наряды, экспериментировала прически. Может постричь свои длинные волосы? Здесь это не модно, здесь модны короткие стрижки.

Я все еще очень худенькая. Судя по тому, сколько я безудержно ем, мне казалось, я должна была уже стать как тумба. Все та же, что была. Слава Богу. И лицо у меня ничего, кожа чистая, свежая, как будто это не я в изоляторе срок отсиживаю. Стойкий у меня организм, не так-то просто его сломать. Так в чем же дело? Почему, почему, почему я одна?

Сколько я гуляю по улицам, мог бы меня давно кто-нибудь заметить. Познакомиться. Да… но ты всю дорогу с коляской… ребенок отпугивает парней. Нет, часто и без коляски я гуляла, когда Сашка у мамы был. Множество раз я на улице одна бывала. Просто не такая ты красивая, чтобы вышла на улицу и тут же на тебя кто-то бы обратил внимание. Нечего винить коляску и Сашку.

* * *

Солнечные лучи звонко стучат колокольчиком о стекла моих окон.

Глава одиннадцатая
Май – октябрь 1983 г.

Русская жизнь» – это единственная связь хоть с каким-то обществом или, вернее, маленьким огрызочком того общества, из которого меня изъяли и без которого я гибну, как растение без почвы. Волей-неволей я покупаю эту газету.

Хотя, покупая и пролистывая ее, впадаю в еще большее уныние.

Вот врачи себя рекламируют.

Экстренная помощь при половых расстройствах. Обретение мощной сексуальной силы, независимо от возвраста!

Гарантированное избавление от нервных стрессов, курения, алкоголизма.

Вот травник себя рекламирует:

Быстрая и надежная потеря веса. Самое эффективное лечение от всех болезней.

Иглотерапия и иглоукалывание…

Все виды стоматологической помощи для детей и взрослых…

Мозоли и шишки на ногах…

А вот объявление Моисея.

Позвонить ему?..

Нет, это уже было. Сколько раз я ходила к нему? Не сосчитать. Общаться с ним приятно. Ну, а толку? Толку никакого. Восемь месяцев прошло. Я зашла еще глубже, в совершенно непроходимый тупик. Во всяком случае, когда я в первый раз пришла к Моисею, я вставала по утрам, умывалась, причесывалась каждый день.

А сейчас? Пока я борюсь с собой, заставляя себя встать, наступает вечер. Иногда я по нескольку дней подряд почти не встаю с постели. Только встаю покормить Сашеньку, покормлю и тут же ложусь назад в постель. Какой уж там душ! Разве при хорошем психотерапевте доходят до такого? Очковтиратель Моисей. Надо искать другие пути-выходы.

Какие же пути? Что делать?

Оглядываясь назад, теперь, много лет спустя, я понимаю, что бывают такие стихийные бедствия, которые долго собираются, а уж когда ты начинаешь что-то активно предпринимать за пять секунд до катастрофы, даже самые умелые, опытные мастера уже бессильны это остановить. Сейчас, много лет спустя, мне видно,

что Моисей все делал правильно, только пришла я к нему за пять секунд до катастрофы. Тогда же я рассуждала так: я добросовестно ходила к Моисею, а мне стало хуже, значит, Моисей очковтиратель.

* * *

Выписывание слов из словаря и зубрежка вгоняют меня в сон, против которого, я уже вижу, невозможно бороться. Зазубривание слов – это совершенно бесполезная затея. Внимание отключается, как его ни насилуй.

Мне пришла в голову удивительная идея!

А что, если взять какую-то очень любимую книгу, которую практически знаешь наизусть и читать ее на английском языке?!

Во-первых, любопытно, как все это звучит по-английски (уже не заснешь!). Во-вторых, переводить можно автоматически, без словаря, так как русский вариант помнишь наизусть, а английский держишь перед собой. Таким образом, я избавляюсь от нуднейшей, ненавистнейшей необходимости копаться в словаре! Такой метод изучать английский, пожалуй, даже интересен.

Для начала взяла простое и небольшое детское произведение – с детства любимую сказку «Гадкий утенок». Каждое слово мне известно, каждую сцену помню наизусть. Читаю, практически свободно, ведь текст такой знакомый… но вот что интересно: по мере нарастания моего интереса, нарастает во мне желание встать и взять с полки «настоящий» – русский – вариант любимой сказки.

Смешно и грустно. Ведь Андерсен написал эту сказку не по-русски, я это знаю. А порыв такой: взять «настоящий» вариант, на русском языке.

Представьте себе, вас угощают вашим любимым фруктом: вы надкусываете, вы чувствуете на языке его тяжесть и объем во рту, вы знаете, что это ваш любимый фрукт, но язык ваш, словно натерт новокаином. Что-то мешает… Вы не чувствуете вкуса…

Что это?

Еле удерживаюсь, чтобы не встать за русской книгой.

«Я читаю это не для удовольствия», – напоминаю я себе.

Продолжаю сидеть с английской книгой, в буквальном смысле слова мучаясь от навязчивого желания взять естественный (русский) вариант и свободно нырнуть в него.

Не выдержала.

Все-таки не выдержала!

О Господи! Какая райская свобода!

Какая яркость красок! Какое удивительное чувство естественности, легкости, раздолья, когда ничего нигде не жмет, ничего не мучает, когда ты можешь с легкостью забыть, что ты вообще читаешь, а просто-напросто переселиться в тот мир и жить в нем.

Неужели я навсегда останусь на костылях? Неужели английский и впрямь нереальная задача?!

* * *

Свежий номер русской газеты. С «Русской жизнью» у меня все так же, как с холодильником. Меня тошнит от нее, а я опять к ней. А что делать?.. Невозможно сидеть все время в изоляции!

В занятой салон требуется маникюрша, выполняющая все виды работ с ногтями…

Требуется опытный слесарь, владеющий сваркой, для работы в реставрационной мастерской.

Срочно требуется женщина к девочке-инвалиду…

В салон-ателье по пошиву вечерних и свадебных платьев требуются профессиональные швеи…

И вдруг! Объявление:

Требуется молодая актриса, 20–25 лет, говорящая по-русски, для съемок в фильме. Образование и опыт работы не обязательны.

Если бы у меня был волшебный ковер-самолет, то и тогда я не примчалась бы на интервью быстрее, чем примчалась сейчас. Ребенок – не помеха, ребенка в зубы – и к маме! Сонливость – как рукой сняло, вмиг! Примчалась, искрясь, вдруг забурлившей энергией и надеждой: неужели, неужели случай представится и я вырулю?!!!

Обычный жилой дом. Как только я вошла, меня поразило количество пар обуви, выстроенных у входа: все мужские туфли, примерно шестнадцать тысяч пар, а может, и больше. Дверь открыл седой бородатый мужчина в кожаной куртке и с большими перстнями на пальцах. «Дон Жуан, – подумала я. – Зачем нормальному мужчине столько пар туфель?» Он говорил по-русски (что, впрочем, еще по телефону я узнала), он приехал в Америку из Киева.

Звали его Рудольф. Фильм он снимал для какой-то американской компании. Посреди зала стояла камера, которая почему-то мне показалась обычной домашней камерой. Не было ни съемочной группы, ни осветителей, ни даже оператора. Он один, и я одна. На минутку мне стало страшно: опять я угодила в ловушку. Хоть бы ассистентка какая-то была или секретарша. Наверно, это он все сочиняет, что фильм снимает. Однако седоволосый пока вел себя вполне прилично.

– Как тебя зовут, лапонька? – пробасил он, закурив сигарету. – Хочешь? – предложил мне закурить.

Я рассказала о себе в общих чертах.

– Покрутись, лапонька, перед камерой. – Он уселся поудобней в кресле и запрокинул ногу на ногу.

Я последовала его просьбе.

– Смелей, смелей!

– Как-то неловко просто крутиться. Может, мне отрывок прочитать?

– Отрывок? Ну прочитай.

Я стала читать отрывок из поэмы Есенина «Черный человек». Очень волновалась. Все-таки я неопытная актриса. С другой стороны, пусть этот еще радуется, если я в его фильме снимусь, он, кажется, еще больше дилетант, чем я. Хотя, кто его знает: вид обманчив.

– Лапонька, достаточно. Раздевайся теперь.

– Что?

– Раздевайся, раздевайся! Никто тебя тут есть не собирается. В фильме есть сексуальные сцены, я должен видеть, как ты выглядишь на экране обнаженной.

Постояв с минуту и помешкав, я подошла к дивану и принялась надевать куртку.

– Что это ты? Куда ты собралась?

– Я ухожу, Рудольф. До свиданья.

– Ты не хочешь сниматься в кино?

– «Снимайте» другую дуру!

* * *

Не успела я приехать домой, Рудольф позвонил мне и выразил крайнее недоумение, почему же это я уехала.

– Что это у тебя столько гонора? Думаешь, нет получше тебя? Красивей тебя? Роль ты, лапонька, потеряла, по совершенной глупости.

– Рудольф, вы позвонили, чтобы мне об этом сказать?

– Нет, ну если хочешь, мы можем остаться друзьями… Могу тебя пригласить в кафе, а лапонька?

«Дедушка, ты на себя в зеркало, когда смотрел в последний раз?» – подумала я про себя, а вслух вежливо ответила, что не люблю кофе.

– Не любишь кофе? Так я тебе винца, а?

– Нет, Рудольф, спасибо. Я не могу.

– А чего ты так боишься! Ты же у меня в доме была, со мной, один на один! Я тебя тронул?

– Нет.

– Так чего ты боишься?

– Я не боюсь. Я просто не хочу ехать с вами куда-то, потому что мы с вами не пара.

– Не пара! Вот бесят меня эти молодые девки! Это пока тебе двадцать лет, ты так носом вертишь, а подожди, вот пройдет лет так пяток, посмотрим, какая ты сразу сговорчивая станешь… Посмотрим на тебя, когда тебе будет тридцать! Ты сама меня умолять начнешь…

– Ах, когда мне будет три-и-дцать!.. Когда мне будет тридцать, можете меня закопать.

С большим трудом мне удалось отвязаться от назойливого Рудольфа. Не успела я повесить трубку и вздохнуть с облегчением, как снова зазвонил телефон. Я удивилась. Замирая, снова сняла трубку: кто бы это мог быть?

А это опять звонил Рудольф. Кто же мог еще мне позвонить? Почему я все время кого-то жду? Кого я жду???

– Послушай, лапонька, приезжай ко мне, я тебе двадцать долларов дам. А? Что, от тебя кусок отпадет, а? Я клянусь, об этом никто не узнает! А ты себе платье красивое купишь.

От неожиданности я просто онемела. Неужели я могла произвести впечатление, что мне можно такое предлагать.

– Неужели я похожа на такую? – искренне озадаченно спросила я.

– Какую «такую», человечек? Чего ты боишься?

Он довел меня в тот вечер до того, что мне пришлось грубо, по-хамски бросить трубку и затем весь вечер не подходить к телефону.

* * *

Просыпаться не хочется, но сознание, помимо моего желания, слабо яснеет, и я вспоминаю, что я в Нью-Йорке, в темной квартире, в свинцовых оковах безысходности и что уже давно не

утро.

Почти с физической болью я созерцаю, как кровать моя вместе с безжизненно лежащим на ней моим телом висит и качается над бескрайним пространством огромного Нью-Йорка. Город этот представляется мне как гигантское пустое, начисто выбеленное пространство, где нет ни дорог, ни заведений, ни стрелок указателей: одна пустота. Пустота в моем сознании. Я знаю, город живет сложной богатой жизнью, но я ничего о нем не знаю. Как узнать? С чего начать? Куда пойти? У кого спросить?

Лежа в постели с закрытыми глазами, я мысленно ищу точку, откуда я могла бы начать, оттолкнуться. Ищу что-нибудь, за что зацепиться. Город этот бурлит подо мной, как мощный океан, а квартира моя со всем в ней находящимся, включая меня, – это плот, брошенный в самую середину океана.

Что мне делать? Если бы я знала, что именно надо сделать, я бы сделала все!

Нет ничего такого, что было бы мне не по силам! Все зло только в том, что я не знаю, что делать.

Пойти в аэропорт, взять билет и сесть в самолет?

Как это просто: взять билет и сесть в самолет.

Нужно писать какие-то письма в Советское посольство, возбуждать какие-то ходатайства… все это превращает мой приезд на Родину в слишком ответственный шаг. У меня здесь, в США, «заложники» – вся моя семья. Я не могу отречься от них… ни ради каких благ на свете… Значит, лежи… продолжай лежать в своем изоляторе и не дергайся…

Вдруг гугуканье, сладкий зевок, удар погремушки… Мой барбосик, мой малыш, оказывается, давно проснулся и лежит, молчит. Я совсем забыла про него. Я часто забываю о его существовании. Порой изданный им звук или его движение, как обухом по голове, возвращают меня к действительности: я была замужем, у меня родился сын… Слышишь? У тебя есть сын! Прекрати об этом забывать!

Я как будто заснула в день, когда уехала из Союза, и моя память сохранила все, что было со мной до отъезда, а все остальное, что произошло со мной уже здесь, когда я спала, я не помню и не чувствую.

При воспоминании о ребенке мои последние мучительные сомнения, не уехать ли назад, исчезают. Разве я могу уехать с ребенком? А бросить его и уехать могу? Тоже не могу. Вот вопрос сам по себе и решен.

* * *

Еще одна статья в «Русской жизни».

Наш духовный лидер и вождь Владимир Ильич Ленин оказывается на самом деле был монстр и зверь, а далеко не великий гений с большой и доброй душой, как нам всем с детства внушали.

«Он приказал согнать весь цвет русской интеллигенции на один большой корабль и выслать их из страны. Было приказано Лениным, по дороге утопить корабль, чтобы никого из сосланных не осталось в живых»… – говорилось в статье.

«Он (Ленин) приказал расстрелять всю семью Романовых, включая ни в чем не повинных юных княжон, детей, слуг и даже домашних животных. Романовых не просто расстреляли, как того хотел Ленин, а лица им разбили прикладами до неузнаваемости и в общем грузовике отвезли далеко-далеко, чтобы закопать бог весть где, без могилы и без почестей»…

Я корчилась от каждого в подробностях описанного факта, как от пуль, посылаемых в мой живот. Почему мне было так больно от того, что я читала? Разве когда-нибудь я любила Ленина? Разве не я смеялась вместе с другими школьниками над всей этой просоветской пропагандой, которую вели в школе и повсюду? Неужели этот человек был важен для меня, а я и не подозревала об этом?

Впервые в жизни прочитав о нем неуважительные слова, я вдруг, неожиданно для самой себя, почувствовала такой протест и такую боль, как будто это моего родного отца с дерьмом мешали, а не чужого далекого дядьку, все мое детство смотревшего на меня со школьных портретов. Это было даже еще больней, чем если бы оскорбляли моего отца. Смешивая с дерьмом Ленина, автор статьи нарушал в моем организме какой-то, чуть ли не химический баланс, от которого зависело равновесие всей моей психики. Особенно разрушительно было невольное интуитивное понимание, что все написанное, может быть, и правда.

В страшных муках, ловя губами воздух, синея, как в предсмертной агонии, корчилось мое сознание. Пули стреляли воистину, стреляли по моему сознанию, стреляли столько раз, чтобы не оставалось никакого шанса выжить.

С расстрелянным, обезображенным до неузнаваемости сознанием, оказывается, увы, человек все еще, к большому сожаленью, остается жить.

Пожалуй, это не из-за Ленина мне так больно, просто Ленин олицетворяет всю систему моих ценностей. Покушаются на весь мой костяк, который уже затвердел и который уже не изменить.

Если бы я смогла, я готова была взорвать, разорвать на части того, кто посмел на все это покушаться. Ненависть, возбуждаемая во мне автором статьи и газетой, печатающей эти мерзости, как соляная кислота, разъедала мою печень.

Вспоминаю фильмы про войну. Профессор Плейшнер носил с собой капсулу с ядом, чтобы уйти из жизни легко, не позволить фашистам над собой долго издеваться. С завистью думаю о том, что в его случае все было ясно. В моем случае можно принять меня за сумасшедшую: ведь на самом деле никто меня не трогает, не преследует, не пытает. Кому я нужна? Просто это я так все болезненно воспринимаю. Вроде и нет повода вешаться. А чувствую себя так, что завидую повешенным.

Ненавижу эту страну, которая во всем и во всех выискивает и находит одни пороки, ненавижу эту газету, «Русскую жизнь», которая каждый день что-нибудь подобное печатает. Не буду больше покупать «Русскую жизнь». Не буду выходить больше из дома. Занавешу окна шторами, запру двери, спрячусь от этого гнилого мира и буду слушать только своих, советских, бардов. Пусть звучат в моей жизни и моем сознании только их утверждающие светлое и доброе в человеке голоса!

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
Вдруг захотелось в ноженьки валиться,
Поверить в очарованность свою.

И муравья тогда покой покинул,
Все показалось будничным ему.
И муравей создал себе Богиню…
По образу и духу своему…

* * *

Когда я смотрю советские фильмы, читаю русские книги, слушаю русские пластинки, я вижу Человека, который «звучит гордо». Я вижу Ленина, доброго, мудрого, достойного для подражания, высокоорганизованного, целеустремленного, гениального суперчеловека, дело которого останется жить в веках.

Когда я читаю здешние газеты – тот же Ленин, наш гениальный Ленин, открывается маленьким плюгавеньким гнилым человечком, убийцей, проходимцем и подлецом. Обе

страны очень убедительно заявляют совершенно противоположное.

Мое сознание трещит, раздваиваясь. Кто говорит правду? Что есть настоящая истина?

Я вижу сотни, тысячи персонажей советских фильмов и героев нашей литературы, которые достойны называться людьми и через которых воспеваются добрые и светлые начала. Был даже памятник советскому солдату, который спас чужую ему совершенно девочку, несмотря на войну и на то, что девочка была немкой, а Германия воевала с Союзом. Судя по советскому искусству, даже чужие люди, даже порой враги помогают друг другу и проявляют доброту и человечность.

В Америке же, судя по тому, что рассказывают их газеты, книги, фильмы, – все люди или убийцы, или маньяки, или дегенераты, или предатели, или воры, или подонки. Любой человек у них способен на убийство. Практически каждый герой американского фильма вооружен. Мало – вооружен, ему ничего не стоит выстрелить из своего пистолета в любую минуту и в любого человека. В американской культуре даже брат брата убивает с легкостью, ни минуты не мешкая, в погоне за какими-то там капиталами… Отец убивает сына, сын отца, муж жену, а жена мужа. У них это норма жизни.

Как-то раз смотрела их ток-шоу: выходит девица и объявляет во всеуслышание: «Моя бабушка переспала с моим бойфрендом».

Нет, вы только вдумайтесь – бабушка переспала… Когда мама переспала – это уже никого не шокирует и не удивляет. А им нужен шок. Даже то, что бабушка переспала, им мало.

«Моему бойфренду так понравилась моя бабушка в постели, – продолжает рассказывать девица, – что он уговорил и меня переспать с моей бабушкой. Мы все втроем имели оргию»…

Я не комментирую. Я в их глазах – закомплексованный советский человек. Меня можно только жалеть. Они – свободны и телом и духом. Да здравствует Америка! Я не комментирую.

Все (в интерпретации американцев), даже те, кого мы, советские люди, всегда знали как великих благодетелей, оказывается, на самом деле маразматики, садисты, развратники, некрофилы или педофилы.

Толстой у них – это просто старик-развратник, перетрахавший на сеновале всех своих служанок, выживший из ума маразматик, покинувший свой дом лишь потому, что от безделья не знал, чем ему заняться. «Анна Каренина» в интерпретации «Голливуда» – это бульварный роман, в котором жена изменяет мужу, а затем напыщенно и драматично бросается под паровоз просто ради красивого жеста. Пушкин у них здесь

вовсе не тот Пушкин, которого мы все знали и любили, а писака пошленьких матерных поэм и частушек, послушав которые, волосы дыбом встают на голове: неужели наш Пушкин, автор «Повестей Белкина» и «Евгения Онегина», неужели в самом деле это он писал такую непристойную пошлятину?!

Льюис Кэрролл, автор самой неисчерпаемой сказки в мире, как оказывается, «по мнению большинства исследователей», был просто-напросто педофилом, а сказку свою сочинил только из побуждения трахнуть десятилетнюю Алису. А может быть, он даже ее и трахнул, кто теперь поручится, что нет.

«Вопрос, который сохраняет актуальность: был ли автор классических детских книг об Алисе педофилом? – пишет автор статьи о знаменитом писателе. – А если был, как склонно думать большинство исследователей, то каким – латентным, в мечтах и грезах, или реальным? Что связывало Кэрролла с десятилетней Алисой Лидделл, ради которой он написал свою сказочную героиню и которая послужила ее прообразом? Достаточно ли оснований подозревать классика в патологических и преступных поползновениях?»…

Цитирую далее.

«…Он всю жизнь вел дневник, в котором винился за свои грехи, правда, не называя их. Просил Бога дать ему силы в борьбе с соблазнами и собственной греховностью. Поскольку Льюис Кэрролл был еще и священником, а все священники, как известно, извращенцы и сексуальные маньяки, то сомнений в греховности Кэрролла остается мало»…

Чисто американский подход, «все священники – извращенцы и сексуальные маньяки». Кому еще в голову придет такое сказать?

«…Как далеко в страну чудес завел он эту девочку с взрослым выражением лица, которая послужила ему моделью и музой? Была ли она еще и его возлюбленной? Состоялось ли грехопадение или обошлось? В чем кается Льюис Кэрролл в своем дневнике – в греховных помыслах или в совершенных грехах? Вопросы навсегда безответные»…

Стреляйте, стреляйте, избивайте, убивайте! Только прекратите мучить! А сознание мое живуче. Сильно и живуче. Пули его не берут, ни пулеметы. Замучено, бездыханно, изуродовано, обезображено – увы, оно все еще живет…

* * *

Невероятно! Даже после бодрящей зарядки, после холодного душа, стоит мне сесть за свой письменный стол, не проходит и пятнадцати минут, как на меня наползает сонливость. Какая-нибудь царапина на стене или на столе может загипнотизировать меня так, что я отвлекаюсь от своего занятия на увесистый отрезок времени. Как будто стол и кресло, на котором я сижу, источают усыпляющий газ. Это что-то очень навязчивое. Вначале мне казалось, что я не выспалась или что-то такое, но теперь вижу, что это кресло собьет любую энергию. Или это изучение английского языка – такое монотонное занятие, что скука погружает меня в сон? О-о-о-о-ох!!! Сколько же можно зевать?!..

Пробовала писать свою повесть – тоже не идет. Мучение невыносимое.

* * *

Включила телевизор. Новости. Чернокожая мамаша нанесла своей пятилетней дочери 38 ножевых ранений. Девочка скончалась, не доехав до госпиталя. Вопрос состоит в том: совершила ли мамаша сей мерзкий поступок в полном уме или в невменяемом состоянии? Вот что рассказывает подруга убийцы.

– Мы сидели, болтали. Она кормила девочку. Та что-то начала шалить, а моя подруга схватила вдруг нож со стола и в ярости накинулась на ребенка. Ребенок убегал, а мать настигала его, нанося один удар за другим, одно ранение за другим. Девочке удалось сбежать по лестнице, выбежать на улицу и даже еще пробежать полблока. Здесь она упала без сил, мать нанесла ей последний, 38-й удар, и девочка скончалась…..

Комментировать здесь что-либо, наверно, излишне. Выключила телевизор. Как будто яду проглотила. Если до того, как я включила ТВ, я была в хандре и апатии, то теперь я просто умерла.

В эту страну эмигрировал мой отец – по идеологическим соображениям???

* * *

Зазвонил телефон. Я встала, потом заметила, что встала от напряженной надежды: мне постоянно кажется, что кто-то непременно позвонит мне или постучит в дверь… Кто-то неожиданно возникнет в моей жизни… и спасет! Можно было не вставать, дура ты этакая, а просто снять трубку. Кто же это

звонил?

Это был Рудольф.

– Ну что, лапонька, ты еще не созрела со мной на чашечку кофе выйти?

– Рудольф, прекратите мне звонить, я никогда не созрею.

– Ну хорошо. Хорошо. Я дам тебе пятьдесят долларов! Пятьдесят! Ну неужели мало предлагаю? Можешь со мной даже не трахаться. Просто разденешься, я на тебя посмотрю, подрочу и отвезу тебя домой. Ну что, от тебя что ли кусок отвалится? Ни один человек не узнает! Я клянусь, лапонька!..

Пришлось снова грубо повесить трубку. А что еще оставалось делать? Как себя вести с такими людьми? По-человечески объяснить ему невозможно.

* * *

Повесила трубку, и снова пустота зияющая.

Интересное наблюдение. В последнее время по-черному злоупотребляю едой. Холодильник разряжает все мои конфликты, такая нагрузка на нем, что невольно стала опасаться, не испорчу ли себе фигуру. Вот что удивительно: ем, ем и ем, а ничегошеньки в весе не прибавляю. Смотрю в зеркало, худющая-худющая. Значит, это гены. Ешь – не ешь, какая есть, такой и будешь.

* * *

Звонит телефон. Я решила не подходить. Однако с каждым звонком не брать трубку становилось все труднее: а вдруг это звонил не Рудольф, а кто-то другой. Я так сейчас нуждалась в этом «ком-то». Сняла трубку, не выдержала. Это звонила Танька, та с которой мы в колледже учились.

Как хорошо, что я сняла трубку! Танька звала меня на вечеринку, куда ее только что пригласили, но поскольку ехать очень далеко, в Квинс, она не хотела бы ехать одна и решила взять меня с собой. Поеду ли я? Как можно сомневаться?! Конечно, поеду! Ничего, ничего, что звонок прямо впритык, ничего, что поздно, ничего, что ребенок!

Если бы путь от моего дома в Бруклине до Квинса, где должно было состояться пари[18], был весь устлан колючками или гвоздями, я все равно бы помчалась туда и, скорее всего, даже не заметила бы этих колючек или гвоздей.

Я сидела уже бог весть сколько времени заточенная в одиночной камере, с маленьким ребенком, ползающим по квартире, умирая от тоски, умирая от безысходности, от отсутствия людей, от отсутствия любви… И вдруг! Молодежная вечеринка! Вечеринка, где будут все «русские», т. е. все свои. Раз вечеринка, значит, сразу будет много-много людей! Даже, если бы улицы Бруклина и Квинса полыхали пожарами, то и по огню я бы в зубах пронесла коляску с ребенком до маминого дома, а потом, по огню все еще, в Квинс, на эту вечеринку.

Удивляет меня всегда одно и то же: как сонная, полная хандры, больная, я вдруг от одной простой новости превращаюсь в наделенного сверхъестественной силой человека, готового и способного и «коня на скаку остановить», и «в горящую избу войти».

* * *

Дверь нам открыл какой-то молодой человек. Меня удивило, что глаза у него были такие красные и он аж качался, такой был сонный: зачем было приходить на пари, если так хочется спать? Не могли что ли открыть другие? Но через минуту я уже забыла о нем, меня распирало желание войти, всех увидеть, мне казалось, что вот-вот и свершится то чудо, о котором я мечтала столько дней и ночей, лежа в своей темной квартире: наконец я встречу людей, а может быть, даже так повезет, что я встречу, наконец его…

Неужели наступил этот час…

Мы прошли, разделись. Квартира была приличная, на кухне тот же сонный парень предложил нам выпить, закусить. Мне нетерпелось выйти в зал. Там были все: я слышала это по звукам музыки и крикам, которые доносились оттуда. Хотя, прислушавшись, я различила, что это один и тот же голос, монотонно, с интервалом в 1–2 минуты, выкрикивал одну и ту же фразу, как будто его заело:

– Илья, бля… еб твою мать, бля…. – Затишье и через минуту-другую с новой неистовой силой тот же голос орал: – И-лья!!! Бля!.. Еб твою мать, бля… – снова затишье, снова все по кругу.

Конечно, возможно я из Нальчика, деревня… Здесь столица… Нью-Йорк! И все же меня коробил этот резкий мат. Как-то мне это резало ухо и было не по нутру. Я понимала, что на вечеринках такое бывает, напьется кто-нибудь – поди его успокой.

– Я пойду в зал, – сказала я Таньке.

Еще из коридора я увидела таинственный полумрак и

силуэты людей, раскинувшихся на диване, на креслах, на полу. В центре комнаты, высокий молодой человек в белой рубашке и в джинсах прямо в ботинках стоял на столе (нормально!) и, исходя слюной, раскачиваясь так, что постоянно казалось, что он вот-вот сейчас рухнет со стола, уже в который раз, до хрипоты повторял одно и то же:

– И-и-лья!!! Блядь!!! Еб твою мать! Блядь!!!.. – Стоял, покачивался, едва удерживал равновесие, чтобы не упасть, и через несколько секунд снова орал: – Илья, блядь!!! Еб твою мать, блядь…

Прямо у входа в зал какой-то молодой человек, выбежав из боковой комнаты с диким смехом, чуть не сбил меня с ног. Он ввалился в зал, корчась от смеха и топая ногами. Я заглянула в открытую дверь боковой комнаты. Взгляд мой мгновенно зарегистрировал, как щелчок фотоаппарата, в полумраке на большой двуспальней кровати два силуэта обнаженных тел, темнеющие на полу кучи одежды, скинутые на пол подушки. Как будто меня кто-то укусил, я подалась назад в смущении, стараясь забыть то, что увидела, то, что не должна была увидеть. Странно и дико мне было то, что я увидела. Еще более дико мне было то, что дверь в комнату даже не была прикрыта.

Я вошла в зал. Казалось, я попала в сонное, глухое и немое царство. На полу валялись несколько человек, раскинувшись в самых разных позах. На диване, покачиваясь, как сонные мухи, сидели несколько девочек, сильно накрашенных и одетых на американский лад. Среди них сидел парень в черной футболке и джинсах и держал на коленях одурманенную (не то от поцелуев, не то от вина) блондинку с густо накрашенными ресницами, и они то ли спали в такой позе, то ли целовались во сне. В углу, развалившись на кресле и закинув ноги прямо в сапогах на журнальный столик, лежал без движения другой молодой человек. Все они сидели (или лежали), как живая иллюстрация к сказке Жукова, где во всем царстве не оставалось никого живого, кто бы не уснул. Каждый замер и заснул, прямо так, кто в какой позе был. Казалось, никто не шевелился. Никто не отреагировал на оглушительный хохот, только что ввалившегося в зал парня, все застыли в своих позах, и только блондинка продолжала отчаянно-сонно целоваться с парнем в джинсах, на коленях которого сидела. Слабая лампа торшера освещала комнату, и как бы сама по себе, на всю мощь играла музыка.

– Уторчались в дым, – сказала Танька, входя в зал за мной следом.

– Что это они все так странно сидят? – спросила я ее шепотом. – Что это с ними?

– Торчат.

– Торчат? Как торчат? – не поняла я.

– Обкурились, не видишь что ли! – шепнула Танька с таким выражением на лице, что я будто не от мира сего.

Я еще раз повнимательнее посмотрела на всех вокруг. Взгляд мой остановился на лице одной из девушек, которая сидела прямо под торшером и потому ее лицо можно было рассмотреть. Глаза ее мутно-тупо и упрямо смотрели куда-то вдаль перед собой, голова слегка качалась, как неодушевленный предмет. Вдруг парень на кресле задрыгал ногами, изо всех сил ударяя каблуками о стол.

– Убери бодало, моргало выколю! – проревел он животным ревом.

Тот, что стоял на столе и всю дорогу качался, угрожая упасть, тоже через минуту выкрикнул свою заеденную фразу.

– Илья, бля! Еб твою мать, бля!

Они пробуждались и затихали попеременно. Я снова вернулась взглядом к девушке. Глаза ее все так же мутно и бессмысленно смотрели перед собой. Было что-то жуткое в этом взгляде: такой взгляд, вероятно, бывает у сумасшедших после буйного припадка, когда они, разорвав на себе одежду и волосы, впадают в затишье.

– И это что, все они обкуренные? – недоумевая спросила я.

– Да, – пожав плечами, улыбнулась Танька.

– Все?! Поголовно?! Не может быть! – не поверила я.

– А здесь в Америке все курят!

– Убери бодало! Моргало выколю! – заорал опять, топая о полированный столик своими ботинками парень в углу, но тут же затих.

В раскрытую дверь соседней комнаты, откуда меня только что вмиг выбросило, вошли возникшие непонятно откуда несколько человек: две девушки и один парень. Меня удивило, что они преспокойненько туда зашли, но ни через секунду, ни через минуту, ни через десять минут их не видно было обратно. Может быть, те двое уже успели одеться: я не решалась заглянуть.

– А-а-а-а, – вдруг раздался сонно-хрипловатый женский голос: – Новенькая?! Свеженькая!

Глупо улыбаясь во весь свой влажный рот и глядя на меня своими загадочно-свихнутыми красными глазами, подошедшая откуда-то из другой комнаты девушка смотрела на меня, как младенцы смотрят, когда им протянули погремушку.

– Чуждо тебе все это, да? – участливо спросила она.

Я смотрела на нее и ничего не отвечала.

– Привыкнешь… все мы первое время глаза таращили. Ко

всему человек привыкает.

Я переглотнула слюну.

– А потом, постепе-енно… все постепе-енно. И я была вот точно такой, как ты, – говорила она, с нежностью рассматривая меня. – Что-о-о??? Оргия??? Наркотики??? Мне было дико даже слышать! Слышать! От одной мысли иметь двух парней разом мне становилось дурно…

Я слушала ее и чувствовала, что мне действительно было дурно. Вовсе не потому, что слова девушки как-то пугали меня, нет: даже если бы сто таких, как она, сказали мне то же самое хором, я знала так же ясно, как видела ее перед собой, что никогда не опущусь до такого отвратительного зрелища, в какие бы условия жизни, в какую бы среду я ни попала. Я скорее умру, чем так опущусь. Дурно мне было оттого, что жутко было.

– Убери бодало! Моргало выколю! – вопил парень в кресле.

– Илья, блядь! А где Илья? Еб твою мать, блядь! Где Илья? – орал, качаясь на столе другой.

Все остальные невозмутимо спали, сидя вдоль стен, и во сне покачивались.

Столько людей собрались на вечеринку не для того, чтобы пообщаться, поговорить о чем-то интересном, стихи почитать, потанцевать, побеситься, наконец… нет, а для того, чтобы всем дружно обкуриться и поспать! Это, должно быть, сногсшибательно интересно!

Удивляло меня еще и то, как им удалось всем так вместе одновременно заснуть. Все это мне казалось подозрительным и странным. Однако, пройдя такой путь – от Бруклина до Квинса, – я не спешила развернуться и уйти. Мы с Танькой присели на диване.

Худющий вопил все то же самое, качаясь на столе. Остальные все спали. Стоило ради этого ехать такое расстояние, да еще в столь поздний час, одним. Посидев полчаса и окончательно поняв, что ничего не произойдет другого, кроме того, что мы видим, мы с Танькой решили, что нам пора смываться. Мы решили смываться тихо, никого не оповещая. Выйдем так, ненавязчиво, «покурить» и смоемся.

– Ты что, не понимаешь, они все обкурились?! – смеялась надо мной Танька. – Ну ты даешь, что никогда обкуренных не видела?

Я видела в колледже, как марихуану курили, но, чтобы все такие сонные были, такого не видела.

– Так это просто разные дозы. Эти обкурились в дупель. Может, даже смешали травку с водярой.

– А ты, что, поехала на пари, не зная человека, который тебя

позвал?

– Да, нет, я знаю его, он нормальный парень, со мной в колледже учится. Просто сегодня он на радостях обкурился.

– Нормальный? – мне трудно было понять, как нормальный мог так обкуриться.

Понятие «нормальный человек» и то, что я сегодня видела на пари, никак не вязалось в моем понимании.

– Зачем было нас звать? – возмущалась я. – Все равно он даже не понял, что мы пришли. Мог бы обкуриться сам с собой. Зачем звать столько людей, чтобы потом спать?!

– Ну ты в своем репертуаре! – смеялась Танька. – Слушай, такие ломки домой ехать, пойдем что ли зайдем в бар какой-нибудь? Ну нужно, нужно… – говорила она отчаянно тряся руками, – нужно кого-нибудь подцепить!

– В баре? Там же одни американцы… – сомневалась я, но мне тоже страшно не хотелось возвращаться домой ни с чем. Такой во мне был взмыв энергии, надежды, желания любить, он переполнял меня всю, до краев, мне казалось, я сегодня ночью взорвусь, если вернусь со всем этим, вышедшим из берегов, домой.

* * *

Одного из них звали Рон. Рон был русоголовый, длинноволосый, худощавый и с большими грустно-мечтательными карими глазами. Второго звали Гэри. Гэри был коренастый, рослый, черноглазый и черноволосый, коротко постриженный молодой человек. Гэри ухаживал за Танькой. Рон ухаживал за мной. Они были израильтяне. Говорили между собой на иврите. Их речь звучала как музыка. Красивый язык, иврит. Из бара они повезли нас в какое-то кафе. Из кафе снова в какой-то другой бар. Так до утра.

– Здесь так принято – за одну ночь посещать по дюжине баров, – пояснила мне Танька, заметив мое недоумение: зачем снова ехать в бар, если мы только что из бара уехали?

К моему удивлению, Танька тут же начала целоваться взасос со своим Гэри. Он лапал ее повсюду, а она только хихикала и никак не сопротивлялась. При том, что я все на свете бы отдала, чтобы наконец испытать эти долгожданные головокружительные поцелуи и объятия, я не могла пересилить внутри себя некий барьер. Я не могла вот так, сразу, не зная человека, не влюбившись в него.

А влюбиться за один вечер, при всей своей «голодности», я не

могла. Уже не говорю о том, что позволила себе всерьез рассматривать кандидатуру иностранца, который не мог связать двух слов в беседе со мной, т. к. он плохо говорил по-английски, а я плохо понимала даже то малое, что он мог выжать из себя. Духовного контакта в такой ситуации быть не могло, а любви без духовной близости я не признаю. Голые поцелуи мне не нужны: мне нужна любовь. Даже не просто любовь, а Любовь – умопомрачительная, все смывающая, единственная, на всю жизнь!

В том, что я запала на Рона, несмотря на то, что он был, как немой звереныш, который все терся вокруг меня, был свой секрет. Это было не случайно и не только потому, что я уже озверела от одиночества. Рон очень был похож внешне на Вовку Снегирева, мою первую любовь в школе.

Увидев Рона, я реагировала на его внешний облик, что вообще нехарактерно для меня, и реакция эта была сильней меня самой. Его большие задумчивые печальные глаза, так близко находившиеся от меня, копна русых волос у самого моего лица, этот влюбленный, полный преклонения и преданности взгляд – все это в считанные часы опьянило меня, закружило мне голову. И все же голова хорошо понимала: это не любовь, я его совсем не знаю.

Было что-то сильней меня, что непреодолимо влекло меня встретиться с Роном и на следующий день. Сашка все эти дни был у мамы. Возвращаясь домой утром, я весь день спала, а вечером шла на свидание с Роном. Они приезжали за мной всей веселой компанией: Танька, Гэри и Рон. Мы ездили по барам, потом ехали к кому-то домой. Танька вовсю трахалась со своим Гэри уже со второй встречи, а Рон и я, сидели в соседней комнате, глядя в глаза друг другу, приподнятые метра на три над землей. Он делал попытки обнять меня или придвинуть свое лицо к моим губам, но я так терялась и сопротивлялась, что он только со вздохом покорно переносил мои выходки.

Так было три ночи. На четвертый день Гэри приехал к Таньке без Рона. Рон не приехал и не позвонил. Я была удивлена и не могла понять, что случилось. Конечно, всякое могло случиться, но позвонить-то он мог. Рон не позвонил и на следующий день, и через день, и через неделю. Рон исчез.

Хандра, депрессия и боль, похлеще той, что была до знакомства с Роном, заволокли мою помертвевшую пуще прежнего квартиру, и черная пропасть кровати совсем проглотила меня. В тоске позвонила Таньке:

– Гэри у тебя?

– У меня, – участливо сказала Танька. – Ты все переживаешь из-за Рона?

Впервые за все эти тяжелейшие дни слезы брызнули из меня безудержным потоком. Сидела с трубкой в руках и не могла говорить дальше от слез.

– Ну мог он элементарно позвонить и объяснить, что произошло?.. Как он мог так вот взять и исчезнуть?!

– Ты понимаешь… – мялась Танька, – ты же не даешь ему… Он и решил, что с тобой не стоит терять время. Мужики… ведь они такие.

– Из-за этого он исчез?! – выговорила я сквозь слезы. – Что ты, Танька! С чего ты это взяла?

– Мне Гэри сказал.

– Ты поверила ему?

– А зачем ему врать?

– А что ему сказать? Не скажет же он тебе, что Рону просто-напросто наплевать на меня. Вот он тебе и сочиняет. Сама подумай, разве можно бросить человека за то, что он с трех свиданий с тобой не переспал?

– Ну они же мужики!!!

– А мужики, что, не люди? Если бы он ко мне что-то всерьез чувствовал, разве мог бы он так исчезнуть, после… – слезы снова навернулись мне на глаза, душили меня, – …после всего, что было…

– А что было? Ничего ведь не было! Ты же не позволяла ему даже поцеловать себя!

– А то сколько мы сидели вместе? А эти взгляды? А эта близость… без слов, без прикосновений… – я задохнулась от боли.

– Пойми ты, это Америка! Здесь все по-другому! Здесь тебе не Нальчик, где целки в моде! Если ты не спишь с мужиком, ты ему не нужна.

Я плакала, слушала и соображала: верить Таньке или не верить?

Танька передала трубку Гэри.

– Кончай реветь, ты сама во всем виновата! – сказал Гэри участливо, но по-мужски твердо. – Я тебе говорю, хочешь, я все исправлю. Дай слово, что перестанешь крутить ему мозги, он сегодня же будет у тебя.

– То есть как? – спросила я.

– Оставишь его у себя ночевать? Он приедет и будет с тобой. А если ты хочешь его до скончания лет мучать, он больше не хочет.

У меня не укладывалось услышанное в голове. То есть как? Значит, мне вот так открыто, грубо предлагалось переспать с Роном… если же я не согласна, то он уходит?

– Именно так, – подтвердил Гэри.

– Все понятно, – сказала я, чувствуя, как мои слезы твердеют и все внутри становится невозмутимым и железным.

– Пусть не приезжает. Я не буду с ним спать, – сказала я.

– Ну, как хочешь. А чего ж тогда плачешь? Сдвинутая ты, ей-богу.

Было ясно, Рон никогда и не думал влюбляться в меня. Он просто относился ко мне как к дворовой девке, на одну ночку. Пусть они какой-то другой дуре эти басни рассказывают: я-то знаю, что не бросают человека, которого любят… не бросают вообще, и точка! А уж тем более за то, что после трех свиданий он с тобой не переспал. Это абсурд.

Что же, придется это проглотить.

По тем временам я не могла еще ни понять, ни воспринять, что если в Союзе (или, по крайней мере, в Нальчике), переспав так быстро с парнем, девушка теряла все шансы на серьезные с ним отношения, то здесь, в Нью-Йорке, было как раз наоборот. Девушка теряла все шансы на дальнейшие отношения – если не спала с парнем в первые же ночи.

Я уже знала, что здесь, в этом обществе, у них все наоборот, но просто знать – было недостаточно. Я не могла этого воспринять.

* * *

Стиснув зубы, одеревенев и потускнев, продолжаю жить дальше.

Постарею, побелею, как земля зимой…

Я тобой перестрадаю, ненаглядный мой….

Как эти русские песни умело описывают то, что человек чувствует! Не больно мне. Нет боли. И слез нет. Мне всё все равно. Ну их всех к черту.

А глубоко, глубоко внутри, так глубоко, что я не позволяла себе и заглянуть так глубоко, утвердилось, забетонировалось то, что после Вовки казалось случайностью, а после Лениной холодности, его, Лениной, виной. Вовка, Леня… Рон: а проблема ведь не в них, а в тебе самой. Просто ты – непривлекательная. Урод – не урод, а сильных серьезных чувств возбудить не можешь. Не дано тебе. Такой родилась! Сможешь с этим смириться?

* * *

Моисей, хотя и не смог вывести меня из депрессии, однако многому научил. Он научил меня, например, тому, что ни одно чувство или состояние, которое испытывает человек, – не случайны, а есть результат причинно-следственной связи.

Этот урок я отлично усвоила. Моисей лечил мои «приступы боли» посредством выявления причины, затем устранения причины. Устранишь причину, исчезнет и следствие.

А любовь – ведь это тоже эмоция. Если человек влюбляется, то есть начинает испытывать определенные чувства, значит, обязательно есть этому причина. Если же не влюбляется… хм, то и на это, стало быть, есть своя причина… Так, так, та-а-к…

Если Рон не влюбился в меня, несмотря на такой тесный контакт, значит, надо определить – почему. Возможно, та же причина помешала влюбиться в меня и Вовке. Леня женился на мне и, пожалуй, по-своему любил меня, но любил он меня больше как человек. Это была не та любовь, которой я так сильно хочу. Что-то во мне отсутствует, что вызывает такую любовь… Или, наоборот, что-то во мне такое присутствует, что убивает в молодых людях страстные чувства. Один – может быть случайностью. Трое – нет. Что же во мне…

Если понять, чего именно во мне не хватает, чтобы возбуждать любовь, над этим можно работать. Я смогу в себе это что-то изменить. Я точно знаю. Нет ничего, что было бы мне не по силам. Главное, понять, чего во мне не хватает?

* * *

Подошла к зеркалу: внимательно рассматриваю себя. Что-то во мне отсутствует… что-то очень важное… Что же это???

Трудно быть объективной, рассматривая саму себя. Уродиной меня не назовешь, но и красивой назвать нельзя. Средняя внешность. Рост высокий – это хорошо или плохо? Кто-то любит высоких, а кто-то маленьких. Потом, само понятие «высокий рост» относительно. Я слышала, что здесь, в Америке, на конкурсах красоты нет никого ниже ростом, чем метр восемьдесят. Там я была бы малышкой, метр семьдесят пять. А у нас на уроках физкультуры, я стояла вторая, т. е. была чуть ли не самой высокой в классе.

Худющая. У нас в Нальчике таких называли «больными», а еще приговаривали: «мужчины не собаки, на кости не бросаются». Зато в Америке, худющие, как я, в моде. Слава Богу, хоть в чем-то мне повезло. Ведь мы теперь в Америке!

Однако мало ли на свете худеньких девушек! Есть множество

худеньких и посимпатичней меня. Почему Рон должен был самозабвенно влюбиться именно в меня?

Моисей учил рассматривать по деталям, из штрихов складывать целое. «Дедушка умирает – это негативное. Но это еще не все. Страна, в которую вы приехали, вам не нравится. Это тоже негативное, но тоже еще не все. С мужем вы несчастливы. Посмотрите, как складывается громадный негативный монстр»…

То же и здесь. Одна мелочь, плюс другая, плюс третья… Взгляни на свое лицо: оно никакое. Взгляни на фигуру. То же самое. Грудь – ничего особенного, далеко не такая, как на картинках «Плейбоя». Талия – ничего особенного, далеко не София Лорен. Руки, ноги, тонкие и длинные. И что? Это хорошо или плохо? Это никак. Ноги? Совершенно обыкновенные ноги. Не кривые, правда, но мало ли у кого не кривые ноги. Это разве повод, чтобы влюбиться? Ничего в тебе нет такого… особенного. Вот они и не влюбляются. Средняя ты, никакая.

Глаза… возможно еще глаза мои назвать незаурядными… Но глаза – это что? У кого глаза не выражают его собственную индивидуальность? Я присматриваюсь к себе и с отчаяньем не могу найти в своей внешности ничего, что бы могло возбуждать безумную любовь. Я вообще, честно говоря, не знаю, что именно такую любовь вызывает. Внешняя красота? Внутренний мир? Что? Что должно во мне быть, чтобы меня Любили?!

А незаурядный духовный мир? А умная голова? А неординарная личность? А талант?

Это ты считаешь, что в тебе все это есть. Этого всего не видно так сразу. И потом… Кто знает, может, у меня в самом деле завышенная самооценка…

Танька говорит, что мужиков вообще не интересует твоя душа, им нужно мясо: их интересует твое тело. Умная женщина – для мужика, скорей, недостаток, чем достоинство. Они любят красивых дурочек. Так она мне все время доказывает.

Танька, конечно же, ошибается или выпендривается, говоря это. Просто красивым, порой, сходит с рук даже то, что они не совсем умненькие. Так велико влияние внешней красоты на мужчин, что я не могу это не признать. Ум, конечно же, не порок, но одного ума мало. Нужны внешние данные, а их у меня нет.

Нужно разработать программу: выточить талию, накачать грудь, бедра, ноги. Возможно, нужно поработать над стилем одежды. Танька меня всегда ругает, что я одеваюсь, как монашка. А я считаю, наоборот, что это она одевается, как одеваются продажные девки. Разве может порядочная девушка носить такие разрезы на груди? А юбки она носит – еще немного и трусики видны будут. Неловко даже на нее смотреть. Нет, так одеваться я

не буду. Найдется мой ценитель, который оценит мой стиль.

Словом, дай-ка я попробую поработать над собой, вместо того чтобы впадать в отчаянье. Я еще десять таких, как Рон, найду. Лучше, чем Рон. Может, оно и к лучшему, зачем мне нужен немой человек?

Глава двенадцатая
Октябрь – декабрь 1983 г.

Ноги в нейлоновых чулках, прикрытые чуть пониже колен скромным, родным до каждой ниточки платьем. Что – их форма, или подъем, или плотность щиколоток и икр, – что в этих ногах выдавало их русскость? В этих простых скромных ногах была заключена вся страна, в которой прошло мое детство. Миллионы ассоциаций, связанных с моей прошлой жизнью, нет не в памяти, в чем-то более инстинктивном, более молниеносном.

Нормальный человек скажет: ну какая может быть разница, русские ноги или американские? Анатомия человека ведь не зависит от его нации! Разумный довод нормального человека, возможно, и правилен. Только реакция моя – впереди разума. Я в доли секунды узнала эти ноги, возникшие прямехонько из моего далекого, теплом пронизанного детства посреди американской синтетики жизни: в них была весенняя оттепель, запах маминой кожи, солнечные лучи, разбрызганные в утренней классной комнате между партами, запах дождевых капель на ветках сирени, тепло стен моего дома… я вмиг это все узнала еще до того, как увидела даже лицо обладательницы этих ног.

– Девушка! – окликнула меня обладательница ног.

Я подняла глаза и увидела незнакомую седую женщину средних лет.

– Девушка, миленькая, я вас очень прошу, помогите мне, – сказала женщина, протягивая мне какие-то бумаги. – Целый день здесь стою, пытаясь кого-нибудь найти. Здесь люди наши так изменились. Письмо прочесть женщине, велико ли дело? Никого не допросишься. Мне это так важно. Прочтите, миленькая!

Я развернула письмо и, с трудом вникая в написанное, прочла.

– Вас вызывают в вэлфер офис[19], – сказала я.

– Вэлфер офис? – громко спросила она, широко раскрытыми глазами уставившись на меня.

– Что вы! Ой, пропала я! Как же я туда поеду? Я дорог не знаю. Языка не знаю. Пропадет мое пособие. Пропала я. На что я буду жить? Девушка, миленькая, сделайте добро, не посчитайте за труд, еще разок, умоляю вас, помогите! Вы меня просто-напросто от голодной смерти спасете: ведь без пособия я умру! Здесь все такие стали жестокие, такие равнодушные к чужому горю. Ты умрешь, никто не похоронит тебя: здесь, дескать, время – деньги. Никто никому даром ничего не делает.

– Вы недавно приехали? – догадалась я.

– Да, в конце прошлого месяца.

Ну вот и разгадка: недавно приехала и ноги «русские» с собой привезла. Каковы мгновенные реакции?!

– А где же ваши дети? Разве они вам не помогают?

– Миленькая! Были б у меня дети, разве я б поехала сюда, в этот Нью-Йорк! В эти каменные джунгли! Нет у меня детей. Никого нет. Одинока я, как в поле воин. Дура! – она стукнула себя по лбу. – Дай, думаю, в Америку поеду. Авось, в дороге друзей найду или замуж выйду. А оно, – она утерла рот кулаком в сильном волнении – здесь совсем я пропала. Что я наделала?! Я пропадаю! Я ничего здесь не знаю. Я ходить по улицам боюсь. Эти наркоманы. Эти черные. Эти бандиты. У меня, верите, сердце сдает. Не могу! – глаза ее блес тели, она мчала вперед поток своей речи, словно боялась передохнуть на мгновение.

Может быть, она боялась, что я не дослушаю ее и уйду.

– Почему бы вам не поехать обратно? – говорю я.

Она многозначительно смотрит на меня, и в глазах ее некоторый ужас, как перед чем-то священным.

– Вы думаете, пустят? – говорит она шепотом.

– Почему же не пустят? Попытайтесь, – говорю я.

– Ах! – восклицает женщина, но тут же лицо ее мрачнеет. – А куда идти, кому, что сказать? Я ничего здесь не знаю.

Мы познакомились. Ее звали Нина. Въехала в дом, где жили родители чуть более месяца назад, сняла квартиру на втором этаже. Вот теперь стоит так у подъезда и ждет, когда кто из «наших» пройдет мимо и поможет разобраться в новой жизни. Я рассказала ей, что сама собиралась хлопотать о возвращении на родину, но не делаю этого, потому что у меня здесь вся семья: родители и маленький сын.

– А давай, доченька, вместе вернемся! Давай, а? Ты станешь мне дочкой, а я стану тебе мамой и семьей! Давай вместе вернемся! Одной мне не осилить этого!

– А что вас привлекает в Союзе? – спрашиваю я, заинтригованная (это, пожалуй, первый человек, которого я вижу, который хочет вернуться!).

– В Союзе, у меня была хоть работа. Я работала библиотекарем. Это позволяло мне читать интересные вещи, общаться с людьми. Поможешь бывало кому-нибудь найти для себя нового писателя, новую книгу, чувствуешь себя так хорошо! И уже кажется, что не даром живешь. А что толку в моем житье-бытье здесь? Здесь жизнь пустая, в ней нет никакого смысла.

* * *

Весь следующий день был убит на поездку с Ниной в Вэлфер-центр. Времени страшно жалко: только кто ж поможет таким несчастным и потерянным, как эта женщина, если не я? Довела ее пособие до конца и оставила ее со спокойным сердцем. Однако на следующий день она опять позвонила: были еще какие-то бумаги, еще какие-то проблемы. И опять. И опять. Я поняла, что если я от нее не избавлюсь, то вся моя жизнь уйдет на решение ее конфликтов и проблем. У меня свои нерешенные проблемы сидели в горле. Я перестала задавать себе вопрос: если не я, то кто?

«Не знаю, не знаю!» – говорю я и кладу трубку.

Чувствуя себя отвратительно (и потому что я отталкиваю человека в беде, и потому что я сама даже себя из беды вытащить не могу), я падаю в постель.

* * *

Через некоторое время Нина, несмотря на мою явную нерасположенность говорить с ней, позвонила снова. У нее была экстремальная ситуация, и мне пришлось ее выслушать.

– Спасите! Спасите меня, это Нина!

– Что случилось? Что такое? – встревожилась я.

– Ой, не могу! Гады эти надо мной издеваются! – говорила она сквозь рыдания. – Подкладывают мне под двери взрывчатку. Их забавляет меня до инфаркта доводить! Я, когда ни выйду из дома, меня ждут «сюрпризы».

– Кто ждет?

– Подосланные. Я не знаю… Меня преследуют. День и ночь, двадцать четыре часа в сутки, ко мне кто-то приставлен. Вчера вышла на минутку, а они в дом проникли, газу напустили, думали я не замечу. Отравить меня хотели.

– Вызовите полицию.

– Они сначала приезжали, а теперь не приезжают.

– Что же вы хотите, чтоб я сделала?

– Миленькая, не уходите, не бросайте трубочку, умоляю вас! Поговорите со мной хоть немного! Я так одинока, ведь у меня никого нет.

Я не могла понять, или Нина находится в страшно расстроенном состоянии, или у нее крыша поехала, или она была сумасшедшей с самого начала, только я сразу не заметила.

Интересное наблюдение: несмотря на все свои истерики и жалобы, несмотря на то, что я угробила массу драгоценного времени, консультируя Нину, куда ей обратиться насчет

возвращения на родину, помогая ей писать письма для этой цели и т. д., Нина все-таки не решалась вернуться обратно. Она жаловалась, ныла, все время всего боялась, однако жила здесь и ничего не предпринимала для того, чтобы вернуться обратно.

Почему?

Вот еще один вопрос: Нина приняла решение ехать в Америку сама. Однако это не мешало ей признавать свою ошибку. Почему когнитивный диссонанс не распространялся на нее? Она, что, редкое исключение из правила? Или какие-то другие механизмы в этом замешаны?

Любопытно и другое: может быть, именно поэтому она и двинулась мозгами, что не смогла устранить своего внутреннего воспаления? Почему она, именно то редкое исключение из правила, сошла с ума?

* * *

Открыла шкаф, достала стакан, вдруг ни с того ни с сего, без всякой видимой причины – странный далекий запах корралово-ометистового дня из прожитой жизни – зазыблелся, затрепыхал, попытался подняться в проваленной в небытие, отказавшейся функционировать памяти.

Что-то мучительно неуловимое, как ни старалась я всеми силами схватить это ощущение – слабенький свет, насквозь пропитанный теплом моей некогда живой жизни. Запахи… что-то неуловимое… летние ночи, бабушка, шаркающая по двору в тапках, освещенный лунным светом дед, курящий на крылечке в нижней майке, запах его майки, запахи наших комнат, комары, ночное небо, теплые, солнцем напоенные дни, веточка упавшая в тарелку с борщом, детство, душа, запахи смешанные, – ушло, уже ушло. Выскользнуло ощущение.

Откуда эти мгновенные просветы? Неужели все, что сейчас озарило меня, было лишь следствием пахнувшего на меня спертосыровато-съестного душка из шкафа, который я раскрыла, чтобы достать стакан? Такой же душок был, кажется, и у нас в шкафу…

* * *

Жизнь моя – это огромная пропасть, наполненная густым тяжелым туманом, сквозь тяжесть которого я пробираюсь, почти ничего не видя, на ощупь. Каждый шаг стоит усилий громадных, а видеть ясно и четко, куда иду, я не в силах, т. к. туман застилает

глаза. Как будто меня напоили снотворным. Как будто я накурилась наркотиков. Ах как я устала, устала мучить, толкать себя; все равно это без толку, в таком состоянии успеха не добиться. Хочется порой лечь, забыть обо всем и заснуть глубоким беспробудным сном… и спать… спать… спать… и не просыпаться.

Неужели же когда-нибудь настанет день, когда я смогу оглянуться вокруг и увидеть предметы, улицы, людей ясно, не двоящимися, не застланными туманом? Смогу легко смотреть и видеть, ясно соображать, без труда двигаться и не выглядеть дохлой.

Физическая вялость, больной вид, заторможенное восприятие. Неужели я когда-нибудь высвобожусь из этого!

* * *

Ведь ты знаешь, что не бывает тупика, из которого не было бы выхода! Выход есть всегда, в любой ситуации! Главное – выход этот найти.

Мне кажется, если бы я встретила одного только человека, его – жизнь моя коренным образом изменилась бы! Ничего было бы не страшно, я все трудности бы перенесла, если бы только я встретила его…

* * *

Привела Сашеньку к родителям, сама ухожу на свидание. Мама ложится прямо на цемент поперек двери, пытаясь преградить мне дорогу, чтобы я не уходила.

– У тебя малэнький ребенка! – причитает бабушка. – Каждый день к новий мужчин идешь! Ты что, проститутк? А если сифилис домой принесешь?! Пожалей ребенк! Пожалей больной дед!

Перескочив через лежащую на пороге маму, я убегаю из дома. Хотят они или не хотят, ребенок остался у них. Не могу я выдерживать это одиночество! Чего они хотят от меня? Чтобы я в восемнадцать лет сидела, годами не выходя из дома, и прилежненько воспитывала ребенка? Да у меня уже и тело, и душа дымятся от постоянного сидения дома. Иногда я всерьез опасаюсь, как бы не сойти с ума. Им этого не понять, они смотрят на все со своей старческой позиции.

Машина ждала меня на углу Авеню Эн и Ист 13-й. Я предусмотрительно назначила место встречи подальше от дома

родителей.

Эдвард – высокий краснощекий блондин, в красной наглаженной рубашке и таких же новеньких наглаженных брюках – сидел за рулем. Я нашла его по объявлению в газете. Мы виделись впервые. Все, что на нем было одето, было такое же модное, новенькое и дорогое, как и его машина.

Сзади сидели еще двое ребят, его друзья, такие же рослые огромные и краснощекие. Они тоже были одеты очень модно, по крайней мере, любой человек, приехавший из Союза так бы считал. Американцы не одевались так и, что по их марсианским понятиям считалось модным, я не знала. По нашим понятиям, ребята были одеты хорошо. С ними сидела еще одна девочка, которая с первого взгляда понравилась мне тем, что на ней не было ничего блестящего, безвкусного, и тем, что накрашена она была в меру, а не так, как здесь красятся (малюются!).

Я села на непривычно роскошное сиденье спереди и захлопнула дверцу.

– Здрасте, – сказала я, чувствуя неловкость, оказавшись в машине среди незнакомых людей.

Эдвард представил мне сидящих сзади. Девочку звали Юлей, сидящего рядом с ней – Джо, а толстого усатого детину, похожего на былинного русского богатыря – Боксером.

– Did you wait long? – спросил меня Эдвард.

– No, not really.

– So, where do you wanna go?

– I don't know, wherever you want to go.

Между тем сзади Боксер громко рассказывал всем о чем-то.

– And then, after everybody had a dinner, couples started to undress. You know? You know! Oh, I fucked two girls at once. They were lesbians, you know? And my girlfriend, you know, at first she said it was OK, but the next day she wouldn't look at me she was so mad.

– Постой, постой! – перебила его Юля. – Что-то я не поняла! Ты трахал двоих сразу? Одновременно? Как можно одновременно трахать двоих?

– В машине все засмеялись.

– Ты недавно приехала? – сочувственно спросила я.

– Нет, я уже здесь два месяца!

– А!.. Вот поживешь здесь два года, тебя уже ничего удивлять не будет. Вначале я тоже таращила глаза на все. А потом привыкла. Привыкнешь и ты.

– So, I am telling you, never fuck anyone in front of your girlfriend! – продолжал Боксер. – Even if she says its okey! You know?!

– Эй ты, кончай там про свои оргии рассказывать, – крикнул ему Эдвард. – Не видишь, девочек спугнешь? So where we goin'?

– How can we go? – ответил ему Джо. – This guy is all alone talkin' about sex so hot. How can we go? Послушай, – обратился он ко мне по-русски с тем специфическим акцентом, с которым говорят здесь русские эмигранты, – у тебя есть какая-нибудь подруга? Нужна подруга для него! – Джо хлопнул Боксера по мощному плечу.

Боксер хихикнул.

– Интересно, она все еще стоит там? – Он и Джо засмеялись. – А ну-ка проедь-ка еще мимо того места, посмотрим.

– Ребята, common! – сказала Юля. – Это издевательство над человеком!

– Поехали, поехали! Я хочу посмотреть! – заговорщически, давясь от сдерживаемого смеха настаивал Боксер.

– Тут мы от одного кошмара только что избавились, – пояснил мне Эдвард.

– Ребята, ну это некрасиво! Ну что вы делаете? – возмущалась Юля. – Представляешь, они договорились с ней на blind date[20] и что поднимут ее на углу Ocean Parkway и Chirch. Покрутились вокруг нее, посмотрели и решили ее не поднимать.[21]

– Как, – удивилась я, – почему?

– She is a nightmare! – сказал Эдвард, смеясь. – Что с ней делать? Она урод!

– О, видишь?! Ну представляешь себе? – возмущалась Юля.

– О! Стоит! Стоит!!! – заорали Джо с Боксером на заднем сиденье. – Представляешь себе, стоит?!

Мы приближались к углу Ошеан-парквей и Черч, издалека я могла рассмотреть только темную точку на углу. На лету, проезжая, я успела увидеть съеженные плечи, растерянное лицо, захудаленькое пальто, русские стоптанные башмаки. Проехали под хохот и ликованье в машине. Девушка до сих пор стояла и ждала.

– Пусть не будет уродом, – сказал Эдвард, видя наши с Юлей недовольные рожи.

– Придется тебе, Боксик, сегодня питаться американскими барными красотками, – сказал полусочувственно-полушутливо Джо.

– Тьфу! – сказал Боксер. – На прошлой неделе, короче, поехали мы с Лысым в Polledium. Короче, снял я там одну телку, ну думаю, сейчас пойду с ней, выступлю. Лысый, подонок, ее у меня утянул!

Мальчишки все грохнули дружным смехом.

– Нет, so, listen to this! И что ты думаешь ему за это было? – продолжал Боксик.

– Ты ему морду набил! – сказал Эдвард.

– За что? За эту вонючую шлюху?

– Она ему не дала! – сказал Джо.

– Букетик подцепил целый! Хе-хе-хе… Крабчиков и трихомонус разом! За одну ночь! А? Каково?! А?! – ликовал Боксер. – Во судьба! Боженька, Боксика, миленький, бережет! Тогда я его убить хотел, теперь он меня хочет. Я говорю ему, чего ты злишься, сам виноват!

– Слушай, а ты в Oriental хаузе был? – спросил Джо. – Ух там телки расторчные!

– Нет, мне испанки больше понравились. Такие испанки горячие, уф, уф, уф! Знаешь, на углу of Eighty Forth street они стоят?

– А ты видел, Тимурка приехал с Бразилии, фотографии привез? – сказал Джо. – Тимуркин голый живот торчит огромный и три телки вокруг него раздетые стоят. Говорят, в Бразилии, если ты им понравишься, денег не берут. Представляешь себе? Красивым мужикам – все проститутки бесплатно!

Машина между тем мчалась по хайвею. Длинная обгоревшая стена BQE тянулась бесконечной убегающей лентой.

– Ну, что, господа, where we goin? – спросил Эдвард.

Веселый смех и шутки на минутку затихли и ребята сосредоточенно задумались.

– You wanna try a French club? – предложил Джо.

– Там же кушать надо?

– Yea, there is plenty of food. Plenty! Мы там в прошлый раз так обожрались, у меня потом два дня живот болел.

– Is the food good there? – спросил Боксер.

– You know me! Я пойду туда, где плохая еда? Мы там с товарищем по сто семьдесят долларов оставили за вечер.

– Comon, lets go dance somewhere first! – сказал Эдвард. – Надо сначала выпить чего-нибудь, приторчать, войти в муд.[22] Я не могу так сразу идти в ресторан.

– О, кстати, – сказал Боксик, – do you wanna smoke?

– Вы и ему даете? – с ужасом спросила я, когда Боксик и Джо, каждый сделав по затяжке, передали и Эдварду.

– Как?! И вы тоже – все курите наркотики?! – взвизгнула Юля.

– Нашла наркотики! – в один голос усмехнулись мальчики. – Это всего лишь трава! Эту траву люди курили с тех самых пор, как земля стоит! Это вам в Союзе внушили, что якобы марихуана – это наркотик.

– А что же это? – спросила я.

– Вообще, меня поражает, почему здесь все поголовно курят эту марихуану?! – с возмущением сказала Юля. – В Союзе, я помню, никто не курил! А здесь – все! Куда ни пойдешь – все курят.

– Девочка, это ты откуда ж приехала?! – вызывающе крикнул ей Эдвард.

– Я? Из Москвы!

– И я из Москвы! И ты хочешь сказать мне, что в Москве никто не курил?!!! – перекривив лицо от возмущения, чуть ли не кричал Эдвард.

– Никто! Я не знала ни одного человека, который бы эту гадость курил! Я даже не знала, что эта гадость вообще существует! Я не знала, что это такое!

– Да ты там летала в облаках! Ты небось из своей люльки еще вылезти не успела! Вся Москва на наркотиках сидела и сидит! Никто там не курит! Смеешься что ли?

– Сколько тебе лет? – спросила Эдварда Юля.

– Двадцать два! А тебе?

– Ну, девятнадцать, – немного потупившись сказала Юля. – Но это ничего не значит! Я знала многих, кому было и двадцать пять, и двадцать шесть! Там никто не курил!

– А я готов спорить с тобой на что хочешь, вся Москва курила, ты просто не знаешь. Я бы тебя привел в нужные места, если б можно было туда поехать! Я бы тебе доказал!

– А я бы тебе доказала! Я бы тебя привела. Ты бы увидел – там никто не курит!

Езда сумасшедшая. Раскуривание одного косяка за другим, прямо в машине. Хождение по барам. Дриньки.[23] Моя проблема везде со мной. Сижу ли я в баре, посасывая удивительно вкусный коктейль, иду ли вместе со всеми дрыгать телом в чаду светомузыки, вдыхаю ли дым марихуаны, – всюду меня преследует чувство натянутой до отказа неудовлетворенности собой, своей жизнью, всем и всеми, что и кто окружает меня, и в особенности теми, с кем я нахожусь.

Мне противен их этот нарочитый английский язык, где у них по три ошибки в каждом предложении. Мне противен их русский язык, который они коверкают и уродуют, и этот их эмигрантский акцент. Мне противны их уродливые понятия о хорошем времяпровождении и наслаждениях. Противна себе и я сама: за то, что в эту машину угодила, за то, что не могу решиться вернуться обратно в Союз, за то, что дома бросила маленького Сашеньку опять на маму и он, как беспризорник, живет без родителей.

Моя проблема везде со мной. Покидаем один бар, едем в другой. Опять заказываем дриньки. Опять косяки. Опять уезжаем из бара и едем в другой. Так до утра.

* * *

Серое утро. Я сижу в машине у Эдварда, недалеко от родительского дома. Эдвард не знает ни про моего маленького сына, ни про родителей. В машине, кроме нас, никого нет: он всех развез по домам. Эдвард настойчиво пытается взять меня за руку и все повторяет, что хочет зайти ко мне в гости.

– Comon, whats your problem? – говорит мне Эдвард хлипло. – Lets go upsters!

– I cant – говорю я.

– Why you cant? You don't wanna enjoy yourself?

– No.

– Como-o-on… – он берет меня за руку повыше локтя.

Я отдергиваю руку.

– Я не верю тебе, – говорит он.

– Что?

– Неужели ты меня не хочешь?

Я смеюсь, глядя, как серый край неба заглядывает в душный автомобиль.

– А ты не веришь, что тебя можно не хотеть?

– No, I mean, I am not ugly, right?

– We-e-ell, you are not.

– У меня ничего не торчит, нос там или еще что-то такое. I am not overweight. I am young. Ты молодая девочка, и, если ты не хочешь нормального молодого мужчину, у которого nothing wrong with him, what can one think?

– Crazy! – смеюсь я, изможденным взглядом глядя на него.

– No really! I think you have got a problem. Yea! Problem with your head! Ты сколько лет из Союза приехала?

– Три года, – сказала я после некоторой паузы, в продолжение которой я неожиданно ужаснулась: неужели прошло уже три года?!

– So, its time for you to change, оставить эти свои русские комплексы. Я знаю, как русские думают. They think that sleeping with someone is a sin, they think of sex as dirty. Так? Так?

– Sleeping with someone without love, – пояснила я.

– Well, how can love ever come without you letting it happen! А там и любовь, может, придет.

Я смотрела на чужого, далекого мне Эдварда. Мне было жаль его. Для него была такая истина, для меня другая. Даже если бы он и еще целый полк таких, как он, пришли и стали убеждать меня в том, что со мной что-то не в порядке, потому что я не иду спать с парнем, чтобы просто получить удовольствие, а жду любви, все равно ни один камень не пошатнулся бы на мощной крепости моих убеждений. Я знала свою правоту: зачем мне было переубеждать его.

– I have to go, I am tired, – сказала я серьезно, собираясь выходить.

– I am telling you, you have got a problem… – пробормотал он, глядя себе на носки. – Como-on, stop playing saints…

– И вообще, знаешь что, я предпочитаю говорить по-русски, – сказала я, не умея более сдерживать свое раздражение, и, хлопнув дверцей роскошной машины, бодро и злобно поплелась к дому родителей.

* * *

Внутренне сжавшись в как можно маленький, незаметный комочек, я тихо повернула ключ и приоткрыла дверь. Было около шести часов утра. Едва я прошла в дом, как увидела три пары враждебно сверкавших глаз, устремленных на меня, в которых не было и частички сна. Из спальни донесся покряхтывающий слабый, едва слышный голос дедушки:

– Кто это вошел? Охм. Она пришла?

В груди у меня что-то оборвалось при звуке этого голоса. Я подошла к его кровати.

– Я пришла, деда. Куда же я могла деться? Ну что вы в самом деле! Зачем вы создаете искусственную проблему?

Его измученное седое лицо было перекошено от боли.

– Я же умираю, кутенок. Зачем ты не даешь мне даже спокойно умереть?

* * *

Снова я дома одна. Опять ты не считаешь присутствия ребенка?! Почему я всю дорогу чувствую, как будто я в тюрьме? Включила телек. Сейчас опять аппетитную муру мне в нос сунут по телеку, опять я открою холодильник или пойду в магазин покупать эту муру. Это отвлечет меня хоть на какое-то время.

Удивительно, чтобы уйти хоть на пять минут от этого

дискомфорта, я готова делать бессмысленные и даже вредные вещи, как есть каждые пять минут, или хуже еще – пилить в магазин, чтобы купить что-то, что я съем за пять минут. Я чувствую себя свиньей, чувствую отвращенье к себе, но не могу отказать себе в этом постоянном пятиминутном периодическом облегчении. Пока я жую, я отвлекаюсь от своей боли и безысходности.

На этот раз показывали не рекламу продуктов. Вообще не рекламу. Показывали концерт.

На экране какая-то… вульгарная девица в одних трусах и в лифчике, при этом в сапогах, трясет полуголой задницей так, что хочется подойти и плюнуть прямо на экран. Ну мыслимо ли такое в нашей стране: выйти на сцену – в трусах и в лифчике?! На ней какие-то тяжелые цепи, что-то типа женской бижутерии, ногти выкрашены в желтый цвет, волосы в фиолетовый, с прядью зеленого цвета в центре головы… Словом, что только могла она придумать отвратительного, несуразного и шокирующего, она все сделала. Дурдом, ни дать, ни взять.

Это у них считается «звезда»!!! Дикари недоделанные…

Выключила телек. Тошно. Подошла к приемнику: пронизывающая боль при виде груды пластинок, привезенных из Союза.

Там – все было такое… человеческое…

* * *

Отчего эта груда пластинок пахнет, как пахнет мрамор на кладбищенских памятниках? Как больно, что все, что мне дорого, теперь пахнет кладбищем. Включила Валентину Толкунову… Вспомнила ее образ с длинной косой, ее добродушную улыбку. Ее голос льется, как чистый ручей… Вспоминается мне Толкунова на сцене, полная достоинства, в длинном платье, с женственным, чуть-чуть интригующим разрезом на груди… Куда уж там, в трусах и в лифчике на сцену выходить. А какие песни, трогающие за душу, она пела.

Вот все, что мне осталось теперь: слушать пластинки, привезенные из Союза, плакать о прошлом и, скуля, ненавидеть все, что меня окружает.

Кому могло прийти в голову, что стоит сесть в самолет, перелететь на другой континент, в другую страну, и такие, казалось бы, элементарные понятия, как «доброе лицо – это хорошо» или «достоинство – это хорошо», вдруг перевернутся с ног на голову. В Союзе у всех наших звезд были добрые лица,

этим и привлекали. Здесь привлекают монстрообразным, хищным, агрессивным видом. Здесь модно, потеряв всякое достоинство, сняв трусы перед камерой, низко упасть, именно это возвысит тебя над толпой. Если рассказать об этом у нас кому-то, мне не поверят.

Толкунова – это всего одна из множества наших известных певиц, но и она одна – это уже целый мир. Мир синеглазой доброты, простосердечной жизнерадостности, мир, ох как много сосредоточивший в таких удивительно простых, незамысловатых коротеньких песнях. Песня длится полторы минуты, а в ней – ох, ох, ох… сколько в этой песне жизни!..

А вот Пугачева…

Вспоминаю, как я, подростком, бродила по зимним улицам Нальчика, засунув поглубже руки в карманы, озябшая от мороза и одиночества, умирающая от ожидания любви, а в моем мозгу, в моей душе, во мне всей звучал вкрадчиво-задушевный голос Аллы Пугачевой.

Так же, как все, как все, как все,
Я по земле хожу, хожу,
И у судьбы, как все, как все,
Счастья себе прошу…

Каждая песня Пугачевой – это какой-то отрывок из моей жизни.[24] Получалось, она тоже, как и Толстой, близкий мне по духу человек, несмотря на то что мы с ней никогда не видели друг друга. Она меня смогла бы понять, потому что выстрадала все мои боли. Я знаю, что она их выстрадала, потому что вижу, как она о них рассказывает в своих песнях; так может исполнять песню только человек, который до глубины души выстрадал то, о чем поет.

Мне было теплее жить от сознания, что где-то там, в далекой Москве, жил человек, который способен был меня понять. Это тепло было жизненно важно для меня. Оказалось впоследствии, что так же, как я, чувствовали еще миллионы других людей. Пугачева, оказалось, стала очень знаменитой. Она отразила в своем творчестве внутреннюю жизнь людей своей страны и своего времени. Она залезла в душу чуть ли не каждому жителю моей многомиллионной страны, тронула в каждой душе что-то сокровенное. Сонет Шекспира, например, стал одной из ее песен. Песни на стихи Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама… И дело было не просто в выборе хороших текстов, дело было в исполнении. Пугачева не просто пела, она была зеркалом, в котором каждый ее поклонник видел себя.

А ведь это эстрадная певица. Это – актриса. Ей не нужно выходить на сцену в трусах и в лифчике, да ногти в желтый дурдомовский цвет мазать, чтобы привлечь к себе внимание, громко заявить о себе. Наша Пугачева – актриса, которую мы, советские люди, считаем «супер», а их Мадонна – дурдом.

У их Мадонны взгляд дикой пантеры, готовой тебя растерзать. Не лицо, а хищная агрессия. Она орет, а не поет, рычит, оскаливая зубы, и прыгает, как папуаска, при этом оставляя общее впечатление чего-то бульдозерного и вульгарного.

Какое доброе открытое лицо было у нашего Льва Лещенко… [25] Сколько достоинства в облике Иосифа Кобзона… Да любого возьми! Не то что эти – агрессивные, готовые тебя прожевать и проглотить, такой у них, по крайней мере, вид. А ведь вся страна эта именно таких любит…

Наша Толкунова стала знаменита, исполняя свою песню «Поговори со мною, мама…». Лещенко победоносно, под гром оркестра воспел «День Победы», Пугачева души наши тронула. Мама, Родина, Душа… – вот, что трогает людей моей страны. Чем тронула американцев Мадонна? Шоком или голой жопой? Вульгарной нарочитой сексуальностью? Певица номер один в моей стране залезла к людям в души, а певица номер один Америки залезла к людям в трусы, возбудив в них низменные инстинкты, сама при этом тоже до трусов раздевшись. В том, какие кумиры у каждой из этих стран, каждая из них вся и выражена.

* * *

Позвонила Танька.

– Ну как у тебя дела? – спрашивает она.

– Глухо, как в танке, – говорю я. – Скоро в лес зверем убегу.

– Я понимаю, о чем ты… – сочувственно говорит Танька. – Здесь очень трудно с кем-то познакомиться. Зависишь, пока тебя познакомят. Вот меня познакомили, у меня сейчас есть бойфренд. Я думала, если и ты не одна, вместе бы вышли.

– А что случилось с Гэри? Вы расстались?

– Ой-й… Я уже и забыла о нем. Запарил он меня, я его послала. По ночам, до утра, бары и дискотеки. Утром надо рано вставать. На следующую ночь опять загул, так без остановки, каждый раз по трое-четверо суток подряд.

– А он сам? Разве он нигде не работает? – удивилась я.

– Работает!

Я помню, что Гэри работает механиком, на автостоянке.

– В шесть утра приезжает с ночного загула по дискотекам, а в семь пьет кофе и мочит на работу! Представь себе. Вот так они живут.

– Не может быть! Как же можно больше одного-двух дней такое выдержать?!

– Им-то что, они на подкурке и по пять суток могут, как заводные, без сна вытянуть. Я уже полностью обессилела с ним. Знаешь, я вообще пришла к выводу, что иностранец не для меня.

– О! Вот этот разговор я понимаю. Твой новый бойфренд – русский?

– Москвич, двадцать два года, временно работает на такси.

– Как его зовут?

– Никита.

– Культурный?

– Культурный. Только с этим небольшая беда. Он такой культурный, что работать не хочет. Видите ли, это ниже его достоинства работать на такси. А чтение художественной литературы, эрудиция, извините, не кормят. Я ему говорю: «Ты на какие деньги меня аут поведешь? В более-менее приличный ресторан, там и прочее». Он баранку крутит, но скрипит всем сердцем.

– О, вот такого человека я бы могла уважать, – говорю я, и, преодолев десять тонн неловкости, набираюсь смелости и спрашиваю.

– А друга у него нет одинокого? – никогда я не переживала подобного унижения, но сейчас я дошла до ручки и готова даже на это.

– Знаешь, дай-ка я спрошу у него, может, он тебя с другом познакомит.

– Спасибо, Танька! А то мне кажется, у меня лицо уже покрылось мохом.

– Можешь мне не рассказывать, я прекрасно знаю, о чем ты говоришь.

* * *

Не прошло и десяти минут, как снова зазвонил телефон и приятный мужской голос сказал мне на чистом русском языке без акцента:

– Привет, меня зовут Алик. Алик Шамилов. Никита дал мне твой номер телефона.

– Очень приятно, – ответила я, впервые почувствовав, что

тембр голоса и манера говорить моего нового собеседника мне нравятся.

Это очень важно, как человек говорит даже свое первое «алле» по телефону. Бывает, парень скажет одну только фразу: «Прывет! Я тыкой-то. Прыдлаг'аю встрэтыца!» – и ты уже знаешь, он не для тебя.

– Чем ты сейчас занимаешься? – просто, так естественно спросил Алик, как будто мы уже сто лет были знакомы, и мне сразу стало легко говорить с ним.

– Маюсь дурью, – откровенно, но так же по-свойски ответила я.

– О-о-о-ох! Это мое излюбленное занятие! Маяться дурью! Я тоже нахожусь в таком состоянии… А знаешь, что помогает?

– Что?

– Сажусь на мотоцикл и вперед: на световой скорости! Всю дурь из меня выветривает. Хочешь попробовать? Могу прокатить. Обещаю, что тебе понравится.

– Не, я не по части мотогонок. Я не люблю.

– А хочешь, есть еще одно мощное средство: ты когда-нибудь курила гашиш?

– Гашиш?.. Нет. Я слышала, про марихуану… – Все, на этом Алик подписал себе приговор, тот, кто курит гашиш, не может быть моей половиной!

– Ну это примерно то же самое. Хочешь покурить?

– Нет, я не по этой части.

– Ну а водку хоть ты пьешь?

– Нет, водку не пью, – сказала я с твердым сознанием своей правоты, нисколько не смущаясь тем, что в его глазах я, наверно, совсем сейчас умерла.

– Ну а джин? Может быть, ты пьешь джин?

– Нет, я вообще не пью.

– Вот это девушка! Ты откуда такая взялась?

Я готова была уже сказать ему: «Видишь, как мы не подходим друг другу», и повесить трубку, как вдруг, совсем неожиданно он сказал с таким неподдельным восхищением в голосе:

– Мать! Ты меня заинтриговала! Я теперь с десятикратной силой хочу с тобой встретиться!

– Это как? – не поняла я. – Чем же я тебя так заинтересовала? Тем, что я не люблю ничего из того, что любишь ты?

– Нестандартная ты, не такая, как все. Люблю неординарных женщин. С ними, как правило, есть о чем поговорить.

– А как видно, что я нестандартная? Потому что я не курю гашиш и не пью водку?

– Конечно!

– А все курят и пьют? – не поверила я.

– Во всяком случае, все, кого я знаю…

– Бедный Алик! – искренне сказала я, – представляю, среди кого ты там крутишься…

* * *

Я решила, что встречаться с Аликом не стоит. Что у меня было с ним общего? Гашиш? Джин? Мотогонки? Голос у него был приятный, но мало ли у кого голос приятный. Он говорил мне сладкие комплименты о том, что я нестандартная, но меня этими баснями не купишь.

Когда он позвонил мне на следующий день, я не сразу вспомнила, кто это: сознание мое вычеркнуло и выбросило его из памяти, как выбрасывало все, что было неинтересно ему. Накануне по телефону Алик рассказал мне, что его увезли из Союза (из Ташкента), когда ему было тринадцать лет. Уехали сначала в Израиль. Русский язык, чтение и письмо Алик упустил, хотя устный русский сохранил. Он говорил по-русски на удивление грамотно и без акцента. Однако сам признавался, что читать художественную литературу на русском языке ему тяжело, он не все понимает. Иврит же Алик знал не настолько хорошо, чтобы он смог заменить родной язык.

– Мне порой бывает очень обидно, – рассказывал Алик, – сколько раз мне в руки попадали русские книги, я пытался их читать, и всегда такое сожаленье меня охватывает, что я не могу.

Вот все, что Алик мог сказать, когда речь шла о литературе. По профессии он был инженер, в Израиле закончил университет. Что у меня могло быть общего с человеком, который даже и читать толком не умел?

Русскую литературу он вообще не знал. Знал каких-то восточных поэтов, имена которых мне ничего не говорили. Общего у нас было – просто ничего.

Однако, услышав Алика, я обрадовалась ему, так как к вечеру, как всегда, было невмоготу сидеть дома одной (ребенок, как всегда, не в счет). Вместе с приятным голосом в трубке в комнате затеплилась жизнь. Ужасно расстроился, услышав, что я не могу с ним увидеться.

– Я так ждал сегодняшнего вечера! Я проснулся сегодня с таким особенным ощущением, как будто у меня крылья есть. Ехал сейчас в пробке, черт! Пробка была мне нипочем! Я ждал нашей встречи… Неужели ты сейчас все испортишь! – с жаром говорил он.

Мне было приятно, что я пробудила такой сильный интерес в Алике. Еще было приятней, что интерес этот я пробудила в нем не после встречи (т. е. не своей внешностью), а после телефонного разговора (т. е. своим внутреннним содержанием).

– Ко мне пришел мой друг Миша. Мы тут концерт для тебя подготовили… – продолжал Алик. – Конечно, я не должен заставлять. Но, может, ты передумаешь?

Какой Миша? Какой концерт? Оказалось, Алик умеет играть на гитаре, да еще поет! Это интересно, но не хочется себя обязывать и попусту дразнить его, тем более что он уже вон как весь загорелся. Но был еще Миша… он тоже играл, как Алик на гитаре и пел, и мог оказаться интересным человеком…

– Хорошо, – сказала я Алику, – я могу приехать, но только с условием: между нами только дружеские отношения!

– Мать, ты же еще даже меня не видела! – усмехнулся и удивился Алик.

– Вот поэтому я тебя предупреждаю, чтобы ты не подумал, что не понравился мне. Здесь дело не в тебе. А во мне.

Искрящаяся энергия в трубке потухла. Потом он сказал: «Хорошо, давай хоть просто друзьями».

* * *

На улице темно и холодно. Прежде чем куда-то идти, сначала нужно отвезти Сашку к маме. Дала Алику адрес мамы.

Бежевый автомобиль ждал меня у подъезда и пар струился в холодный воздух от работающего мотора. Увидев меня, Алик вышел из машины. Лицо его, казалось, помимо его воли, осветилось радостью. Он смотрел на меня, покуда я бежала, ежась от холода, от двери подъезда к машине так, как если бы от меня исходило ослепительное сияние.

Открыл мне дверцу, и я нырнула в тепло, оставив за дверью автомобиля кусающе морозный воздух.

– Бы-бы-бы! – не могла успокоить я дрожь в теле.

– Холодно тебе? Сейчас печку побольше сделаю, – сказал Алик, и мне стало теплей на душе от этого штриха проявления его заботы.

Алик жил на Кингсхайвей и Ист 8-й. Его комнатка была расположена на чердаке. Маленькая каморка, даже не комнатка. В такой каморке, наверно, проживал Раскольников. Покрытая пледом кровать, полочка с книгами, стереоприемник, кассеты, пластинки, большой плакат с фотографией какого-то рок-певца над кроватью – вот и все. Друг Миша уже ждал нас, сидел

перебирал струны на гитаре. Другая гитара, Аликина, лежала на кровати, ожидая хозяина.

Меня поразило, как освежающе, оживляюще действуют на душу простые звуки гитары! Даже когда просто перебирают струны, еще только нащупывая мелодию.

– Знакомься, матушка, это Миша!

На лице Миши было постоянно такое выражение, как будто его застали врасплох и он удивился: «А?»

Как я ни пробовала его разговорить, что бы я ему ни сказала, у него был один ответ: «А?» – и он кротко пожимал плечами. Буквально через несколько минут я полностью потеряла к нему интерес.

Алик предложил выпить. Тут я впервые услышала, как разговаривает Миша.

– Джин с тоником давай, – сказал он.

– А тебе? – обратился Алик ко мне.

– Я не пью.

Каждый раз, как Алик обращался ко мне, в тембре его голоса, в том, как он смотрел на меня, было столько преклонения, как если бы во мне было что-то такое, что ставило меня на пьедестал, а он, Алик, был бесконечно счастлив находиться рядом со мной.

Потом они пели какие-то американские песни. Песни каких-то групп, которых я не знала. В перерывах между песнями Алик рассказывал анекдоты. Мне было лестно внимание, которым меня окружил Алик. К тому же присутствие сразу двух молодых людей, хоть и не совсем моих ровесников (им было по двадцать пять), оживляюще действовало на меня. Тупик моей квартиры и тюрьма эмиграции на несколько часов показались мне далекими и нереальными. Вообще, присутствие живых людей всегда целительно действует на меня.

Они не могли спеться, много фальшивили, прежде чем сыграть что-нибудь, по пять раз сбивались, и тем не менее их гитары дышали жизнью и более оживляюще действовали на меня, чем песни настоящих мастеров, замурованные на магнитофонной ленте, которые я слушала дома.

Совершенно неожиданно для меня Алик запел русскую песню. Это был какой-то русский бард. Я узнала русского барда по тому, как во мне мгновенно проснулась душа.

– Кто это? – спросила я Алика.

Алик пожал плечами и посмотрел на Мишу.

– Ты не помнишь, как зовут этого барда? Ну… В Израиле молодежь все время поет его песни.

Миша пожал плечами, он не помнил.

– Клячкин, кажется. Я точно не знаю, – неуверенно сказал

Алик.

Ни я, ни Алик, ни Миша не знали, чья это песня.

– «Не гляди назад, не гляди! Только имена переставь»…

О, какая это разница! Ожившее тело, или ожившее тело, в котором ожила и душа! Я готова была вскочить и расцеловать Алика! Удерживала себя из страха, как бы он не истолковал мой поцелуй неправильно.

Однако Алик хорошо заметил произошедшую во мне перемену. Увидев, как подействовала на меня русская песня, он спел мне по-русски еще, потом еще. Пел он хорошо, был очень артистичен.

Неожиданно для себя, здесь, на чердаке двухэтажного дома на Кингсхайвей, я встретила живого Высоцкого, потом познакомилась с Кукиным, Клячкиным…

Для него, уехавшего 12 лет назад, это были просто песни. Для меня же – это была самая суть жизни.

Песня кончилась, и я моментально почувствовала в тишине убывающее тепло.

– Еще, спой еще что-нибудь русское! – просила я.

И он пел еще. Он пел, и в моей обложенной тучами душе выглянуло солнце, распустились почки, расцвела сирень.

* * *

На другой день, вечером, Алик опять приехал за мной. Уезжая из своей квартиры в его келью, я перемещалась в совершенно другой мир. Это был мир сказочного розоватого мерцания, мир поэзии, мир безбрежной красоты и нежности.

Равномерные волны песенных ритмов покачивают меня. Где-то там, в дымке, существует полуреальная худощавая сгорбленная фигурка в небрежно наброшенной мешковатой рубахе, с гитарой в руках, повернутая ко мне в полупрофиль, поджавшая колено под гитару и нежно склонившаяся над ней.

Алик был высокого роста, очень щупленький, я бы даже сказала, ненормально худенький, темноволосый, с тонкими, нежными чертами лица. Он носил мешковатые рубашки, джинсы, грубые кожаные сапоги. От него пахло израильской армией, в которой он, по его рассказам, отслужил, беспризорными пулями и романтикой.

За окном зима. Шипят батареи. Сашенька спит у мамы. Глубокая ночь. Его крепкие мужественные руки нежно обнимают гитару, пальцы беспорядочно перебирают струны. Я жду, пока он снова заиграет. Сам он, Алик, не существует для меня.

Существует только его способность хорошо исполнять русские песни. Именно исполнять, не просто петь. Я понимаю, что исполнение Алика даже близко не сравнить с исполнением тех, кого я могу в любой момент услышать у себя дома, включив пластинку или кассету. А все-таки в живом исполнении есть непреодолимая магия…

Я сижу в нетерпеливом предвкушении очередной порции дурмана и смотрю на Алика, который все еще перебирает струны, не отрываясь, как будто боюсь упустить хоть секунду после того, как он начнет. Словно какая-то неотвязная гипнотическая сила приковывает мои глаза к каждому его малейшему движению, к его рукам, извлекающим магические звуки, к его лицу и губам, из которых вот-вот вылетят заветные слова и мелодии дорогих мне песен.

Наконец, понимая, что я совсем замучила Алика и что это в конце-концов неприлично столько заставлять человека петь, я перестала просить его петь.

Как только он перестал петь, я тут же стала думать о том, что пора бы вообще и домой, только выдерживала некоторое время из приличия. В простых, в разговорной форме сказанных им словах я теперь улавливала только ему присущие интонации, приятный знакомый тембр голоса, который только что пел, и это тоже было неким легким отголоском окончившегося волшебства.

Кроме этого отголоска, ничего приятного сегодняшний вечер более не сулил, и через полчаса я уехала домой, попросив его все-таки спеть одну песню на прощанье. Алик спел две – так не хотел, чтобы я уходила.

* * *

Я понимала, что с помощью Алика я пыталась убежать от себя. Я понимала, что исполнение песен – это всего лишь дурман. Ничего реально ценного в Алике для меня не было. Исполнить песни великих бардов может любой идиот. Или почти любой. Вот написать такие песни… от этого Алик был далек так же, как я была далека от его гашиша и джина.

Было и то, что нас объединяло. Он мечтал стать большим музыкантом. Я мечтала стать большим писателем. Оба мы сидели в своих темных кельях и протестовали против мира, которому нужны были только программисты и бухгалтеры. Вот все.

Его музыка была чужой мне. Я ее не понимала. А то, что он мне пел, для него было не более чем орудием, чтобы покорить меня, я видела это.

Когда же на следующий день, вечером, Алик снова позвонил мне, повинуясь какому-то необъяснимому закону, я не могла сказать ему «нет». Мало этого, где-то глубоко в подсознании я запомнила то, что осталось во мне после Рона. Если девушка с третьего свидания не ложится в постель с парнем, эта девушка умирает для него.

Алик угощает меня джином с тоником.

– Ты попробуй! Просто один глоток! Ты увидишь, как ты приторчишь!

– Что сделаю? – спрашиваю я.

– Ты не знаешь, что такое «приторчишь»? – ласково улыбается Алик. – Мила-а-аша! Какая ты сладенькая!

Я пытаюсь объяснить ему, что если мне хорошо, то мне вовсе незачем пить джин, мне и так хорошо. Он смотрит на меня с восхищением и говорит о том, какие у меня роскошные длинные волосы, какие чудесные пухлые губы. В какой-то момент он вскакивает за фотоаппаратом, он считает, что не может не запечатлеть, какое особенное выражение у меня на лице.

Наконец он снова берет гитару, и я снова погружаюсь в тепло и счастье. Теперь эта худощавая фигурка в мягкой байковой рубашечке, эти шелковистые темные волосы, спадающие на нежную полудевичью шею, эти худющие волосатые руки и манера слегка горбиться, поджимать одну ногу под гитару – все это теперь является неотъемлемой частью тепла и счастья.

…«Если девочка в одно из первых трех свиданий не ляжет с парнем в постель… то любой уважающий себя парень больше не приедет к ней»…

Я смотрю на Алика и улыбаюсь. Интуиция подсказывает мне, что Алик – другое дело, он будет звонить и будет приезжать долго-долго, даже просто на дружеских основаниях.

– А может, ну их к черту, эти принципы! Идеалы! Кому все это нужно? Я уже вижу, что никому. В конце концов, кто узнает, что ты сегодня здесь делала с Аликом? Может, и впрямь все это комплексы?..

Я чувствую его двигающиеся губы у себя на коже, в то время как он поет, и улыбка его кажется мне родной. Он уговорил меня выпить этого джина с тоником, и я теперь валюсь с ног. А черт с ними, с принципами; как хорошо было бы повалиться в его объятия, прижаться к его теплому тонкому телу с парусообразной спиной… Его чрезмерная худоба, которая вначале меня отталкивала, теперь уже не имела значения. То, что он был духовно чужой мне, – тоже. Каким-то странным образом меня тянуло к нему.

Все сливалось в одно волшебство: эта мрачная келья из

романа Достоевского, грубые и нежные голоса бардов, от каждого звука которых оживало и приходило в движение все женское, что спало на дне меня, и все человеческое, что составляло костяк мой, крепость спиртных напитков, аура его мальчишеских рук, грубо обнимающих гитару, теплая волосатая грудь под байковой рубашечкой, этот сизовато-пепельный грубоватый, головокружительный мальчишеский мир с шершавыми джинсами, грубыми сапогами и нежными неизведанными объятиями…

Я проснулась поздно ночью и увидела себя лежащей в чужой постели. Алик лежал рядом и с нежностью и восторгом смотрел на меня.

– Господи, когда это я отрубилась? – спросила я.

– Какая ты красивая, когда спишь! – нежно проводя рукой по моей коже, отвечал Алик.

– А почему ты не спишь? – спросила я, глядя на Алика, озаренного слабой лампой включенного приемника.

– Как же я могу спать, когда ты рядом! – сказал он, и в тембре его мягкого голоса я узнавала тот голос, который пел. – Я лежу, смотрю на тебя, как ты дышишь, и, знаешь, я так счастлив. Господи, матушка, если бы ты только себя увидела сейчас, какая ты красивая после сна!

Его теплые руки и губы вливали тепло в мое съеженное от холода и длительного одиночества тело. Какой же он был ласковый, этот Алик! Он целовал и ласкал меня часами напролет, и я чувствовала, что оживаю, как засохшее растение, которое наконец стали поливать. Когда наступило утро, мы продолжали лежать в постели, и он, как и я, все не мог насытиться ласками и поцелуями. Вот, оказывается, как бывает… а Леня никогда меня больше пяти минут не целовал.

Когда мы вышли на улицу, чтобы купить чего-нибудь поесть, уже темнело. Выпал снег, и было ослепительно ярко от снега, сверкавшего под фонарями.

Глава тринадцатая
Декабрь 1983 г. – февраль 1984 г.

Полупацан, полудевочка, от него пахло неземной утонченностью. Это был даже не запах, а нечто идущее на ступень легче и неуловимей запаха. Дышишь им – не надышишься, и пьянеешь с каждым вздохом. Сплошное головокруженье!

Шелковистые темные волосы, нежная, почти девичья шея и тут же, круто парусом вздымающаяся мальчишеская спина. Голубоватые выпуклые жилки на худющих руках, угловатые мальчишеские манеры, грубые сапоги на толстой подошве и аромат дыхания, как у младенца. Кожа его была нежной, как лепестки роз.

Чем больше он осыпал меня ласками, тем больше прояснялось у меня в глазах и тем сильнее становилась моя душа. Восстанавливалась моя способность жить. Чем больше прояснялось у меня в глазах и восстанавливалась моя способность жить, тем больше я начинала мучиться сознанием, что убиваю драгоценное время с человеком, с которым у меня никогда ничего серьезного быть не может.

Он был как приятный наркотик, этот Алик.

Я еще сама не знала, как я буду выходить из приятных, но пустых отношений с ним, как судьба сама все решила, за меня.

Снежным вечером, после того как мы с Аликом провели целые сутки вместе и мое чувство вины и неудовлетворенности собой достигло того уровня, когда стало перевешивать удовольствие, которое я получала от общения с Аликом, я, категорически отказавшись остаться еще на одну ночь, попросила его отвезти меня домой.

Снег искрился. Все дороги замело, и это опять больно напомнило мне, что неразрешенный тупик моей жизни терпеливо ждет меня, как бы я от него ни убегала. Машина мягко подкатила по снегу, освещая фарами подъезд моего дома. Мне нужно было побыть одной, привести в порядок свою квартиру, свою жизнь, и я решила пока не забирать Сашеньку. Теперь, после пережитого с Аликом, я с удвоенной силой готова была взяться за свою жизнь.

Не успели мы войти в подъезд, смотрим, стоит Леня.

– Ты чего здесь стоишь? – не поняла я.

– Где ты была? – тихо говорит Леня. – Я здесь всю ночь на морозе прождал. – Леня поворачивается к Алику, смотрит на него пристально. – Ты с ним была?

Мы с Аликом стоим, оба молчим, ошарашены.

– Давай выйдем, поговорим, – говорит Леня Алику.

– Чувак, – говорит Алик, нервно похохатывая, – холодно там! – Да и о чем нам с тобой говорить? Я тебя не знаю. – Леня физически раза в три мощнее Алика.

– Не знаешь… А то, что она моя жена, – ты знаешь?

– Это неправда! – говорю я с возмущением.

– Она сказала мне, что разошлась с мужем, – говорит Алик.

– Кому ты веришь, – говорит Леня, – бабе или мне?

– У меня нет никаких оснований не верить бабе, – говорит Алик. – Тем более, что тебя я не знаю.

– А то что у меня с ней сын, ты знаешь? Знаешь, я тебя спрашиваю?

Мне стало стыдно. О сыне я умолчала. Язык не поворачивается, хоть убей. Мне все время кажется, что, скажи я любому двадцатипятилетнему парню, что у меня есть сын, я сразу умру для него. Не знаю даже, почему я интуитивно постоянно скрываю сына. Сволочь, Леня. Зачем он это Алику говорит?!

* * *

Каким-то образом, почуяв, что в моей жизни впервые после развода кто-то появился, Леня просто-напросто сошел с ума. До этого исчезнувший, как если бы его и вовсе никогда не было, Леня теперь выламывал мои двери и окна, обрывал телефон, подстерегал Алика у моего дома, лупил его.

Наконец Алику это надоело и он сказал.

– Мать, ты знаешь, ведь такой мужик, как твой Леня, и убить может. С этим надо быть поосторожнее. Что-то у меня нет желания каждый день с ним драться или чтобы он в конце-концов меня убил на почве ревности. Давай пока временно не будем встречаться. Ты успокой его, приведи в чувство, объясни ему как-нибудь. Иначе это становится уже невозможно.

Вот тебе и Любовь! Каков Алик? Да я на его счет никогда не заблуждалась, всегда знала, что он не мой человек. Простого Леню испугался. А где борьба за любовь? Где готовность идти на подвиги, в огонь и в воду за любимую?

«Ну и хорошо, что так все кончилось! – сказала я себе, повесив трубку. – Нечего прожигать время даром, все равно это был – не он».

В глубине души мне было немного обидно, что Алик так легко отошел в сторону. Грош цена была всем этим его восторженным взглядам, ахам и охам, комплиментам и нежным словам. Вот как все обманчиво. Столько любви – а за этим –

ничего не стоит…

При этом, Леня – скупой на ласки, холодный Леня, а вон как, оказывается, готов бороться за меня. Удивительно просто.

Ну, да Бог с ним! Даже лучше, что так получилось. У самой бы у меня не хватило силы воли все прервать.

* * *

Я не из той категории людей, которые легко сдаются. Я вообще никогда не сдаюсь! Если человек сделал несколько попыток найти нормальных людей и ему это не удалось, это не значит, что во всей Америке нет ни одного нормального человека.

После того как я увидела благодаря Алику, какой могла бы быть жизнь, после того, как я реально вкусила, что такое счастье, возвращаться назад в старую жизнь было уже невозможно.

Надо его найти – этого одного человека, от которого зависит моя жизнь.

Моисей учил: нужно разработать стратегию и тактику. Нужно сесть и поразмыслить, как и где можно познакомиться с нормальными людьми?

Для этого нужно прежде всего определить, что значит «нормальный человек». Давай четко определим, что именно мы ищем.

Первое – мне нужны только «русские», т. е. выходцы из Союза. Второе – это должны быть мои ровесники, восемнадцать-двадцать пять лет. Третье – это должны быть творческие и интеллигентные люди, с которыми можно о чем-то поговорить. Вот и все. Разве это так много?

Давай поразмыслим: где люди вообще друг с другом знакомятся?

Я пытаюсь вспомнить, когда и как приобрела я всех своих друзей и подруг дома, в Нальчике. Такое впечатление, что я уже с ними со всеми родилась. Маша и Илюша уже были, когда я родилась. Все их друзья и знакомые, соответственно. Эмка, Райка, Зухра… все эти девчонки жили на нашей улице и, сколько помню я себя, помню я и их.

Одноклассники появились, когда мне исполнилось пять лет. За десять лет, которые я провела с ними в одном классе, само-собой получилось, что со многими я дружила. У этих многих были тоже какие-то друзья-подруги вне школы, как у меня, соседи, родственники… Через них я знакомилась. Таким образом, знакомых и друзей у нас в Нальчике было хоть отбавляй. А с тех пор как Маша вышла замуж за москвича Толика, появилась еще

куча знакомых в Москве. Толикины друзья и родственники, Машины новые однокурсники из Первого Медицинского института. Маша даже мне там нашла жениха. Его звали Павлом. Он так и не успел приехать к нам в Нальчик, чтобы со мной познакомиться. Хотя друзья в Москве у нас были и раньше. Папины однокурсники, их семьи, друзья, родственники. Именно так Маша и нашла Толика, через наших каких то знакомых, которые жили в Москве.

Да-а-а…. Похоже, что в Нью-Йорке, дело обстоит не так просто. Здесь, во-первых, мне идти некуда… Ох, если бы я знала куда идти!.. А во-вторых, куда ни пойдешь, русских нигде нет. Встретить здесь своего, это все равно, что найти иголку в стоге сена. А жизнь уходит… Как же быть? Нужно, нужно, нужно что-то придумать!

Как воздух (!) мне необходим всего-навсего один-единственный человек. Без этого одного человека – я инвалид. Я не могу жить, не могу учить язык, не могу растить ребенка, не могу вставать с кровати по утрам… и ничто, ничто на земле мне не в радость! Как я зависима от этого одного человека. А его нет!..

* * *

Сваха… вы думаете, никогда до такого не опуститесь? А что делать, если шанс познакомиться с кем-то естественным путем равен шансу найти иголку с огромном стоге сена? Так и жизнь можно проиграть.

В блокадном Ленинграде, во время голода, по рассказам очевидцев, в городе не осталось ни одной крысы или кошки. Их всех съели. Люди ели даже мертвых людей. Меня всегда передергивало от отвращения, и мысленно я уверенно говорила себе: «Как можно… Как можно так опускаться!» Сейчас я невольно вспоминаю эти истории и уже задумываюсь: а как бы я поступила, если бы оказалась на их месте? Легко презрительно фыркать, когда суровый голод не касается тебя. Когда ты не знаешь, что это такое…

Обратилась к свахе.

Если бы мне сказал кто-нибудь, что я когда-нибудь дойду до такого, я бы ни за что не поверила. Позвонила. А что делать? Сваха тут же сказала, что, прежде чем она начнет со мной работать, я должна привезти ей двести долларов и свою фотокарточку. Это депозит, то есть задаток. Если позже состоится брак, между мной и тем, с кем она меня познакомит, то каждый

из нас – я и он – ей должны будем доплатить еще по тысяче долларов. Согласна. И на такое унижение согласна. На все согласна, только бы найти его. А можно без карточки?..

– Как же ж без карточки! Кого ж я им показывать буду? Если хочешь парня, вези и карточку.

Получив деньги, Людмила, так звали сваху, уверила меня, что найти парня для такой симпатичной восемнадцатилетней девочки, как я, не составит никакого труда.

– Однако, – добавила она, – то, что ты оплатила, это обычный сервис, то есть за обычные знакомства. Если хочешь, у меня есть «сервис-экспресс», но это будет стоить экстра.

– То есть как? – не поняла я.

– Ну обычный сервис – это примерно по одному знакомству в месяц. А экспресс-сервис – десять женихов тебе сразу! Вот сейчас платишь – и сразу десять женихов тебе на выбор выложу.

– Сразу?

Я привезла Людмиле еще двести долларов.

* * *

Картотека свахи.

Садится, перебирает. Наконец достает одну карточку.

– Есть у меня тут Миша из Нью-Джерси, двадцать пять лет, хороший мальчик. Красавец…

Набирает номер.

– Алле-е! Алее-е, Миша? Миша, у меня тут для тебя есть женщина. Она здесь сидит, на поговори! Что? Ты женился? А-а… Ну будь здоров.

Дальше перебирает. Одну, другую, третью… Этот тебе не подойдет, этому пятьдесят лет… этот тоже уже пожилой…

Я смотрю на Людмилу, уже добрый час перебирающую карточки, и удивляюсь, почему нельзя разложить все карточки по категориям: от 20 до 25 лет в одну пачку, от 25 до 30 лет в другую пачку… Зачем нужно держать все пачки вперемешку и потом по сорок лет искать каждого двадцатилетнего? Я уже не говорю о том, что всех двадцатилетних тоже нужно разбить на категории: в одну пачку всех технарей, в другую всех творческих людей, в третью – всех, кто без образования, ну и т. д.

– Нет, этот не годится… Этот тебе не подойдет… – продолжает перебирать карточки Людмила. – Та-а-ак… вот! Рудичек… Из города Бердичева. Красавчик. Прилично зарабатывает! Что значит, это не важно?! Бохгатство, еще как важно! Ну и интеллихгентный, конечно, конечно! Очень

интеллихгентный! Очень, я тебе говорю… Верь мне.

– Рудичек? А? Рудичка нету? Уехал? А, ну будь здоров, будь здоров.

Сколько же должно было пройти времени, с тех пор как эти люди обратились к Людмиле, если один уже успел жениться, второй уехать? А что если во всей ее картотеке моих ровесников – раз два и обчелся?!

Уехал. Ладно, – говорит Людмила. – Знаешь что, ты иди домой, они тебе все сами позвонят.

* * *

Когда я принимаю какие-то меры, пусть даже глупые, мне сразу становится как-то легче на душе. Я приехала домой в приподнятом расположении духа. Сашенька, как всегда, был у мамы. Снова я почувствовала в себе энергию – убрать в квартире, разложить все, что валялось вокруг, по местам. В квартире сразу стало легче дышать, как-то просторней, уютней. Приняла душ, оделась во все чистое, уложила волосы…

Боже, сколько сил у меня, когда настроение хорошее! Такая, казалось бы, не жизненно важная вещь, как настроение, а как может влиять на весь ход жизни!

Закончив намывания, начищения и прихорашивания, я села в посветлевшей кухне и стала ждать звонка.

Звонок раздался.

– Алле-е… – сказала я.

– Алло! Здрасте! Это вам нужен сексуальный партнер?

– Что-о?

– Я спрашиваю, это вы ищите себе партнера?

– Партнера? Какого партнера!

– Я же сказал, сексуального.

– Нет, боюсь, что вы ошиблись номером.

– Триста семьдесят пять девяносто два ноль пять – это ваш номер? Вы к Людмиле ходили?

– К Людмиле ходила, но я боюсь, что тут какое то недоразумение…

– А что тебя так пугает? Сразу видно, только приехала!

– Да? И как это видно?

– По закомплексованности. Тебя пугает, что я называю естественные вещи своими именами. Все, кто только что из совка, такие.

– Возможно. И все-таки «сексуальный партнер» мне не нужен.

– А что тебе нужно? Любо-овь??? Предпочитаешь свою

естественную потребность в мужчине называть высокопарным словом? Хорошо, я могу…

Я повесила трубку. Возмущение, отвращение… Сейчас позвоню этой Людмиле, дам ей нагоняй!

– Людмила! Вы что это таким субъектам даете мой номер?! Я же вам четко сказала, интеллигентным, образованным…

– Ой, что же ты так кричишь? Что случилось? Он что? Что-то ужасное сделал?

– Да нет, ничего ужасного он не сделал. Только тип, который мне только что позвонил от вас, совершенно не соответствует тому описанию, которое я вам дала.

– Так подожди! Он только позвонил? Значит, ты его еще не видела?!

– Ну да! Такого типа парням не давайте мой номер, это совершенно не моя опера.

– Как же ты можешь знать, что он не твоя опера, если ты ни разу не видела человека?!

– Да мне и не нужно его видеть!

– Не-е-ет! Я отказываюсь так работать! Если бы ты его увидела, он тебе не понравился, я готова это понять. Но отказываться от человека, даже ни разу не взглянув на него, я такое не принимаю. Так работать я не буду.

Я минуту помешкала. Просить вернуть деньги было бесполезно. Да и зачем они мне. Нужно было уступить, потому что Людмила была одна на всю эмиграцию. Пообещала, что в дальнейшем буду обязательно встречаться с ее кандидатурами, но она должна помнить, мне нужен только интеллигентный человек.

* * *

Кандидатура вторая. Подъехал за мной на машине. Я села. – Куда едем? – спросил меня Дима.

Я пожала плечами и улыбнулась. Для меня было совершенно неважно, что он был невысокого роста, невзрачной наружности, худощавый. Важно было – что он будет говорить. По пути к какому-то живописному месту, куда он меня обещал привезти, Дима говорил очень мало. Все общие вопросы: сколько мне лет, из какого я города… Приехали. Место действительно живописное: съезд со скоростной дороги, похожий на обрыв, с высоты которого виден весь Бруклин. Остановил машину. Сел поудобнее. Я – вся внимание. Вдруг уверенная рука, хозяйски опускается на мое колено.

– Откуда такая уверенность в себе? – с возмущением скинула я наглую руку.

– А что, тебе неприятно? Разве ты этого не хочешь?..

– Отвези меня домой.

– Да расслабься ты… что ты такая вся напряженная? Я что, тебя съем?

Когда через пять минут после знакомсва или через час, или через день – молодой человек хозяйски хватает меня за колено, он автоматически, сам того не осознавая, подписывает себе приговор. Он еще меня не знает, не может знать, за такой короткий срок, а уже хочет физической близости. Значит, понятно, что ему нужно. Ему, наверно, все равно с кем, а нужно только одного. Умер Дима для меня мгновенно.

На пути обратно я все-таки решила извлечь хоть какую-то пользу из этой встречи: спросила его, почему он уехал из Союза? Как никак, это еще одно мнение.

– Свобода! – сказал он.

– Что конкретно ты имеешь в виду? – допытывалась я.

– А все что угодно! Захочу, выйду на улицу и сниму штаны! Захочу, могу Рейгена громко, во всеуслышанье, обматерить! Все что захочу, то и сделаю!

– И ради этого стоило сюда ехать? – не верила я. – Ради того, чтобы в открытую материть Рейгена? Или снимать штаны на улице?

– А у нас в Союзе попробуй Брежнева при всех обматери! Увидишь, где ты окажешься! Не нравится мне жить в той стране, где ничего нельзя!

– Да что именно нельзя? Ты мне нормальный пример хоть один приведи!

– А это, по-твоему, не нормальный? Почему я не имею права говорить все, что думаю, вслух? Почему на курорте, возвращаясь с пляжа, я должен одевать рубашку и брюки, чтобы зайти в ресторан покушать? А здесь на пляже, в ресторане, где угодно, ходи в чем угодно, никто тебе слова не скажет. Здесь я свободно дышу! Разве можно сравнить Союз с Америкой?! Закомплексованные все там, вот как ты. Моральный кодекс коммуниста… и вся там подобная чушь. Секса боишься. А это же естественно! А там всем так внушают, что секс это что-то постыдное. Даже анекдот такой был, знаешь?

– Какой анекдот?

– Ну задают вопрос американке, француженке и русской: «Что такое хороший секс?» Американка рассказывает: «Хороший секс – это, когда я с ее мужем, а мой муж с его женой»… Француженка говорит: «Хороший секс – это когда залезешь на Эйфелеву башню

и там… на самой вышке… О-о-о!!!» Выходит советская женщина и говорит: «А в Советском Союзе секса нет!»

Черт его знает! Может, и в самом деле меня в Союзе закомплексовали! Не знаю… не знаю, что правильно, а что неправильно. Действительно, секс – это очень естественно, и относиться к нему, может, и нужно проще….

Только уж здесь другая крайность. Переспать с кем-то для них здесь, как яичницу сожрать. Как кошки или собаки на улицах, увидел, понюхал и вперед! Мы же все-таки люди, нельзя ж так совсем «без комплексов»!

* * *

Мне кажется, я начинаю понимать, почему меня так магически усыпляет письменный стол. Когда в колледже нам учитель давал задание, меня всегда бесило то, какими мизерными шажками мы продвигались вперед. Я решила, что дома, сама, я могу охватить гораздо больший диапазон. Я ставлю перед собой столь непосильно-огромную задачу, что меня отрубает. Надо ставить малюсенькую цель. Ее легко осуществить. Тогда сонливости не наступит. Вот в чем, оказывается, секрет!

Написала и повесила у себя над столом:

НЕ ОСВАИВАЙ ВЕСЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

СРАЗУ! ПО КУСОЧКУ. ТОЛЬКО ПО КУСОЧКУ.

Меня бесит медленность продвижения, когда «по кусочку». Огромный же кусок – застревает в горле. Хочешь быстрее, а в итоге совсем застреваешь.

Выбор у меня тупиковый. Как видно, на английский нужно махнуть рукой.

* * *

Зазвонил телефон.

– Привет! Меня зовут Стасик. Я от Людмилы. – Голос веселый, добродушный.

– А… Стасик… От Людмилы… Да-да. Очень приятно, – мой

голос сонный, я еле ворочаю языком.

– Предлагаю встретиться.

– Встретиться? Ну вы хоть расскажите немного о себе.

– А мы можем на «ты»? А то как будто мы на партсобрании.

– Ну хорошо, давай на «ты».

– Что ты хочешь знать?

– Ну все, что расскажешь. Сколько тебе лет, из какого ты города, кто по профессии… мне все интересно.

– Я из города Винницы.

– Откуда?

– Город Винница. Есть такой город на Украине.

– А!

– Работаю слесарем. Что еще… Мне двадцать четыре года… Ну вот и все.

– А какие у тебя хобби? Есть у тебя хобби?

– Хобби? Е-е-сть! Очень люблю рыбалку. Могу все свое свободное время рыбачить.

– Рыбалка? А… это я тоже люблю. А еще?

– Еще? Люблю с друзьями посидеть, водочки выпить. Знаешь, когда водочка еще потненькая, прямо из морозильничка. Рыбку на костре поджарить. Ух, это ка-а-айф! Здесь это редко выходит. Здесь все заняты. В Виннице мы часто сидели с друзьями…

– А почему ты уехал из Союза? Что побудило тебя?

– Если бы мы не уехали, меня бы забрали в армию. У меня еще брат. Мама страшно не хотела отпускать нас в армию. Мы решили уехать в Америку.

– А почему именно в Америку?

– Куда еще? В Израиль? Там тоже бы забрали в армию. Зачем менять шило на мыло?

Что ж, слесарю, пожалуй, не страшно поменять страну, где вместо русского языка и русской культуры, туземцы и папуасы, если у него хобби – только потненькая водочка да рыбалка. Рыбу удить, действительно, здесь тоже можно. Там армия – здесь нет. Действительно, для него был прямой смысл.

* * *

– Людочка, он хороший парень, но мне не подходит.

– Не подходит? Что значит «не подходит»? Чудесный, интеллихгентный, красавчик, бохгат! Как не подходит? Ты знаешь, ты скандальная! Ты скандальная! У тебя очень тяжелый характер. Вот почему ты и замуж не можешь выйти. Ты, как пришла, я удивилась, что такая молодая красивая девочка замуж

не может выйти. Я теперь поняла, у тебя очень тяжелый характер… Ты никогда не выйдешь замуж! Я буду давать твой телефон еще, но я вижу, это тебе не поможет. Ты никого не найдешь.

* * *

Телефонный звонок.

– Сколько вам лет? – спрашиваю я.

– Двадцать четыре. А тебе?

– А мы, что, уже на «ты» перешли?

– Почему не-ет? – опять этот эмигрантский акцент… «пачему-у не-е-е-ет?»

– А-а-а… Мне скоро девятнадцать.

Пауза. В трубке сопение, возня…

– А из какого ты города? – спросила я после долгой паузы, надо же в конце концов хоть кому-то что-то сказать.

– Я? Из Бобруйска. А ты?

– А я из Нальчика.

Пауза. В трубке опять сопят. Опять молчат.

– Тебе нравится Америка? – снова, не выдерживая столь долгой паузы, помогаю ему я.

Пауза. Сопение. Кряхтение.

– Я зна-а-ю…

– Ты не знаешь, нравится тебе Америка или нет?

– Или мне нравится Америка-а?… Нра-а-вится. Почему нет?

Опять длинная пауза, которую снова прерываю я.

– А чем ты занимаешься?

– А?

– Ну что за профессия у тебя?

– Лимо-драйвер.

– Что?

– Лимо драйваю.

Почему меня бесит манера здешних русских вставлять куски английского, когда говорят по-русски? Хотя английский у них такой, что лучше бы они вообще молчали. «Драйваю» – от слова to drive. Я драйваю. «Лимо» – «лимузин». Это нечто вроде элитного такси, для богатых. Водитель лимузина. Я знаю, что здесь в Америке по этому ответу вывод делать нельзя. Помню, помню, что самые интеллигентные люди здесь работают водителями, так что это ничего не значит.

– Ну а хобби у тебя есть? – продолжаю допытывать я.

В трубке снова раздается молчание. Мой собеседник кряхтит

и сопит.

– Кх… кх… хобби?… кхм… ммм… я зн-а-а-ю… какие хобби ты хочешь?.. Почему у меня должны быть какие-то хобби? А если я просто нормальный человек, то это тебе не подходит?! Без всяких хобби.

– Послушай, а почему ты уехал из Союза? Вот что тебя там не устраивало, что ты вдруг решил уехать?

– Что? Почему уехал? Кхм… Я зна-а-а-ю… Все уехали, и я уехал.

– Это как? Вот так прямо все и уехали? Все – это кто?

– Ну братья мои, отец, мать…

– А они почему решили уехать?

– Они? Кхм… Ты такие вопросы задаешь… Кхм… Как можно не понимать, почему люди едут из Союза?

– А я вот не понимаю. Я всех спрашиваю. Я пытаюсь понять, почему люди уезжают из Союза? Я буду тебе очень признательна, если ты мне объяснишь.

– Кхм… почему все уехали… ты такие вопросы задаешь… кхм… я зна-а-а-аю…

* * *

– Людмилочка! Милая! У меня уже нервный тик! Прошу вас, умоляю вас – мне нужен интеллигентный человек! Вы понимаете слово – «интеллигент»!!!?

Людмила пообещала на этот раз точно познакомить с интеллигентом. Я пообещала, что сто процентов с ним встречусь, а не забракую его по телефону.

Интеллигент был худенький двадцативосьмилетний парень, по имени Фима. У него был вострый носик, птичий подбородок, коротко постриженные волосы и круглые маленькие очки. Он был одет в костюм с иголочки. Пригласил меня на чашку кофе в дайнер[26] «Эль Греко».

У Фимы не было никаких затруднений с речью. Он говорил легко, много и без этого жуткого специфического акцента, который был почему-то присущ всем эмигрантам. Фима был москвич.

Мы зашли в уютно освещенный, красочно оформленный дайнер. Симпатичная метродотельша, улыбаясь, приветствовала нас. На роскошно освещенных неоном витринах красовались суперразмеров, сногсшибательной красоты торты, пирожные. Пахло молотым кофе. Нас усадили за уютный столик.

Фима сразу рассказал мне, что автомобиль, на котором мы приехали, стоит девять.

– Что девять? – спросила я.

– Девять тысяч!

– А-а-а… – сказала я, и Фима продолжал.

Из его рассказа я узнала, что Фима программист. Если бы он сказал раньше, что он программист, я бы с ним не встретилась. Отторжение у меня, просто рвотная реакция на программистов. Неприязнь, как к классовым врагам. Сама не знаю, почему. Может, потому что здесь все поголовно (если не считать таксистов) стали программистами. Программист – это значит человек без личности, человек, позволивший себя загнать в стадо, который пошел по течению, на поводу у общества, без борьбы, без сопротивления. Упрямство во мне что ли говорит или принципы: только я знаю точно, пусть меня четвертуют, облив предварительно смолой для позора, но и тогда они не сломят меня и не сделают программистом. Так же я никогда не смогу полюбить программиста, а уж тем более стать женой его.

Отчего я так ненавижу программистов?

Может быть, потому что я ревную? Или отторгаю то, что мне больше всего в рот пихают, со всех сторон и, чем больше пихают, тем больше мое отторжение. Постоянно всюду их ставят мне в пример. Вот Ириночка, наша соседка, устроилась на сорок тысяч со старта, а ее муж Володя уже получает семьдесят! Вот это интеллигентная чистая профессия! Какой нормальный человек в Америке может всерьез думать стать писателем… Программисты задавили собой мое пространство, заблокировали мне кислород, забрали то, что принадлежало не только им, но и всем остальным. Я ненавижу программистов! Но сейчас я уже здесь, вынуждена буду досидеть до конца встречи. Хоть спрошу, отчего такие, как он, уехали из Союза.

Нам принесли дымящиеся чашечки: мне чая, а Фиме кофе. Фима заказал себе поесть и настаивал, чтобы я тоже заказала.

– Я не голодна, спасибо.

– Ну хоть что-то сладкое возьми.

– Нет, нет, спасибо, я ничего не хочу.

– Bring her a strawberry cheescake please, – сказал Фима на отвратительно нарочито-правильном английском.

Официантка в коротенькой юбочке (здесь все любят показывать задницу, даже там, где это вовсе неуместно, даже в съестном заведении!) повторила весь заказ: «Хамбургер делакс, хорошо сделанный»…

– Почему «хорошо сделанный»? – удивилась я. – Что у них бывает и плохо сделанный?

– Это оборот речи, – пояснил Фима. – Означает хорошо прожаренный, не полусырой.

– Но разве это не «вэл кукед»?

– Ты права. Но они почему-то говорят так: «вэл дан».

– В меню написано: «де люкс», а произносите – «дэлакс».

– Такой английский, – улыбнулся Фима.

– Звери. Это они, чтобы эмигрантов помучить все так перековеркали, – злобно пошутила я, хотя злилась не на шутку.

Ни одно блюдо в меню не читалось так, как писалось. Ох уж этот английский…

Не успели мы моргнуть и глазом, как нам принесли наши заказы. Таких размеров я в своей жизни не видела никогда. Это были блюда мутанты. Пирожное – гигант, наверное, для слонов. А гамбургер «дэлакс» был рассчитан, похоже, не на одного человека, а на группу голодных людей. Если бы этот кусок мяса, картофель, салат и все прилегающие гарниры, соусы и хлеб разделить на десять частей, на десять человек, я сомневаюсь, что хоть бы один из десяти доел бы свою порцию, – так много принесли на одной гигантской тарелке. Это были блюда из какой-то сюрреалистической кухни, из музея увеличительных стекол, где все раздуто в размере до нереального. Но Фима не удивился. Спокойно принялся есть и продолжал спокойно беседовать.

Его годовой доход – сорок тысяч. На счету в банке у Фимы уже скопилось двадцать тысяч. Костюм, в котором он приехал на свидание со мной, – двести баксов! Очки от Армани – сто пятьдесят. А зубы, – Фима широко растянул губы, чтобы показать весь ряд передних зубов, на которые он только что надел каронки, – зубы – пять тысяч! Да, читать он любит, но ему некогда, нет времени читать. Очень занят на работе. Здесь вообще такая жизнь, здесь никто не читает. Здесь все заняты выживанием, деланьем денег.

– Вы имеете в виду, зарабатывают деньги? – переспросила я.

Фима опять ухмыльнулся.

– М-м-м… да to earn money – это «зарабатывать деньги», да? Ты права. Но здесь никто так не говорит. Говорят: to make money. «Делать деньги». Ты привыкнешь, – отвлекся Фима на минутку и опять продолжал.

Возможно, уже в будущем году ему прибавят, и он будет получать все сорок пять!.. Есть перспектива роста…

Уговорил меня заехать к нему, посмотреть, как он живет. Лакированный паркет. Шикарная мягкая мебель. Стереосистема – 21-й век. Телевизор – другая планета.

…. И ни одной книжной полки!

Ни одной книги во всем доме. Как может у человека не быть в

доме книг? Такое я видела впервые. Человек, у которого в доме нет ни одной книги, для меня не человек, а просто биологический организм. Программист – одно слово!

– В Москве я читал, – говорил Фима. – А здесь ведь совсем другая жизнь! Здесь некогда!

– А что ты читал, когда жил в Москве?

– О-ой!!! О-ой! Вот уж не помню! Это было так давно! Я вообще люблю фантастику.

– Ну а что именно? Какие писатели-фантасты тебе запали в душу?

– Ну нет такого одного конкретного… Вообще фантастику.

– И ты не помнишь ни одного произведения?

– Давно это было… – усмехнулся Фима.

На прощанье я все-таки спросила его:

– А почему ты решил уехать из Союза?

– Ну ты даешь! – искренне удивился Фима. – Ты действительно всерьез задаешь этот вопрос?

– А что? Что в этом вопросе такого сверхестественного?

– Ну не знаю. Просто я впервые вижу человека, который такой вопрос задает.

– Так всем понятно, почему люди эмигрируют из Союза?..

– Сколько тебе было лет, когда вы уехали?

– Пятнадцать с хвостиком…

– Все понянто. И, скорее всего, инициатива была не твоя…

– Не моя. Папа увез.

– Ну да… Ты понимаешь… ты уехала маленькая, ты жизнь там не видела. Поэтому тебе непонятно. Человек, который там жил, таких вопросов бы не задавал.

– И все-таки можно же объяснить словами.

– О-ой! – выдыхает Фима. – Ну, я не знаю… Как объяснишь словами всю жизнь?..

– Ну зачем всю жизнь. Вот чего конкретно тебе не хватало? Почему ты двинул? Это же так просто, взял да объяснил!

– Ну вся жизнь… Она убогая там! Начиная от этих серых улиц, от этой слякоти на дорогах, луж, грязи, хамства людей, пробок в метро… Нет ни одного светлого воспоминания о жизни там.

– Постой-постой! Там – пробки в метро! А здесь их нет? Там – лужи на улицах? А здесь нет луж?

– Они, может, и есть! Но как-то я их здесь не ощущаю… Может быть, оттого, что вся жизнь здесь другая.

– Как она другая? Чем другая?

– Люди не хамят на каждом шагу. Идешь по улице, здесь все тебе улыбаются. А там все, как с цепи сорвавшиеся.

Я попыталась вспомнить, но не припомнила ни одного случая, чтобы здесь кто-то мне на улице улыбнулся. Все несутся куда-то, всем просто на меня наплевать. Так же не могла я припомнить, что в Союзе люди особо отличались хамством или грубостью. Нормальные были люди. Если ты ведешь себя нормально, вежливо обращаешься сам с ними, они тоже вежливо отвечают. Ерунду он несет.

– Что-то ты не то говоришь… – сказала я. – Но даже, если допустить, что это было так, разве это повод, чтобы поменять свою страну на чужую?

– Но не только это!

– А что же?

– Ну много, много таких деталей. Приходишь в магазин, например, тебе нужно купить батарейки, а батареек нет. Вот мелочи, а как они достают. Как приятно здесь, зашел в магазин: и тебе батарейки, и тебе салфетки для лица, и тебе туалетная бумага… все есть! Здесь не бывает такого, что чего-то нет. А одноразовые полотенца! А бензин! Не надо ходить, унижаться, иметь своего знакомого механика, чтобы твой автомобиль обслуживал… Приехал в любое время, на общих основаниях – и тебя обслужат! Не надо иметь своего знакомого мясника в магазине, делать из простой покупки мяса бог знает что. Пришел, купил – все есть. Там же все было по блату. Подумать только! Туалетную бумагу (!) просто так нельзя купить! Даже из туалетной бумаги сделали дефицит. Нужно было отстоять трехкилометровую очередь и пройти через кучу унижений, чтобы купить элементарную бумагу, чтобы зад подтирать. Что это за жизнь? Ты еще спрашиваешь, почему…

«Да, но все это материальное, а что насчет духовного, которое мы потеряли в обмен на батарейки и туалетную бумагу?» – подумала я про себя, но не стала говорить этого вслух.

* * *

– Людочка! Хорошо, давайте не будем спорить о том, что означает слово «интеллигент». Я просто хочу парня, который очень любит хорошие книги и хорошее кино. Все! Это единственное, что обязательно должно быть. Все остальное неважно. Неужели я так много прошу?

Звонок.

– Я обожаю хорошие фильмы!

– Да??? Скажи, какой твой любимый фильм? Фильм, ну который сформировал, можно сказать, тебя?

– Любимый? «Бриллиантовая рука»!

Разочарованье. В нашем кино столько глубоких, серьезных фильмов, а он – «Бриллиантовая рука».

– А еще?

– Еще? «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Классный фильм!!!

– Ну а любимая книга?

– Любимая книга? А сколько хороших книг у нас в Совдэпе было? Там всего и было две книги. Остальное – говно.

– Допустим, что я не согласна, с такой установкой. Если по мне, то нет богаче и прекрасней ничего в мире, чем русская литература. Это же бездонный мир… И все-таки, какие две книги?

– Известно какие. «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Какие ж еще?!

* * *

Я сваха всей эммихграции. Я выдала замуж и поженила стольких… но таких, как ты, я не видела. У меня больше никого нет. В твоей возврастной катехгории – нет. Если хочешь, есть у меня один интеллихгент. Вот этот уж точно всем интеллихгентам интеллихгент! Скульптор! Начитанный! Смерть. Только что разошелся с женой. Она бросила его одного с ребенком и ушла к любовнику. Он даже не обращался ко мне, просто в нашем доме живет. Но он постарше. Ты просила до двадцати пяти лет. А ему-то побольше.

– Сколько же ему лет?

– Тридцать два… тридцать три… я точно не знаю, что-то в этом роде.

Я представила старого семейного мужика, который жил с женой, ребенком… Зачем мне это? Тридцать два, или сто два для меня было одно и то же, за пределами цифры «двадцать пять» уже молодость кончалась. А уж за цифрой «тридцать» были одни дядьки. Мне хотелось влюбиться в парня. Зачем мне дядька?..

Глава четырнадцатая
Февраль – сентябрь 1984 г.

Позвонила мама.

– Ты так редко приходишь, – говорит мама. – Пришла бы дедулю проведала. Врачи сказали, что ему остались считанные деньки.

Разве я сама не знала, что дедушка смертельно болен? Откуда во мне такая черствость, такая глухость? Меня словно и не касается, что происходит с дедушкой, с сыном, с родителями, с сестрой. Я только полна своей болью! Я, как обезумевший пес, которому переехал лапы автомобиль: вою в бешенстве, никого и ничего, кроме своей боли не видя.

Смерть дедушки до меня не доходит.

Дедушка… умер (как трудно применить это слово по отношению к моему дедушке…) четыре дня назад. Где я видела уже эти дороги, это солнце? Когда это уже со мной происходило? Все это – мне снится? Это все не может быть по-настоящему. Это не со мной происходит. Возможно, я проснусь еще…

* * *

По еврейскому обычаю на похоронах должно присутствовать десять мужчин. Бедный дядя Денис, так мечтавший, чтобы на его похороны пришел хоть один друг, сам похоронил своего единственного ровесника и друга, появления которого он, по его же словам, ждал тридцать лет. Это был единственный друг деда в Америке, если можно назвать другом человека, которого знаешь всего пару лет, а тебе за семьдесят. Были папа, дядя Стас, еще несколько соседей, но до десяти мужчин не дотягивало. Было в этом, на мой взгляд, нечто даже страшнее самой смерти: одинокий гроб, у которого не собрались люди, знавшие тебя всю жизнь, уважающие, любящие, помнящие все о твоей жизни и о твоих делах.

Дедушка со дня приезда посещал местную синагогу в нескольких блоках от нас. Рэбе, узнав о смерти деда, прислал нескольких мужчин из своей синагоги, чтобы десять мужчин все-таки были. Очень трогательно с его стороны. Спасибо искренне. Однако, почему меня коробит, пожалуй, даже сильнее, чем сама смерть дедушки (смерть неминуема, это факт жизни), что над его гробом нет, кроме его семьи, близких, уважающих его людей?

Я по себе знаю: умереть это полбеды, мы все смертны, и этот факт я давно приняла как неизбежное. Однако есть разница – как умереть. Заброшенным и никому не нужным? Или с такими почестями, чтобы вся страна поднялась? Наверно, в этом кульминационном моменте, завершающем нашу жизнь, есть некая символическая оценка: как прожита твоя жизнь, каков финал.

Разве я не знаю, что, будь мы сейчас в Нальчике, в городе не осталось бы ни одного еврея, ни одного кабардинца, а также очень много русских – молодых, стариков, средних лет, – все бы пришли проводить дедушку в последний путь, положить в корзиночку с итогом его жизни свою веточку памяти и уважения. Корзина с итогом дедушкиной жизни ломилась бы от любви бессчетного количества людей, и смерть его могла бы быть оправдана хоть этим.

Гроб, над которым стоят, хоть и очень чуткие, желающие помочь, пейсатые евреи, даже имен которых мы не знаем, гроб, у которого с натяжкой собираются десять чужаков, это сведенная на ноль прожитая жизнь. Такой страшной ценой заплатил дедушка во имя счастья своего любимого сына и своих любимых внучек.

Или… во имя придуманного, воображаемого счастья?..

* * *

Руки мои, ноги мои, тело мое – как плети. Все вялое, одеревеневшее, не чувствующее. В голове моей подключены все тормозные аппараты. Я как лабораторная крыса, которой сделали укол с раствором «твайлайт слип»[27], и ей теперь все по барабану. Я смотрю вперед себя тупыми осоловелыми глазами, не сплю, но плохо реагирую на какие бы то ни было раздражители из окружающего мира. В голове у меня густой непроходимый туман. Ребенок хнычет в соседней комнате. Я не в силах встать. Да он и не очень орет.

Вот уже около часа делаю над собой мучительные усилия, чтобы встать. О, это адские пытки – это толкание себя! Эта неподвижная тяжесть тела, невозмутимо противостоящая насильно толкающему его встать рассудку… Этот момент пересиливания себя, чтобы встать, разрушить эти сети непроходимой сонливости, этот момент и долго после него – пытка, сущая пытка!

Посидев некоторое время, чувствую, как сидеть для меня невыносимо. Все мое тело изнывает, так хочется ему избавиться от груза «держать» себя. Вспомнила о ребенке, который подозрительно затих. Прошла в большую комнату: весь

обделанный, он мирно спал на коврике. Я вспомнила, что его кормление в три часа было пропущено и даже в шесть, видно, придется пропустить, т. к. он уснул в самое неподходящее время.

Нет! Не могу! Не могу выдержать! Ничего не хочу – только лечь! Лечь и расслабиться. И легче. О, как легко сразу стало! Вот постепенно все части моего тела снова немеют, вот руки, ноги, спина, живот – все это как бы деревенеет. Внутри меня все покрывается какой-то защитной оболочкой, слюдой непроницаемости, деревянного отупления. Такое состояние более или менее выносимо, и я лежу.

Поскольку восприятие и все ощущения мои заторможены, я могу так лежать часами. Чувство вины за свое бездействие и желание подняться хоть и висят надо мной всякую минуту, они так же приглушены, как зубная боль после принятия анальгина. Откуда «анальгин», ведь я ничего не принимала?!

* * *

Иногда, случается, что лежу я с открытыми глазами, не сплю, а как будто снится мне долгий мучительный сон, состоящий всего из одной сцены. «Снится» мне, как я встаю с кровати, иду в душ, моюсь, одеваюсь, причесываюсь… Я куда-то торопливо собираюсь. Напрягая все свои силы, я пытаюсь увидеть, понять – куда это я? Куда? На этом самом моменте от сильного моего напряжения все обрывается и начинается сначала. Я встаю, иду в душ… Снова то же самое по кругу. Параллельно тому, что вижу темную квартиру, задернутые шторы, себя в постели, я вижу, как я просыпаюсь, встаю, отдергиваю штору, умываюсь, одеваюсь… Прокручивается эта одна и та же сцена снова и снова, как на заевшей кинопленке, до умопомрачения, до одури, пока я не вскакиваю, как будто от физической боли, и не бегу засунуть голову под кран с холодной водой, чтобы пробудиться и прекратить это невыносимое наваждение.

Если бы у меня был заклятый враг или нужно было бы казнить кого-то самым тяжелым, самым изощренным наказанием, я бы не пожелала человеку болезней, голода, смерти… Я бы пожелала ему, оставаясь молодым, сильным и здоровым, просто жить, абсолютно ничего не делая!

* * *

Устроилась на работу официанткой.

Мне посоветовала одна девчонка, с которой я в прачечной разговорилась, когда стирала белье: официанты, говорит, на чаевых в день зарабатывают столько, сколько простая секретарша в офисе зарабатывает за неделю. Только надо крутиться как заводной.

Крутиться как заводной?! Пожалуйста! И получать в 10 раз больше! Это как раз то, что мне нужно. Минимум затраченного времени, максимум отдачи! Ненавижу размазывать по стене. Ненавижу до-о-лгие ленивые дни и оплату, не хватающую ни на что.

Забавное решение проблемы. Да.

Я иду работать официанткой не столько за деньгами, сколько просто, чтобы куда-то идти. Чтобы прекратить лежать дома. Чтобы разорвать заколдованный круг.

Я готова не официанткой, а говновозом! Я готова кем угодно, куда угодно, только бы не лежать дома! Только не лежать дома…

Деньги мне не нужны, я могу жить, как говорит моя мама, на хлебе и воде. Квартиру мне оплачивает специальная государственная «Восьмая» программа (это мне положено, потому что у меня ребенок и нет мужа). На еду мне хватает «фуд стемпов».[28]

Я живу в других измерениях, не в материальных. Никогда не стану рабом материальных ценностей. С утра до вечера ходить на службу, чтобы потом купить себе что-то? Никогда! Хотя, если есть возможность заработать быстро, неплохо было бы купить себе новой одежды. А то, с тех пор как мы разошлись с Леней, я в одном и том же хожу.

– Он должен платить тебе алименты! – советуют мне соседки. – Это его обязанность! У вас ведь ребенок. Подай на него в суд!

– Мне не нужны его деньги, – спокойно говорю я. – Я не буду с ним воевать из-за денег, я и так ему достаточно горя причинила, морально.

* * *

Когда я пришла в первый ресторан на работу, я думала, что я снизошла до этой черной работы. Вы думаете меня там ждали?

Ровно через полчаса меня уволили, заплатив мне за полчаса.

Я была в недоумении. Что, тарелки подносить у меня недостаточно квалификации? За что меня уволили? Но я никогда не сдаюсь. Нашла себе другой ресторан буквально на следующий день.

– У тебя есть «экспириенс»? – спрашивают меня все, как договорились.

Что такое «экспириенс»? Это слово, я заметила, они очень любят повторять. «Экспириенс» – это опыт работы. Много опыта нужно, чтобы тарелки подносить! Скажу, что есть. Как они проверят?

– Нужно купить униформу, – говорит мне хозяйка.

«Это еще что такое?» – думаю я про себя.

Оказывается, спецодежда для официантов. Пришлось ехать черт знает куда, в специальный магазин, покупать униформу. Стоит недешево, 30 долларов! Целое состояние. Но, начав работать, я уже в певый день заработаю вдвое больше. Родители мне дали денег на униформу. Ведь это нужно для работы.

Только я приступила к работе, ровно через час меня уволили!

Я отметила про себя, что во второй раз я удержалась на работе вдвое дольше, но все же мне было непонятно, почему меня увольняли.

– А как же униформа? – спросила я. – Мало того, что я потратила целый день, чтобы ее купить, я еще потратила 30 долларов, которые взяла в долг!

– Униформа остается вам, – спокойно сказала хозяйка.

– Но мне она не нужна! – с возмущением возразила я.

– Мы не возмещаем деньги за униформу, – твердо сказала хозяйка и исчезла из поля моего зрения прежде, чем я успела ей возразить снова.

Я вышла из ресторана, чувствуя себя побитой.

– Сволочи! Буржуи! – плевалась я.

После того как меня уволили еще в нескольких местах, я, кажется, начала понимать, что эти звери от меня хотели. Я поняла, что нужно было делать, чтобы удержать работу. Я должна была играть с ними в игру, как будто процесс принятия пищи моего посетителя – самое важное в мире дело! Я должна была нянькаться и цацкаться со всякими, самыми что ни на есть издевательскими пожеланиями посетителя.

Суп приносить отдельно. Ждать, пока он его съест. Второе приносить сразу после супа, причем ни на минуту раньше, ни на минуту позже того, как он съел первое! И уж ни в коем случае кофе с десертом не приносить до того, как обед съеден! И это еще не все: они тебя еще в промежутках раз пятнадцать погоняют. «А можно мне кетчуп?»; «Я ложечку уронил, вы не принесете мне новую?»; «Можно попросить у вас сухарей вместо хлеба?»; «Вы не принесете мне молока вместо сливок?»…

Если бы у меня был один посетитель, тогда можно было бы уделять ему столько внимания. У меня за одним только столиком

по три-четыре человека! А столиков тоже пять или шесть. Попробуй, уложись, чтобы никто не ждал ни минуты, но и раньше тоже, чтоб ничего не приносить! Это нереально!

– Вы требуете от меня нереального! – говорю я боссу. – А что же такого ужасного, если я принесу и поставлю на стол первое и второе сразу?! Времени и так нет, посмотрите, сколько столиков нужно обслужить! Попробуй, уследи, когда каждый из них съест свой суп, потом свое второе, потом свой десерт… Это сколько раз нужно бегать, если все по отдельности тащить! Я готова бегать! Но мне физически не успеть! А так, одним разом принес все, это же быстрее!

Вместо того чтобы объяснить мне, что он считает, что я не права, хозяин ничего не ответил, просто через полчаса меня уволили.

Дальше это был уже спортивный интерес: или я их, или они меня. Я начинала понимать, они здесь требовали от официанта, чтобы тот был не простой официант, а фокусник, волшебник, человек, наделенный сверхъестественной силой.

Присмотревшись внимательнее, я увидела, что официанты и есть все супермены и волшебники. Просто человек, не знающий внутренней ситуации, не понимает этого. Это так только с виду кажется, что нехитрое дело – тарелки подносить. Попробуй, обслужи одновременно двадцать человек так, чтобы все было по правилам, вовремя, чтобы никто не ждал ни минуты и чтобы все ушли довольные!

Возмущалась я не зря, принося по одной тарелке, обеспечить такой сервис было действительно нереально! Однако, оказалось, у них были свои трюки. Например, они приносили по шесть супов одновременно. Или пять вторых блюд разом! Такое решение проблемы нормальному человеку в голову не придет. Для этого нужно быть очень изобретательным, ловким, словом, человеком наделенным суперсилой. А я этого прежде не знала.

Ну какой обычный человек может одним разом унести и донести целыми шесть огромных тарелок в одной руке и еще одну во второй?! А нью-йоркские официанты могут!

И меня научили. Кладешь одну тарелку в левую ладонь, вторую поверх первой, но наполовину, так, чтобы еду в первой тарелке не затрагивала, третью поверх второй, но опять же наполовину… Выстраиваешь их, как домино. Повинуясь какому-то интересному закону, тарелки, оказывается, устойчиво держатся, если знать, как их укладывать! Если не знать всех таких супертрюков и не быть супербыстрой и суперорганизованной, никогда в жизни не успеть обслужить по их правилам столько столиков!

А знаете, как принести восемь чашек с дымящимся, горячим кофе в двух руках без подноса одновременно? Ни за что не догадаетесь! А если кто догадается, не каждый сумеет. Складываешь две башни, четыре чашки кофе с блюдцами в одну сторону, четыре в другую, примериваешь, как штангист, – и раз! В обе руки по башне! Принес, поставил обе башни на столик, потом раскладываешь индивидуально каждому. Каково?!

Так что теперь я знаю, если кто-то удержался на работе официанта в каком-либо ресторане Нью-Йорка, значит, этот человек супермен.

– Шесть тарелок в одной руке?! – удивлялась я, радуясь, что я теперь тоже супервумен.

Не каждый может этому научиться!

– А как же! Это Нью-Йорк! Здесь тебе делать нечего, если ты не супервумен! – говорили мне другие официанты.

* * *

Наконец в каком то ресторане в Манхэттене я поняла, что смогу удержать работу. Я уже приобрела тот самый «экспириенс», чтобы понимать, что от официанта требуется.

В шесть утра я просыпаюсь, иду в душ, торопливо собираюсь и, одетая, выхожу из дома. Пусть я иду не совсем туда, куда хотелось бы, главное, что я иду куда-то. Сашенька теперь почти все время у мамы. Я теперь его редко вижу. Живу уже без неподъемного груза воспитания маленького ребенка, зато с неподъемным ощущением своей вины перед несчастным ребенком, который оказался жертвой моего эгоизма.

Каждое утро, выходя из дома, я понимаю, что такое счастье. Я не шучу. Счастье – это с деловым видом выходить по утрам из квартиры и запирать за собою дверь. Счастье – это мчаться к метро, боясь опоздать куда-то (неважно, куда). Ехать в толпе людей, тоже куда-то спешащих, к чему-то стремящихся, неважно куда, неважно к чему. Счастье – это бегать целый день, выполняя какие-то поручения, относя что-то, принося что-то, отвечать на какие-то вопросы, говорить, подавать, убирать, считать деньги в конце рабочего дня вместе с другими официантками, возвращаться домой усталой и, вытянув зудящие ноги, с удовольствием лечь в постель с сознанием, что завтра надо рано-рано вставать… Вот, что такое счастье!

Для того чтобы понять, что такое счастье, нужно сначала несколько лет просидеть, не выходя из квартиры, ничего не делая, а потом устроиться на работу, хоть официанткой, хоть

уборщиком мусора, неважно, и начать выходить по утрам из дома, торопиться на работу. Тогда вы поймете, что счастье, оказывается, вовсе не в каких-то особенных достижениях, как вы раньше думали (вот я достигну того-то и я буду счастлив!), а в контрастной перемене образа жизни. Выйти и двигаться после застоя! Прийти в тихий дом и вытянуть ноги, после долгого тяжелого рабочего дня! Вот как просто, оказывается, счастье.

* * *

– Клин ап ер стэйшен! Ту эггз овер изи, хол виат тоаст уиз баттер он вэ сайд! Хамбургер делакс, медиум-уэл! Ту коффииз, ту теаз, энд уан спрайт! Хамбургер реар, но бан!

Все эти приказы раздаются целый день на кухне. Официант, принимая заказ, записывает все на квиток, потом отдает квиток на кухне, где стоит целый отряд поваров разных категорий, и один из них громко читает все заказы. Повара работают как заводные: работа их настолько поставлена и организована, что у них не пропадает ни одной секунды и им некогда даже чесануть нос в этой суматохе. Официант или повар, работающие в нью-йоркском ресторане, не могут себе позволить пойти в туалет во время ланча, то есть с одиннадцати до трех дня, или во время обеда, что есть с пяти до восьми вечера. Это я теперь знаю как «инсайдер». Пойди он в туалет и выруби себя из гладко налаженной системы не то что на две минуты, но и на полминуты, вся система пострадает и допустить такого нельзя. За такое уволят. Поэтому все личные нужды должны быть удовлетворены до или после «бизи ауэрз».[29]

На кухне толкутся и официанты, приносящие и уносящие заказы, и басбои, приносящие ящики, до отказа набитые грязной посудой и объедками, и повара, как жонглеры передающие друг другу, подкидывая, тарелки, тосты, пластинки сырых гамбургеров, яйца и т. д. Стоит пар от жарящихся и парящихся блюд, смешиваются вонь и ароматы, температура здесь градусов на пять-десять выше обычной, грязь вокруг несусветная, на мокром полу валяются объедки, мусор; поверх скользкого пола брошены резиновые коврики, чтобы никто не упал. Все предусмотрено и, несмотря на грязь, порядок во всем изумительный. Если котлета случайно падает на пол, в лужу или в мусор, ее не задумываясь подымают, отряхивают и кладут назад на тарелку. Хлебные тосты упали на мокрую резину? Пожалуйста – подняли, отряхнули – и вперед! Главное, чтобы все было быстро! Ну и, конечно, без явных видимых отклонений от

нормы.

– Спешиал намбер уан! Салисбури стеак, медиум реар! Ту эггз он вэ рай тоаст, сайд ап!.. – строчит пулеметчик.

А какие экспонаты в ресторан приходят! Вот это рожи! Едят американцы мерено-немерено! Они превратили процесс принятия пищи чуть ли не в священнодействие. Все это от внутренней пустоты.

* * *

Вы знаете, сколько американцы едят в ресторанах?! Начинают они с закуски, с так называемого аппетайзера. Этот «аппетайзер» такого размера, что его хватило бы на восемь человек вместо обеда. Но они это считают закуской. Дальше – идет суп. Супа тоже по калорийности уже одного хватит вместо обеда. А у них после такого супа и «аппетайзера» – еще салат! Салат подается на большущем блюде, размером с маленький тазик, в нем и сыр и оливковое масло или вместо масла дюжина всяких превкусных и высококалорийных поливок на выбор; они это называют «дрессингом». Одним таким салатом можно накормить человек десять, не меньше, но эти, умяв весь салат в одиночку, спокойненько приступают к горячему: «мэйн коурс»!

«Мэйн коурс» приносят дымящимся на огромном блюде: на таких блюдах у нас подавали на стол горячее в праздничные вечера, ставили его в центр стола, а потом всем гостям по тарелочкам раскладывали. Здесь это – индивидуальная порция! Я не преувеличиваю. Целая курица – у них это порция на одного! Или полкилограмма мяса – одна порция! Но и это еще не все: на отдельной тарелочке приносят гарнир (картошку или рис там), а еще на отдельной тарелочке подают тушеные овощи, плавающие в масле. Все это – для одного человека, и, представьте себе, они это все съедают!

Кроме всего перечисленного на стол еще подают целую корзину с горячим свежеиспеченным хлебом, всякими булками и сухарями – в таком ассортименте и с таким запахом, что устоит против такой корзины только мертвый. К хлебу подают сливочное масло в брикетах, а еще на стол кладут большой поднос со всякими овощными закусками, соленьями и свежими овощами: это бесплатно, от ресторана, не хочешь не ешь, но кто ж устоит?!

Глядя на эти абсолютно нереальные для нормального человека порции, я думаю, почему эти люди не могут поделить один заказ на двоих или даже на троих. Ведь нереально съесть столько! Нет, каждому несут его индивидуальную порцию,

которую так и хочется назвать: для слонов. И эти люди такие порции съедают!

Едят американцы долго, размеренно, отдыхают. Это у них форма отдыха. Выходной день, вечер после работы, праздник: вся Америка наряжается, чистит перышки, прихорашивается и все, от мала до велика, от самых больных стариков в инвалидных колясках до практически новорожденных детей, направляются в ресторан поесть. У них даже есть специальные стульчики для малышей, которые они называют «хай чиарс» и специальные подъемы для людей в инвалидных колясках.

Люди этой страны бегут отдыхать не в театр, не в гости, даже не в церковь, они бегут в ресторан. Такая культура. После «аппетайзера», супа, салата, горячего, гарниров, хлеба и булок с маслом и целого тазика ассорти из овощей они не устают есть, они еще заказывают десерт и кофе или чай. Но и это еще не все! На выходе, когда они расплачиваются у кассы, еще стоит огромное блюдо с каким-нибудь бесплатным угощением, пирогом или печеньем, или конфетами, что они тоже обязательно попробуют, а еще наберут в горсточку с собой, отходя от кассы.

Вот это да-а-а-а!!!

Неудивительно, что здесь люди все невероятных размеров, такие же громадные и нереальные, как и порции, которые сами едят. В Союзе у нас тоже, конечно, были толстяки, даже много их было, но те толстяки просто мошки по сравнению с этими. Этих даже и толстяками не назовешь, это просто какие-то мутанты! Таких людей тем, кто живет в Союзе, даже не представить.

При таком культе еды у американцев высоко развит культ тела. Вся Америка на пожизненной диете, и все мечтают походить на девушек из журналов, которые настолько худющие, что у нас такие считались бы больными. Быть худющим, как из концлагеря, – розовая мечта всех американцев, как это ни парадоксально.

Отчего американцы так много едят? А при этом так много для них значит худое тело? Все это, пожалуй, от внутренней пустоты. Думаю, что именно так оно и есть: да, от внутренней пустоты.

Помню, в Союзе мама заставляла меня есть кашу и при этом говорила: «Ты такая худая, на тебе никто не женится! Люди будут думать, что у тебя туберкулез!»

У нас в Нальчике красивыми считались пампушечки. Здесь все наоборот. Слава Богу, хоть в чем-то мне повезло, здесь такие тощие, как я, – в самый раз!

И все же мне смешно от того, сколько разговоров о диете, о спорте и похудании ведет эта страна, которая так много ест!

Словно нет ничего в жизни важнее, чем худое тело.

* * *

Бывают в ресторане и часы затишья, когда практически нет посетителей. Вы логически рассуждаете, что, пользуясь затишьем, можно присесть отдохнуть. К вам тут же подходит менеджер и поднимает вас. Сидеть на работе нельзя.

Но ведь нет ни одного посетителя! – возмущаюсь я.

– Посетители могут прийти в любой момент, – объясняет менеджер. – Официант всегда должен быть наготове.

– Так я тут же встану! – говорю я.

– Нет, так нельзя. Посетитель чувствует себя неловко, когда видит, что официант расслабился и отдыхает, а он пришел и его потревожил.

Ничего себе! Я должна думать, о чем еще там думает посетитель, как он себя чувствует, ловко или неловко! Проклятые буржуи! Из-за того, что когда-то кто-то войдет, а может, и не войдет, то ли он почувствует себя неловко, оттого что официант сидит, то ли не почувствует, несчастный работник должен стоять как истукан, часами глядя на дверь, изнывая от боли в ногах.

Вы когда-нибудь пробовали просто стоять пару часов на ногах на одном месте? Попробуйте! Тогда поймете, о чем я говорю. Они пытают людей здесь! Просто подтирают нами, рабочими, задницу.

«Полно другой работы, – говорит менеджер. – Наполни все солонки солью на своих столиках, все сахарницы сахаром, все бутылки из-под кетчупа свежим кетчупом. Постирай тряпки, которыми со столов вытираешь, чтобы свежими были. Работы полно!»

Я уже знаю, что возражать начальникам нельзя. Если ему доставляет удовольствие ни на минуту не оставлять своих работников в покое, то я должна или подчиниться, или потерять работу. Я пока не приняла решения уходить (все-таки жалко, деньги просто дождем сыпятся на чаевых!), поэтому я подчиняюсь. В наполовину еще полные солонки насыпаю соль, в наполовину полные бутылки от кетчупа, наливаю кетчупа… Словом, занимаюсь сизифовым трудом, лишь бы начальник мой был доволен!

* * *

Прошло около месяца. За это время я отдохнула от

постоянного лежания дома и даже успела немного пресытиться беготней: на работу, с работы и на работе. Ну научилась я, как фокусник, обслуживать столики, ну научилась я работать в ресторане так, чтобы меня не увольняли. Дальше что? Денег заработала. Купила себе новой одежды. Маме подарки, бабушке, Сашке. Даже еще деньги остались.

Все больше и больше ощущалась бесполезность и ненужность этой работы. Бегать-то я бегала, из дома по утрам убегала, не лежала целыми днями в маразме, как прежде, к тому же и денежки сыпались на меня, как дождь (в виде чаевых), все так… но, убегая с утра из дома из одного маразма, я прибегала на весь день в другой маразм.

И если дома я умирала от тоски и бездействия, то здесь я умирала от того, что меня в полном смысле слова гоняли, как заводную куклу, не давая ни присесть на минуту, ни опомниться. После такого физически активного трудового дня, уже ни на что другое сил не оставалось.

Я начала тяготиться работой в ресторане, но бросить самой было жалко. Я помнила, с каким трудом я ее завоевывала, эту работу.

«Бросить работу жалко. Однако, куда этот путь меня ведет?» – задавала я себе каждый день один и тот же вопрос по дороге туда в трейне и по дороге обратно.

Не успела я осознать, что работа эта вовсе мне не нужна, как буквально через несколько дней меня уволили. Вот это совпадение!

«Ну и слава Богу! – была первая моя реакция. Самой мне было трудно это сделать. – А все-таки, за что? Почему меня уволили?» – было обидно и непонятно.

* * *

Я не сама ушла, а меня уволили. Это очень важно. Неужели даже для работы официанткой я не гожусь? А что если прав мой папа, сильно завышенное у меня самомнение? Я мечу в небеса, а между тем не могу удержать даже работу простой официантки.

Стоит задуматься над этим.

А что если ты все возомнила о своей гениальности? Гениальные романы… где они? Простейшая работа – и то уволили! Я говорю простейшая, потому что хоть официант и должен быть супербыстрым, суперловким, достаточно сообразительным (иначе ему не скоординировать нормального обслуживания нескольких столиков одновременно), все же это не

бог весть какая работа, требующая трех ученых степеней и недюжинного таланта.

Я сначала не поверила. Потом потребовала, чтобы мне объяснили. Работу я свою выполняла безукоризненно. Никто не ждал лишней минуты. Никаких ошибок. Боссу не возражала. Что опять не так?

– У тебя, – говорит босс, – лицо не улыбчивое. Ты, говорит, подаешь тарелки с лицом, полным ненависти. Такие, как ты, не могут работать в сфере обслуживания.

Вот буржуй вонючий! Я еще должна делать вид, что умираю от радости, обслуживая их вонючих посетителей?! Мало, что сделали из меня прислугу, а еще при этом улыбайся! Какое вам дело, любовь во мне или ненависть? Я и чувствовать не имею права так, как вам не нравится? Работу свою выполняю? Подаю все, как заказано? Что еще надо? А если мне не хочется улыбаться?

Не улыбающиеся (то есть несчастные) должны быть уволены. Гуманнейшая страна!

* * *

Граненый стакан, до половины наполненный сметаной… Запах свежей сметаны???.. Или запах школьного буфета?.. Запах школьного коридора?.. Ощущение уюта школьного коридора… Стены в школьном коридоре… фотографии Ленина, маленького Володи Ульянова, его матери, Ленина с братом Александром… Над всем этим мы смеялись тогда… Фотографии Ленина… как они ассоциируются с детством! Даже фотографии Ленина (то, над чем все смеялись тогда) теперь стали для меня несказанно дорогой памятью. А что, в сущности, олицетворял он, этот Ленин? Добрые светлые начала. Оказывается, в моей стране, все правильно говорили. Зря мы не прислушивались, зря над всем этим смеялись.

Ощущение неустойчиво, оно мелькает, пытается прорваться, но уловить конкретно это что-то я не могу. Я радуюсь, что снова вышла из состояния заведенного робота и теперь опять что-то чувствую.

Так, неожиданно, ни с того ни с сего.

Ехала в метро, делала переход… вдруг ощущение граненого советского стакана – просто сразило меня. Села на одной из лавочек в переходе метро. Ощущение коричневой школьной формы на моем детском теле???.. Запах школьной парты? Школьного воздуха? Ощущение светлого класса? Не могу

уловить! Отчего все, что связано с воспоминаниями о школе, так больно мне? Любое, самое неуловимое воспоминанье переполняет меня нестерпимой пронизывающей болью.

Боль об утраченном… чем?

Свой стержень я там оставила. Свою суть. Здесь я овощ. Ювелирная коробка, из которой изъяли ожерелье. Коробка осталась, но пустая, теперь не имеет никакого смысла и назначения. Народ вокруг мельтешит. После этого, пусть даже плохо уловимого, откровения все показалось бессмысленно. Села, даже не вижу смысла до дому доехать. Кончена жизнь. Кончена.

* * *

Еще одна звезда родилась в американской культурной жизни: самый популярный радио– и телеведущий. Добился повального успеха тем, что открыто обсуждал в радиоэфире, кто как пукает, кто как какает, кто как мастурбирует, кто радуется на похоронах своего отца, как именно радуется. В этом роде.

Он приглашает к себе в студию гостей и говорит им: «Ну-ка! Снимай-ка свои трусы, я хочу посмотреть, какая у тебя жопа!»

Еще бы! Ведь жопа – это единственное что интересует американцев. Жопа и сенсация. Шок и жопа. Других ценностей они не понимают. Зеваки американские просто прилипали к своим ящикам, не могли даже на секунду отойти, когда Ховард Стерн впервые появился в эфире со своим новаторством. Так их привлекает, когда их шокируют.

Оказывается, можно добиться знаменитости тем, что пукать в открытом эфире на всю свою многомиллионную аудиторию. В Америке – можно. Да-да, в прямом смысле слова, без каких-либо преувеличений. Народ, обалдев от такого неожиданного хамства, прилипает к ящику, а рекламодатели, пользуясь тем, что собрана большая аудитория, бодро штампуют деньги.

Естественно, ведущий, у которого собирается многомиллионная толпа зрителей или слушателей, выгоден для канала. Ведущий этот стал не просто очень известным, он еще и мультимиллионер. Звезда и мультимиллионер – Ховард Стерн!

«Ну-ка, ну-ка! Неужели в самом деле пукает?!» – думает американский обыватель и прилипает к радиоприемнику в блаженном шоке.

Да-а… в Америке платят миллионы и любят тебя за то, что ты пукаешь. Кстати, еще таких «звезд» здесь немало. Одна из них взошла чуть более сложным путем, чем просто пукая. Господин Хинкли вошел в историю США ни за какие-нибудь добрые дела

или заслуги, даже не за такую мелочь, как пуканье в эфире, а за то, что стрелял в самого президента!

Это исторический факт: в 1981 году Хинкли стрелял в президента Рейгена. Убить президента не удалось, но это неважно, знаменитость все равно пришла. Ведь стрелял. Даже ранил! Значит, герой! Он сам признался, что влюбился в актрису Джуди Фостер, но, так как она кинозвезда, а он простой парень, он не знал, как привлечь ее внимание.

Привлек, да еще как! Все телеканалы сообщили ей, равно как и всей стране, что на почве любви к ней совершено это покушение. Хинкли стрелял в президента, чтоб привлечь к себе внимание известной актрисы. Отлично!

Все газеты печатали фотографии «героя» – обычное дело. Художники рисовали его портреты, и их раскупали сотнями, а может, и сотнями тысяч. Словом, деньги на этой сенсации делались баснословные.

Только в Америке человек мог додуматься до такого: убить, кого бы то ни было, чтобы привлечь к себе внимание!

Я считаю, что явление это не случайность, а закономерность, учитывая, какое промывание мозгов проделывает вся их киноиндустрия. Здесь вся культура или, правильней будет сказать, отсутствие культуры, к этому располагает. Кино – самое доступное и сильное из всех искусств, воспитывает убивать, убивать и убивать! Практически в каждом американском фильме вы увидите красивую девушку с револьвером в руке. Или красивого мужчину, тоже с револьвером в руке. Что же удивляться, что для американцев слово gun – повседневное и обиходное, все равно, что breakfast. Американец так зомбирован, что, даже когда он хочет любить, помимо своей воли, идет убивать. Так у них промыты мозги.

Вот они, американские герои: прости господи, Мадонна, Ховард Стерн, Хинкли, еще тысяча-другая бугаев, бьющих друг другу морды на широком экране, типа Сельвестера Сталлоне или Чарльза Бронсона. Если бы меня попросили в трех словах охарактеризовать максимально метко страну Америку, я бы выразила ее такими тремя словами: gun, sell, delisiouse. «Револьвер», «продать», «очень вкусно».

Мне в этой стране и среди ее героев места нет. Мне, выросшей в Советском Союзе, промывали мозги в абсолютно противоположном направлении. Моя психика навек закаменела в том виде, в каком ее слепили в советской стране. Я никогда не стану американкой! А ведь это… приговор….

И в эту страну привез меня мой отец по идеологическим соображениям?..

Увозя меня от сталинских лагерей, которых уже и в помине нет, он привез меня в Америку – в страну gun, sell, delisious.

Глава пятнадцатая
Сентябрь 1984 г. – апрель 1985 г.

Я часто задаю себе вопрос, на который мне никто не может дать вразумительного ответа. Для чего? Зачем? Как? Что вовлекло нас, а в частности моего отца, который повлек за собой и всех нас, в это безумие – эмиграцию?

Когда я пытаюсь восстановить в памяти путь созревания папы в своем решении эмигрировать, как я ни напрягаюсь, я не могу нарисовать одной целостной картины. В памяти моей яснеют лишь обрывки каких-то сцен, событий, диалогов, но составить из этих кусочков целостную картину, которая бы могла убедительно ответить на мой вопрос: почему мы уехали, – у меня не получается.

Пытаюсь вспомнить, отчего уехал отец. В институте он обязан был врать, говорить совсем не то, что он искренне думает, учить студентов иному, противоречить себе. Противно. Да, согласна, это противно. А хоронить отца вот так – это не противно? Что он выиграл? И какой ценой заплатил? И никто не видит. Или делают вид, что не видят.

* * *

Вспоминаются мне вечера в нашем доме: то ли скучающий, то ли тоскующий папа лежит в спальне на своей кровати, рядом с ним сидит мама, а я, сидя в своей комнате, невольно слышу их разговор в раскрытую дверь.

– Какие радости ты знала в жизни? – огненно-страстным взглядом сверля маму, говорит папа. – Эта рутина! Это наше болото! Как надоело все! Что хорошего ты видела? С утра до вечера – будни, заботы. Работа. Стирка. Уборка. Давай бросим все к черту! Вырвемся из этого болота! А?

Мама молчит, она не может решиться. Ей страшно согласиться на такое.

– Тебя пугает только страх новизны! – жарко убеждает ее папа. – А здесь нет ничего, что было бы жаль бросить и уехать. Мои родители, ветераны войны, получают пенсию девяносто рублей в месяц! Стыд-то какой! Мой отец всю жизнь спину гнул на советскую власть, а они платят ему девяносто рублей. А там – приезжай на готовенькое, пятьсот долларов в месяц пенсия! Приезжай и забирай! А я? Я двадцать пять лет учился! Такие, как

я, должны получать пятьсот рублей в месяц? – Папа вытащил из ночного столика иллюстрированный журнал и, развернув, подал маме. – Вот посмотри, таблица средней заработной платы для людей с высшим образованием в Америке. Высшее образование там ценится, не то что здесь. Дом наш нас держит? Такой дом в Америке средний инженер может за три с половиной года купить. Сама посчитай: вот средняя зарплата инженера, вот стоимость среднего дома, а вот цены на продукты. Пожалуйста! Это даже для инженера! А я ведь доктор наук. Давай представим, что треть зарплаты уйдет на питание. Две трети можно откладывать. Посчитай.

* * *

Папа считал американскую зарплату на советский уклад жизни. В его подсчетах и расчетах не было таких пунктов, как стоимость квартирной аренды (мы в Союзе даже не знали, что такое существует) стоимость телефонных счетов, оплаты за газ, свет и телефон. Многие вещи, которые в Союзе стоили копейки, здесь стоили сотни долларов. Зарплаты здесь были мощные, но что толку в большой зарплате, если она вся тут же и разлетается на оплату того, оплату сего.

Отец ничего не говорил о том, что на один визит к врачу надо работать неделю. А заболеть серьезно в Америке, так это вообще, не дай Бог! Словом, много-много подводных камней он не учел. Но все это не так важно.

Я пытаюсь найти то главное, во имя чего ему, папе, было бы простительно то, что ему пришлось разлучить мою маму с ее матерью, а старушку с дочерью; разлучить собственных отца и мать, моих деда с бабой, так же со своей дочерью, со своими внуками, а свою родную сестру оставить сиротой при живых родителях. Я уже не говорю о том, что я и Танька навсегда остались без Маши с Илюшей, а Маша с Илюшей остались навсегда без нас. Ради чего все эти жертвы?

Допустим даже, он и не ошибся бы в своих подсчетах, действительно устроился бы инженером и возместил бы потерянный дом за три с половиной года. Однако вопрос: зачем? Зачем продавать свой дом, бросив всех родных и близких, переместиться в Америку, три с половиной года жить в маразме, чтобы потом купить точно такой же дом, что уже был у нас раньше?

Должен быть во всем этом какой-то другой смысл. Что-то такое, что я никак не могу понять. Зная своего отца-идеалиста, я

думаю, что не за зарплатой в две тысячи долларов в месяц против пятисот рублей он так стремился уехать. Хотя и это, возможно, помогало. Папа не был материалистом, и длинный доллар не мог так свести его с ума. Это он маму пытался такими доводами убедить, дескать семья там будет в полном порядке и достатке. Что же двигало самим папой? Почему он вдруг сошел с ума?

Говорить с папой об этом сейчас уже поздно. Тема эта неприкосновенная. Он на любой мой вопрос, на малейшее мое сомнение, правильно ли мы сделали, что покинули свою страну, реагирует, как бык на красное.

* * *

Помню, когда папа спросил дедушку, поедет ли он с нами в Америку, дед долго не мог ничего ответить. Ведь папа был его единственным сыном, а сын для кавказского мужчины – это все. Наконец дед решился на ответ.

– Сынок, – сказал он папе, – я на этой земле прожил почти семьдесят лет. Здесь похоронены мои отец и мать. Здесь похоронены мои деды. Как я могу бросить их могилы. Я останусь умирать здесь. Какая мне Америка отныне? Меня там даже хоронить будет некому. Вы езжайте. Вы молодые, у вас вся жизнь впереди. Вы – другое дело.

Папа не ожидал такого ответа от дедушки, это привело его в отчаянье. Ночью, сильно волнуясь, он говорил маме:

– Ну что с них возьмешь, железная логика! Наши отцы и деды здесь похоронены, а я должен стеречь их прах. Мои дети, у которых все впереди, которые не жили еще, должны стать жертвами праха дедов! Деды-то, слава богу, отжили свое. Почему мы должны ломать свою жизнь из-за стариков?! Ведь у нас двое детей. Твои не хотят, мои не хотят, да ну их! Что весь век сторожить юбку матери? Это, конечно, нехорошо, бросать их, но коль уж надо выбирать, то, что для нас важнее, – будущее наших детей или родители? В конце концов у моих есть еще дочь, а у твоей матери есть еще сын. Как если б мы вовсе не родились. Могло ведь такое быть? Они же не одни остаются. А мы с тобой Италию увидим! Представляешь, Рим!!! В этой рабской стране даже никуда нельзя поехать!

В пять часов вечера, как правило, рабочий день папы был окончен. А рабочий день был каждый день, изо дня в день, из года в год. Не нужно ли живому человеку чего-то свежего, нового, интересного? Ведь человек живой, он пришел на эту землю не для того, чтобы роботом весь свой век отработать и уйти в могилу,

как червь. Пятнадцать лет жил папа такой рутиной: утро, вечер, день, ночь – и все одно и то же! Теперь он стал чувствовать, что в нем поднимается протест.

– Я уже заранее, слово в слово, знаю, что будут говорить на собрании, а меня заставляют их посещать, – говорил папа. – Кого повысят на работе следующим, я уже тоже заранее знаю. Что будут показывать вечером по телевидению – я тоже наизусть знаю.

Все чаще и чаще, приходя с работы, он ходил по комнатам в маяте (прежде – неизменно сидел со своими книгами).

– В чем смысл этой жизни?! – постоянно спрашивал он вслух, то деда, то маму, то самого себя. – Хорошо, допустим, как они говорят, Бога нет, допустим, мы сами по себе. Так для чего же, для чего же мы созданы?!

Был издан закон при Брежневе: все профессора и доценты вузов СССР были обязаны закончить Университет марксизма-ленинизма. Если преподаватель вуза не получал диплома об окончании Университета марксизма-ленинизма, он не мог переизбираться на новый срок.[30]

Как-то раз папа пришел домой после занятий, он учился в это время в Университете марксизма-ленинизма по атеизму.

– Они громко называют это «научным атеизмом!», – рассказывал он дома. – А посещая этот их «университет», я прозрел. Оказывается, никакого научного доказательства того, что Бога нет, – нет! Это они придумали. Кто-то из преподавателей спросил сегодня во время урока: «В чем состоит основное доказательство того, что Бога нет?» Ты знаешь, что нам ответил профессор? – возмущался папа. – Он сказал: «Космонавты летали в космос, никакого Бога они там не увидели». Представляешь?! Тогда кто-то выкрикнул в классе: «А я был в Москве и никакого Брежнева там не увидел! Означает ли это, что Брежнева тоже нет?» – «Кто это сказал?! – злобно спросил профессор атеизма. – Кто это сказал?!» Естественно, проблем никто не хочет. Так все и смяли. На страхе людей их правда держится. Они сидят на лжи! Вся их идеология, начиная с основных предпосылок – ложь! – разочарованно рассказывал папа дома.

Помню он даже написал сам стихотворение, которое постоянно декламировал дома.

Мой дух свободный, дух мой гордый,
Ничем не прошибешь!
Я не-на-ви-и-жу ваши морды,
Я ненавижу ложь!

* * *

Как же так получилось, что дед и баба, которые наотрез отказывались ехать, все-таки поехали? Как получилось, что мама, которая говорила, что никогда не бросит своих (мать, брата с женой, племянников), все-таки поехала за папой?

Мелкий дождик, говорят, камни точит. Верная пословица.

Страстное, почти маниакальное желание отца делало его пламенным и очень убедительным оратором. Каждый день, как только были какие-то трудности жизни, любые мелкие проблемы, он комментировал все так, чтобы выставить нашу жизнь в черном свете, а Америка по контрасту, автоматически, сама по себе казалась белой.

Придет мама бывало домой из магазина раздраженная, недовольная, что пришлось стоять в очереди за творогом целый час, а перед самым ее носом, когда очередь почти подошла, творог кончился.

– Ты же любишь, обожаешь свой Советский Союз! – говорил папа маме. – Вот и живи в стране, где такие очереди за э-ле-мен-тар-ным творогом! В Америке придешь в магазин – тридцать три сорта творога! Бери не хочу! Очереди? Какие очереди?! Но рабы, привыкшие к своим кандалам, от них не хотят избавиться!..

Или другой пример: пришли мы к зубному врачу. Сидим, сидим в приемной. Долго сидим.

– Вот если б мы сейчас были в Америке, – говорит папа, – нам бы не пришлось так долго ждать в приемной.

– Это почему? – спрашиваю я.

– Потому что в Америке каждый врач работает на себя. Если он тебя плохо обслужит, ты больше к нему не придешь. А ему не выгодно клиента терять. Он дрожит над каждым клиентом, пытается угодить ему. А здесь? Зарплата одна и та же: хоть сто человек к нему придут, хоть один человек. Советскому врачу все равно. Зачем ему напрягаться за несчастные сто рублей. У него нет заинтересованности.

Я помню этот наш разговор очень отчетливо. Папа не сказал, что когда врач работает на себя и каждый клиент ему платит деньги, кроме того, что врач заинтересован в тебе, он может сказать тебе, что тебе нужна дорогостоящая операция, только чтоб содрать с тебя деньги, в то время когда операция и вовсе не нужна. А такое случается здесь сплошь и рядом. Наши соседи-старички расскажут вам, как минимум каждый, по такой истории.

Не сказал папа еще и того, что за всю свою жизнь в Союзе я не встретила даже сотой доли того количества шарлатанов, называющих себя врачами, сколько встретила за один год жизни здесь, в Нью-Йорке. Город здесь большой, постоянно прибывают новые эмигранты. Даже если каждого по одному разу надуть, можно тридцать лет быть в практике и ничего!

В Союзе почему-то мы не попадали к таким шарлатанам. Может быть, потому что было очень много знакомых и ко всем врачам ходили по чьей-то рекомендации. А здесь? Открываешь газету и по объявлению: пойди разбери, кто аферист, а кто честный врач.

К нашей зубной врачихе, Надежде Федоровне, ходили еще Маша и Илюша, моя мама, тетя Валя, дядя Артур. Многие годы все у нее лечились. Она знала нас всех, а мы все ее. Мы дарили ей дефицитные конфеты. Она хоть и не получала от нас денег и заставляла ждать в приемной, но лечила добросовестно. Здесь, если что-то заболит, нужно идти к новому врачу, совершенно незнакомому, и шанс попадания в точку… Ох, ох… оставляет желать лучшего.

Помню еще, мы гуляли с папой по парку и он пытался мне объяснить:

– Понимаешь, доченька, я научный сотрудник и при этом глубоко религиозный человек.

– Ну? – не понимала я.

– А то, что твоя советская власть меня вынуждает постоянно врать. Якобы наука доказала, что Бога нет. А наука на самом деле доказывает обратное. Только говорить я об этом никому не могу. Даже если студент спрашивает меня сам, сам видит, что врут они все, я не имею права сказать своему талантливому студенту, что он прав, что действительно вывод о том, что Бог есть, следует из науки, что я сам все это знаю, но вынужден молчать. Я должен врать и говорить, что он ошибается, тогда, как студент, вопреки тому, что его вводят в заблуждение, может сам распознать правду, я должен способствовать тому, чтобы снова ввести его в заблуждение. Какая моральная радость от такой работы?

Что ж, такой пример достоин уважения. И все-таки я не вижу в этом повода чтобы бросить всех и вся и покинуть родную страну.

* * *

Итак, вернемся к тому, как мама и дед с бабой все-таки созрели, чтобы уехать с папой.

Помню, папа принес маме новый номер журнала: «Америка сегодня».

– Все готовишь? Стоишь на кухне? – говорит он маме.

– А что делать? – покорно пожимает плечами мама.

– Не надоело тебе целыми днями стоять у плиты?

– Надоело. А что ты предлагаешь? Не готовить? А что вы есть будете?

– Вот, посмотри, – он подает маме журнал.

Все соседки сбежались посмотреть на чудо-духовку. Такая жизнь была у американских хозяек. Как в сказках. Берешь курицу (за которой, между прочим, не надо стоять в трехкилометровой очереди!), кладешь ее в чудо-духовку, задаешь ей программу, то есть говоришь ей, посредством нажатия на какие-то кнопки, какая должна быть температура, сколько минут готовить, когда выключить. Духовка все сама за тебя делает. Ты идешь себе гуляешь, а обед готовится сам! Вот это Аме-е-рика! Наши соседские женщины готовы были прямо сейчас сесть с папой на ковер-самолет и улететь в Америку, если б только это было возможно.

Главное же событие случилось с дедушкой. Он занимался продажей мяса на черном рынке. Горские евреи, в основном, ели только кошерное мясо, а поскольку в магазине купить его было нельзя, был организован черный рынок. Деятельность эта считалась в Союзе нелегальной, но всегда все обходилось, хотя всегда присутствовал страх быть пойманным. Однажды не обошлось. Может быть, кто-то навел. Пришла милиция. Деда с бабой увезли в отделение. Два дня не выпускали. Могли не выпустить и несколько лет, если бы не дядя Артур, который к тому времени уже был начальником ГАИ города Нальчика. Дали взятку, и стариков выпустили. Если бы не дядя Артур, ни один милиционер не стал бы так рисковать, чтобы брать взятку неизвестно у кого.

Однако такой инцидент бросал недобрую тень на репутацию дяди Артура, и повторение подобного было крайне нежелательно. Вот тогда-то, реально пережив страх тюрьмы, оказавшись в двух миллиметрах от краха, даже несмотря на то что опаснось миновала, мой дедушка и взмолился.

– Уезжай отсюда, сынок! Уезжай поскорей! Мы-то что? Нам одним со старухой много не надо, мы и на пенсию проживем. Вы бегите из этого бедлама!

– Тебя чуть не посадили в тюрьму! А ты все же хочешь здесь остаться! – говорил папа, возмущаясь.

– Я не могу, сынок… Я не могу бросить Валю… она же останется совсем одна…

– А меня? Меня ты можешь бросить?

– Я не бросаю тебя. Ты сам уезжаешь.

– Но ты же видишь, что надо ехать! Я же не просто так уезжаю!

– Я не могу ехать с тобой, сынок. Прости меня! Может быть, милостив Бог, когда-нибудь… мы все приедем. А пока поезжай ты сам. Бери свою семью и поезжай!

* * *

Однако не тут-то было, папе был дан отказ, и, как я уже говорила, отказывали нам, ни много ни мало, пять лет. Чем больше папу не пускали, тем более сладостными представлялись ему далекие и недоступные тихоокеанские берега свободной Америки. С каждым днем он все больше убеждал сам себя и всех окружающих, что вся жизнь вокруг постылая, гнилая, бесперспективная. В конце концов он дошел до того, что все ему уже стояло поперек горла. Он готов был любой ценой добиться желанной свободы. Помню, как он в отчаянье рассуждал вслух.

– Может, мне бежать одному с моряками, а потом хлопотать оттуда, поднять на Западе шум, чтобы вывезти семью. Если же и это не удастся… – глаза его маниакально блестели нездоровым блеском –…Кто-то сжег себя на Красной площади в знак протеста. Может, просто облить себя керосином и вперед?!

– Это глупо, – отвечала ему мама.

– Да, ты права. Я должен по-другому добиться своего. Я поеду в Москву, к начальнику Всесоюзного ОВИРа! Я дойду до Брежнева! Человек должен быть свободен и имеет право жить там, где он хочет!

* * *

Война папы с ОВИРами города, республики, страны продолжалась несколько лет. Я тогда еще недооценивала силу всепоглощающего страстного желания, я еще не знала, что страстные желания могут творить чудеса. Разрешение на выезд было дано в 1980 году, перед Олимпиадой. Было два условия: первое условие – мы должны покинуть страну в течение тридцати дней, условие второе – вся семья должна уехать вместе, включая стариков.

– То есть, если мы не поедем, не выпустят и вас? – сказал дед, и лицо его стало такого цвета, как асфальт в нашем дворе.

– Да, папа. Пришло время тебе решать. В твоих руках наши жизни: моя, моей супруги и моих двоих детей. Поступай как знаешь.

На выезд было дано тридцать дней, и потому долго рассуждать было нельзя. Решение было принято в течение двух часов.

– Мы поедем с тобой, сынок, – объявил дедушка папе, глядя на него усталыми преданными глазами.

– Как поедем? А моя дочь?! Я не брошу свою дочь! – начала было возмущаться бабушка, но в тот же вечер и ее обработали.

Дед увел ее в другую комнату, и, когда они вышли через пару часов, бабушка тихо и покорно сказала: «Да сынок, мы поедем с тобой».

* * *

На протяжении всех этих лет ко мне навязчиво возвращается непристойное сомнение, о котором я никогда не смею говорить вслух и которого в глубине души я, пожалуй, стыжусь. Однако я слишком отчетливо слышу вопросы, которые задает мне неугомонная то ли логика, то ли интуиция.

Кроме папы, который объявил всем, что в ОВИРе было поставлено два условия на выезд и одним из этих условий было, чтобы вся семья уехала вместе (включая стариков), кто еще видел или слышал, что такое условие действительно было поставлено? Кто-нибудь звонил в ОВИР, чтобы подтвердить эти слова папы? Или, может быть, папа принес документ, в котором это условие было написано?

Мне стыдно задать такой вопрос кому-либо из домашних. Мама, ясное дело, в ОВИР не звонила, т. к. не мамина это стихия звонить по конторам. Мамина стихия – кухня, дети, покупки. Бабушка – тем более нет. Дедушка? Благородный, мягкий, дипломатичный дедушка никогда бы не унизил любимого сына до проверок.

Разве что папа принес из ОВИРа бумагу, где черным по белому было написано… Но, учитывая всю советскую обстановку, сомневаюсь, что были какие то бумаги. Так что, наверно, мне уже никогда не узнать, действительно ли в ОВИРе поставили условие, чтобы старики непременно ехали с нами.

Это еще не самые страшные сомнения, которые хранятся в моей душе. Есть еще более черное, чернющее сомнение, о котором просто даже стыдно писать. Мой дед продавал мясо на черном рынке столько, сколько я помню себя. А мне, когда деда

арестовали, было уже четырнадцать лет. Как же так случилось, что на протяжении четырнадцати лет (!) все обходилось, и местная милиция наверняка все знала, но не трогала деда, а тут вдруг, ни с того ни с сего, спустя четырнадцать лет, пришли и арестовали?!

С одной стороны, ужасно думать так плохо об отце или даже сомневаться! Он у меня как-никак человек в высшей степени порядочный, положительный, бесконечно преданный семье, почитающий и любящий родителей. Он и уехать-то хотел именно потому, что считал ту жизнь насквозь гнилой. Он ни разу в жизни не взял взятки, не поставил тройку студенту против своей совести, ему противно было врать ученикам, и он этого принципиально не делал, создавая тем самым для себя конфликты с начальством. У меня с ним, может, и есть свои счеты за то, что он меня увез, но я должна быть справедлива к нему. Папа заслужил репутацию чистого человека. И вдруг такие сомнения! Донести на родного отца?! Кем надо быть, чтобы даже думать такое!

А с другой стороны, почему бы и нет? Если он знает, что легко высвободит их, дав взятку через Артура. Черт с ними, с деньгами! Напугаю стариков, они и перестанут артачиться. Я помню, каким маньяком папа был в ту пору! Если он готов был бросить своих детей (а больше, чем нас, он никого и ничего не любил!) и бежать с моряками?! Если он готов был при полной неудаче облить себя керосином и поджечь на Красной площади?! Почему же не пойти на такую безобидную хитрость, как попугать стариков да выпустить. Ведь он хорошо знал, что мы сможем их освободить: у нас были связи, у нас были деньги – два условия, необходимые для благополучного решения дела.

Хоть убей, что-то мне здесь шершаво: именно тогда арестовали, когда папа смертельно хотел за границу, а старики упорно отказывались ехать с ним!

Надо сказать, я знала много и таких случаев: спекулировали люди себе, спекулировали, их никто не трогал. А потом раз вдруг – и тюрьма! И никакими взятками не откупиться! Все-таки не мог папа с таким огнем шутить! Не знаю, не знаю, прости меня, папа. Правда, прости за мысли подлые. Я не контролирую, что мне приходит в голову. Я гоню эти мысли, они мне противны, но они все равно приходят.

* * *

Теперь о том, как папа взял другую крепость:

сопротивляющуюся маму, за спиной которой стояли ее мама, брат и все братово семейство.

Когда папа серьезно поднял вопрос об отъезде, мама не хотела ехать. Не хотела, несмотря на все его чудо-духовки, сорок сортов творога и волшебных врачей, в приемной которых не нужно будет ждать. Помимо желания или нежелания ехать самой мамы был еще закон, согласно которому моя мама не могла покинуть страну, не получив разрешения на выезд от своей матери. А ее мать, баба Маня, сказала: «У меня одна дочь и один сын, я не могу подписать такую бумагу».

Тогда папа сказал маме: «Развод. Поделим детей: одного тебе, другого мне». Он был одержим, и голос его звучал убедительно и твердо! Развелся бы ли он на самом деле? Никто не знает. Только мама и ее родные не стали испытывать судьбу и ломать четыре жизни.

Пришла повестка явиться в суд. Назначен был день развода. Мама сообщила бабе Мане, что ей придется разойтись с мужем. Тогда баба Маня сказала: «Не надо идти в суд разводиться. Я подпишу разрешение на выезд».

Так была взята вторая крепость.

Так ради чего же, во имя чего все эти жертвы?

Отчего мы уехали? Или зачем мы сюда приехали? Кто мне ответит на мой вопрос? Только не надо корчить рожи, дескать она тю-тю, что не понимает! «Как можно не понимать, почему люди едут из Союза?!»

Не надо корчить рожи! Вы мне простыми словами, логично объясните! Почему мы уехали???

* * *

Помню, когда мы с папой еще были в добрых отношениях, я спросила его:

– Папа, а почему ты хочешь уехать в Америку?

Тогда он еще мог нормально реагировать на этот вопрос. Вот что он мне сказал.

– Это было в семидесятом году. Гуляю я по улице как-то, был поздний вечер, на улицах никого не было. Вдруг слышу: гр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р…. что-то то ли гудит, то ли жужжит. Не могу понять, что происходит. Смотрю, Боже мой! Танки! Целая вереница танков медленно ползет по улице. Ну, думаю, война началась. Пришел домой, убитый, нашим ни слова не сказал, решил дождаться утра. Ночью глаз не сомкнул. Наутро… Что же ты думаешь я узнаю? Сирия напала на Израиль!

– Не понимаю связи, – сказала я.

– Не понимаешь? А вот я тебе сейчас объясню. Советский Союз послал Сирии свои танки, чтобы те напали на Израиль!

– Из чего это следует? Ты видел танки. А может, это были военные учения? Как это из Нальчика в Сирию отправили танки? И почему по улицам они ехали? Нет в этом логики.

– Поверь, поверь! Я уже потом понял.

Меня не убедил этот его рассказ. Во-первых, может, это вообще папины догадки. Но даже если и не догадки, при чем здесь мы? При чем здесь наша жизнь? При чем Америка? А Америка, что такая вся кристально чистая? У Америки свои грехи не легче. Почему папа в упор не заметил войны Америки во Вьетнаме? А что насчет Хиросимы и Нагасаки? Не убедил меня папа, хотя и пытался мне что-то там объяснить, что это дескать другое.

– Не верю, что из-за этого ты вдруг решил эмигрировать! – говорю я папе.

– Не только из-за этого! Это был последний камень. Я много лет созревал.

– Ну так объясни мне! Объясни, как ты созрел?

Тогда папа уже в который раз пересказал мне наболевшие свои истории.

– Когда в пятьдесят втором году я приехал поступать в Москву в МВТУ, в приемной мне сразу так и сказали: «Не тратьте, молодой человек, попусту времени. Вы сюда не поступите».

– Ну и что? – спрашиваю я.

– А то, что в вуз поступить нельзя только потому, что я еврей. Это нормально?

– А с чего ты взял, что именно потому нельзя, что ты еврей? Может, там на одно место пятьсот человек?

– Доченька, у меня же золотая медаль. Если не я, кто же сможет туда поступить?

– Мало ли… может, туда всех блатных берут. А может, там все с золотыми медалями. Я не знаю.

– Вот ты не знаешь, а я знаю. Евреев брали только в один лишь вуз – Рыбный. Но эта моя обида показалась мне ничтожной, когда в августе того же года скомбинировали так называемое «дело врачей» и расстреляли – расстреляли! – десятками ни в чем не повинных еврейских людей. Что уж там мои мелкие заботы о том, что в институт не взяли! Тут людей расстреляли.

– Сталин расстреливал не только евреев. Он миллионы людей расстрелял! Здесь еврейство ни при чем.

– А нормально это?! – страстно сверкая глазами возмущался папа. – Нормально жить в стране, где лидером становится маньяк

и диктатор, сгноивший в лагерях и расстрелявший в полном смысле слова миллионы людей?!

– Папа! А Америка, что, – безгрешная? При чем тут Сталин? Какое это имеет отношение к нашей маленькой семье? Сталин давно умер! Сейчас все по-другому! Почему мы должны бросить родной свой дом, свою страну, своих близких и ехать Бог знает куда?

– Как при чем?! Противно! Противно жить в этой стране! Какая это наша страна?! Это ты так считаешь, что страна родная, а страна про тебя так не считает. Ты знаешь, когда я учился в институте в Москве, я прозрел. До этого я тоже, как ты, говорил «моя страна». Я похож на цыгана, и все мои сокурсники думали, что я цыган. При мне каждый вечер они рассказывали мерзкие анекдоты про евреев. Во всем у них евреи были виноваты. Если бы ты пожила годик среди своих любимых русских, ты бы поняла, что это ты считаешь Россию родиной, а русский народ своим. Они тебя не считают. Я уверяю тебя.

Разговор наш был холостой. Я-то помнила и знала, сколько русских людей дружили с евреями, как много евреев занимали в стране ведущие места. Майя Плисецкая – одна из лучших балерин страны – еврейка! Аркадий Райкин – один из лучших артистов страны – еврей. Академик Ландау, академик (!), несмотря на свою еврейскую фамилию. Им не помешало еврейство? А если папу по каким-то причинам не приняли в МВТУ, то проще всего обвинить в этом свое еврейство.

– Наш дядя Артур, посмотри, какой пост занимает, папа. А дядя Борис – на руководящей работе? А Факшанские? Все трое закончили Бауманский!

– Все они по паспорту русские, доченька. Русские и партийные.

Я говорю: «Ну и ты написал бы, что русский».

Он на меня посмотрел так, что я тут же поняла, что сказала что-то не то.

– Хорошо. Понимаю твои принципы. Уважаю их. Но идти в огонь и семью свою вести только из глупого принципа?! Кому ты что докажешь?

– Нет, доченька, жить в такой стране, где я должен скрывать, что я еврей, мне противно. Это не наша страна. Не стоит обольщаться насчет нее.

* * *

Иногда я думаю и о другом: помню, как продвигались в

карьере наши близкие, друзья, а папа нет. Все брали и давали взятки, а папа нет. Все вступали в партию, в душе своей презирая ее, а папа не вступал. Поэтому, а может, и не только поэтому (я не могу судить) дядя Артур сначала стал майором милиции, потом подполковником, потом полковником, дядя Борис сначала был зоотехником, потом старшим зоотехником, потом заместителем директора, потом директором птицефабрики, а папа, дожив до сорока с лишним лет, все оставался в рядах простых преподавателей и, что еще хуже, надежды никакой не было.

– Мне мой шеф открыто так и говорит, пока вы не вступите в партию, вы не можете занимать руководящую должность! – рассказывал папа.

– Ну так вступи в партию! Что в этом такого страшного? Это же чисто символический жест! – говорила ему мама.

– Не буду я идти против своих убеждений! И никакими пряниками они меня не заставят играть в их игру! – твердо отвечал папа.

Принципиальный человек, плевал против ветра, лишь бы только стоять на своих принципах. Папа был против идеологии партии и не хотел делать символического шага.

Могло ли быть так, что, не продвигаясь в карьере, папа отставал от других и это задевало его самолюбие? Он не знал, как из этого выбраться. Эмиграция как выход из тупика. Могло? Могло. Но я точно не знаю. Это лишь одна из моих догадок.

* * *

А может, моему папе было просто скучно? Его душа томилась в мирном доме, где все было благополучно, и он не знал, как забить пустоту?

Отчего маркизе де ля Моль понадобилось связаться с Жюльеном Сорелем? Ходить по острию ножа – щекотало ее нервы. Скука. Потребность освежить душу острыми ощущениями, чем-то новым, из ряда вон выходящим. Увидеть себя в роли героя-освободителя! В одном ряду с такими героями, как Анатолий Щаранский, Александр Солженицын, о которых говорили вполголоса, с некоторым ореолом почтения и глубочайшего уважения.

И такое я припоминаю. Папа ходил по комнатам и говорил: «Чем забить пустоту?!»

Водку он не пил, с друзьями не кутил.

Его любимое стихотворение – «Белеет парус одинокий» Лермонтова. И когда доходил до места, он почти кричал,

вкладывал в это столько чувства:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бу-у-р-ри (!),
Как будто в бурях есть покой!

Не случайно, наверно, было то, что он постоянно декламировал именно это стихотворение. Ему… было скучно?.. Неужели только и всего?

Он искал бури. А для ростка моей неустановившейся жизни буря, которой так не хватало ему, была смертоносной.

Не прощу тебя, папа, никогда!

И на том свете, когда умру, все равно не забуду, как ты меня прокатил ради того, чтобы развлечь себя!

* * *

Пришла к родителям, чтобы забрать Сашку назад домой, ведь я уже не работаю. Вышли с ним погулять у дома родителей. Оказывается весна! Села на камень у дома и волей-неволей улыбаюсь, положив руку на душистую землю. Через мягкую, залитую солнцем траву я чувствую вибрацию подогретой просыпающейся земли, побежавшую через мои пальцы в мой организм. Солнце слепит глаза. Вдыхаю, радуюсь, сама не понимаю чему.

Такой прилив сил! Захотелось позвонить кому-нибудь. Двигаться. Шумную компанию. Вспомнила, как же давно я не наряжалась. Нарядиться бы, пойти куда-нибудь! С подругами хотя бы… даже подруг нет.

Глядя на ясное небо и яркий свет вокруг, светлые надежды: выучу я и английский, встречу я и его… все будет хорошо.

* * *

С наступлением тепла чувствуется оживление во всем. У дома, где живут родители, на Авеню Эн, после зимней спячки снова, как обычно в теплые дни, собрались со своими плетеными переносными стульчиками пожилые жильцы. С тех пор как мы сюда въехали, состав дома не раз менялся, не всех я уже знала по именам, но в лицо знала почти всех и со всеми здоровалась.

С правой стороны дома сидят, как правило в один длинный

ряд, русские эмигранты. Чуть поодаль, с другой стороны дома, рассаживаются престарелые американки в своих газовых косыночках, накрашенные, как клоуны, несмотря на то, что почти все они в инвалидных колясках. Странно для выходца из Союза такое сочетание: старуха, да еще в инвалидной коляске – и тонна косметики! Рядом с приветливыми американками – их сиделки, с лицами невозмутимыми и полусонными, как мумии.[31]

Русские старики и американские неизменно садятся в два разных ряда не потому, что люди из разных стран испытывают друг к другу какую-либо неприязнь или нежелание общаться, а потому что общаться этим представителям двух разных миров настолько трудно, что они предпочитают каждый свое общество.

Во-первых, основное население русских этого дома – люди пожилые и по-английски они почти не умеют говорить. Все, что они выучили, это: «Хгуд ивнинг!» и «Хау ар ю?»

На что американские старушки отвечают, дружелюбно улыбаясь: «Fine, fine! How are you?»

На этом общение заканчивается. О чем начинаются беседы в американском ряду, я не знаю. Меня почему-то не тянет стоять возле них, несмотря на то что язык их я понимаю. Почему-то мне кажется, что если бы я подошла к ним (а может, такое даже и бывало), то их естественная беседа остановилась бы и все взоры обратились бы на меня, как на «интрюдера».[32] Со мной бы говорили искусственно-любезно, казенными фразами типа: «хау ар ю» и т. д. и ждали бы, пока я отойду.

Почему так мне кажется? Не знаю. Думаю, что именно это чувство неловкости и мешает мне всегда задерживаться около них надолго, несмотря на их приветливые улыбки.

Зато не раз мне случалось стоять у ряда русских и слушать весьма занимательные разговоры. Все общество русских стариков родительского дома как бы подразделялось на два лагеря: довольных жизнью и Америкой и недовольных. Правых и левых. Первые являются как бы патриотами американской страны и готовы выклевать глаза всякому, кто осмелится сказать что-либо неблагосклонное в ее адрес. Левые же всем недовольны, постоянно жалуются, хнычут, вспоминают Союз в лучших красках и тоскуют о прошлом. Два этих лагеря постоянно враждуют, ненавидят друг друга, обливают друг друга грязью за глаза, грубят друг другу в глаза, но тем не менее всегда собираются и сидят вместе.

Я часто спрашивала себя: почему бы этим двум группам не разделиться и не высказывать свое мнение лишь близким по духу людям, избегая таким образом споров, ругани и неприязни. Нет.

Они садятся рядом все вместе и начинают забрасывать фразочки, которые явно кольнут кого-то, и начинаются нескончаемые дискуссии. Кто знает, может быть, именно этого им и нужно: поспорить, поругаться, потрепать нервы, позлить друг друга.

Сейчас здесь сидят три пожилые женщины и один мужчина – все жильцы нашего дома. Семен, седой, щуплый мужчина с выцветшим лицом и в выцветшей клетчатой советской куртке, заложив руки за спину, прохаживается туда-обратно, слушая разговор женщин.

– По телеку Киев показывали, вы не видели? – говорит Клара, та что с третьего этажа, обращаясь к двум другим женщинам.

– Не видел и видеть не хочу! Киев! Соскучилась что ли?! По фашистам этим… – грубо отвечает Семен, продолжая прогуливаться взад и вперед перед тремя женщинами.

Клара вытаращила на него глаза и умолкла.

– Да-да! – он утвердительно покачал головой, глядя упорно Кларе в глаза. – Забыла что ли, сколько евреев украинцы продали, когда немцы были? Они сами – фашисты.

– А нас вот хохол спас! – заявила другая женщина, помоложе, в плаще по моде тридцатых годов.

– Всякие, может, и бывают… – сказал обескураженный несколько мужчина. – Но факт есть факт: они предавали.

– А нас спасли! – говорит дамочка, сложив категорично руки на груди.

– Не знаю я, кого там спасли, только за чем можно скучать в этом паршивом городке Киеве, я не понимаю, – вступает в разговор третья – седоволосая Циля. – За пылью? За слякотью на дорогах? За очередями?

– Я тоже из Киева! – заявила дама в довоенном плаще громко и вызывающе. – Прекрасный город! Одни эти запахи каштанов чего стоят. А кладбища, покинутые могилы родных?

– Та о чем ты говори-и-ишь?! – поддакивает Клара, толстая женщина с одутловатым лицом.

– Ты уж молчи, ты в Союзе сидела, что тебе уж говорить! – обратился Семен к Кларе, и глаза его нервно мигнули, как будто его полоснули по глазам чем-то острым.

– Ну так что, что сидела?! Отсидела да вышла. Зато здесь уж я села! Так села, что на пожизненно! Ага! – она ядовито усмехнулась и нервно вильнула всем своим грузным телом, привстав на месте. – Думали, что в Америчке распрекрасной вам денежки валяются. Приехали! Подбирайте! Ну как же ж! А позеленеешь, пока их заработаешь. Недаром-то они, долларики-то, зеле-е-ные!

– Э-э-э-эх, жизнь вас ничему не научила! – злобно махнув

рукой, говорит Семен и, отвернувшись, продолжает ходить туда-сюда.

– Я считаю, что Америка – прекрасная страна, – поправляя очки, говорит седоволосая Циля. – Страна возможностей, страна благополучия! Мои оба сына здесь так устроились, программисты, слава богу, один уже на семьдесят, а другой тоже почти на шестьдесят тысяч в год. Работают в американских фирмах, как солидные люди. Видели бы они в Союзе такую жизнь? Что их ждало в Союзе? Мы как поженились с мужем, стали в очередь за квартирой, так всю жизнь и прожили все в двух комнатах, свекр со свекровью, брат мужа с женой и мы с мужем, потом еще мои сыновья родились и племянники мужа. Пятнадцать лет в очереди прождали получения своей квартиры! Уже сыновьям нужно по квартире было, когда наконец очередь дошла. Плюнули мы на эту квартиру и уехали! Пусть подавятся! Ну переехали б мы! А через пять лет старший бы сын женился, затем младший и опять все по новой, по пятнадцать лет в очередь, так бы и умерли, всю жизнь прожив по десять человек в комнате!

– Ну ваши, может, и устроились, не всем так везет, как вашим! – раздраженно, почти грубо, делая презрительное ударение на слове «вашим», говорит Клара.

– Да молчала бы ты! Ты старая и безобразная: чего всех по себе судишь? Блаженна жизнь тебя в Союзе ждала с твоими аферами. Из тюрьмы б небось не вылазила! – не выдержал опять Семен.

– А ты, контуженный, молчи! Ты, говорят, и с женщиной-то быть не можешь? – ответила Клара.

– Где контузило меня? – взмолился Семен. – На войне контузило! Воевал когда с твоими прекрасными фашистами.

– Че эт-то мои фашисты? – хихикнула Клара.

– А то, что и коммунисты и фашисты – оно все фашисты. Не было б коммунистов, фашисты б на нас не напали…

В это время, откуда ни возьмись, новое лицо появляется у подъезда, и все взоры обращаются к нему. К нам незаметно подошла Фира, та, что с пятого этажа, и молча уставилась на всех своими красными глазами. У Фиры несколько месяцев назад умер муж и, как о ней рассказывают, после этого она свихнулась. Действительно, Фира так похудела, что от нее осталась чуть ли не половина, ее ножки теперь торчат, как палочки, лицо постарело. За какие-то два-три месяца лицо ее состарилось настолько, что она из цветущей пожилой женщины превратилась в увядшую опавшую старуху. Часто сидя в квартире родителей, если были открыты окна, мы слышали нечеловеческий громкий вой, как

будто резали кого-то: это день и ночь выла оставшаяся одинокой Фира. Если она выходила на улицу, глаза Фиры были всегда красные, так что непонятно было: либо она только кончила плакать, либо вот-вот собирается плакать, и выражение лица ее как будто говорило: «Прискорбный мир. Ничего радостного в мире. Все кончено для меня».

– Что, Фира, все плачешь? – обращается Клара к ней таким тоном, каким взрослые говорят с провинившимися детьми.

И при этих словах, действительно, и без того красные глаза Фиры наполняются обильными слезами и она начинает плакать.

– Жизнь пропала для меня, – говорит она всхлипывая. – Нет мне уже никакого утешенья. Муж умер. А сыновья мои предали меня. Пока растила их, была нужна, а теперь – жены есть, работы есть, не нужна мама.

– А ты б хотела, чтобы они бросили своих жен, бросили свои работы и сидели у твоей юбки? – презрительно фыркает Семен.

– Могли бы и не уезжать в другой город. Они привезли меня в Нью-Йорк – мало. Потом им и Нью-Йорка мало стало. Видите ли, здесь они не так зарабатывают, а мать бросить одну и уехать – так это ничего. Кому мать нужна? Главное, чтоб зарабатывали. Много зарабатывали. Чтобы жены довольны были. Здесь, говорят, не живут с родителями, здесь вам не Союз! Пособие мое тоже здесь. Вот и бросили мать.

– Не права ты, Фира, – говорит седоволосая Циля, тоже таким тоном, каким уговаривают малых детей. – Молодые должны жизнь свою устраивать, ты им в этом не должна мешать.

– А я и не мешаю. Я их не вижу и не слышу. Только нет у меня в этом мире ни одной живой души. – Она монотонно, как маятник, утвердительно кивает головой. – И жизнь моя никому не нужна. Лучше бы я с ним вместе на тот свет ушла. Лучше бы не он, а я умерла… – Фира плачет несколько минут, потом утирается дрожащими руками. – Только зачем было везти меня сюда, чтобы потом бросить. Бросили бы уж там – и все. Там у меня подруги были.

– Что ты гонишь, бабка?! Я сам видел, твои сыны постоянно приезжают навещать тебя! Кто тебя бросил? Они не живут с тобой, да ты же знаешь, здесь не принято, чтобы дети с родителями вместе жили!

– Приезжают? Раз в году? – говорит Фира.

– А подруги твои будут с тобой жить! Нужна ты им, – усмехается Семен.

– Ты прав, никому не нужна… Не нужна… Не нужна… – тихо говорит Фира, как бы себе самой, и взгляд у нее становится вдруг совершенно отсутствующим, равнодушным.

Машинально повторяя себе под нос «не нужна, не нужна», она медленно проходит мимо нас и идет куда-то вперед, но недалеко. Максимум, куда она может дойти, это до угла, затем возвращается назад, потом снова уходит. Едва Фира отходит от нас, как сидящие начинают разговор, осуждающий ее как эгоистку, истеричку, душевнобольную и даже высказывается предположение о том, что Фира не может жить без «мужчины», ну, то есть, вы понимаете, ей каждую ночь нужен мужчина. Есть даже люди, которые видели, как она ночью приводила с собой мужика из дома престарелых, куда ей кто-то посоветовал ходить на танцы для пожилых. Мужик этот походил-походил пару раз, а потом исчез, как видно, понял, что она чекнутая.

Сверху послышался стук растворившегося окна, и в одном из окон второго этажа показалась опасливо и враждебно озирающаяся физиономия Нины. Она недовольным взглядом окинула наше общество.

– Опять газ пускают, гады, покоя от них нет, – бормочет она себе под нос.

Захлопнула окно. Оба окна бесшумно покрылись занавесками.

– Ушла в свою крепость, – усмехнулась Циля.

– Верно, ее опять кто-то газом травит, – заметила Клара. – Пусть лучше сидит взаперти.

– Боится выходить на воздух…

Мимо нас проходит Крэг, американец, который возвращается с прогулки со своей аравой бездомных кошечек и собачек, которым он поприделывал самодельных ошейников. Он здоровается, проходя мимо, и все сидящие здороваются с ним тоже. После того как Крэг скрывается за стеклянной дверью подъезда, никто из сидящих почему-то не говорит ничего – ни осуждающего, ни одобряющего Крэга. Как если бы Крэг и вовсе не проходил мимо.

Глава шестнадцатая
Апрель – май 1985 г.

Самые первые проявления приближающейся весны – в чем они? Они неуловимы. Голос птиц стал звонче и раскатистей? Солнце стало светлее и мягче? Воздух стал другим. Запах в нем… пробирающий нестерпимой свежестью. Никогда мне не передать того неуловимого состояния природы, когда Земля, просыпаясь, начинает дышать и от ее дыхания я постепенно схожу с ума!

Я втягиваю в себя воздух во всю грудь, жмуря от света глаза, и воздух этот, попадая в меня, вмиг одурманивает, пьянит своей влажной свежестью и какой-то озоновой голубизной. Впитываясь в мои клетки, он разъедает меня, словно кислота. Как будто вместе со свежестью весны я вдыхаю смесь, наполненную каким-то непонятным, вмиг начинающим говорить во мне томленьем.

Чем счастливей весенний мир вокруг меня, тем острее я чувствую боль в душе. Откуда исходит эта боль? Почему?

Все люди ходят по улицам и вроде ничего, никаких следов мучений на лице. Это солнце за окном начисто лишает меня покоя, мешает мне спокойно дышать, спокойно сидеть, спокойно ходить. Всю меня переполняет какое-то необъяснимое беспокойство. Оно словно вставленный в меня незатухающий мотор, поднимает меня с любого места, где бы я ни находилась. Лежать не могу. Ходить не могу. Сидеть не могу. Ничего не могу.

* * *

Где-то в гулком далеке, на горизонте, лежат на столе распластанные, как пойманные рыбы на берегу моря, мои тетради и учебники, уже наполовину утонувшие в сгущающемся тумане.

Вышла, как во сне, кое-как одев ребенка.

Вот наконец я снова у родителей. Мелькают над Сашенькой мамины руки. Вот ее улыбающееся лицо рядом с ним, и я чувствую большое облегченье, освобождение от груза ответственности, когда она непосильна.

Здесь вокруг хоть какие-то люди, какие-то действия, разговоры, и я рада, что пришла.

– Доченька, сходи в магазин, обедать будем.

– Доченька, помоги накрыть на стол.

– Доченька, помой Сашеньке губки.

– Что с тобой? Ты больна?

* * *

Я иду в магазин, накрываю на стол, хожу, говорю, даже улыбаюсь, изо всех сил стараясь выглядеть спокойной, обыкновенной, но чувствую я и сама, как пробиваются на моем лице и во всем поведении неудержимые следы беспокойства. Я словно машина, в которой кончается бензин, затухает мотор, все части отказываются слушаться.

Не выдержала, прилегла на кушетку, чувствуя тяжесть своего сердца. Тело вялое, расслабленное, а вместе с тем, несмотря на глохнущий во мне мотор, в меня вложили еще один, незатухающий, мотор, который наполняет меня беспокойством, неустанно толкает идти куда-то, искать чего-то. Через некоторое время чувствую, что лежать больше не могу. Снова встала.

– Я пойду, погуляю, – голос чужой равнодушный, как из другого мира.

Спиной чувствую тягучий взгляд мамы, провожающий меня с беспокойством и состраданием. Надо бы повернуться, как-нибудь объясниться… но нет сил играть: скорей вон, чтоб они хоть не видели меня.

* * *

Темнеет. В голубоватом просторе густеют вечерние сумерки. Бесконечное, широкое полотно дороги Ошеан-парквей медленно уходит из-под моих ног. Поминутно нахлестывает, а затем удаляется шум проезжающих автомобилей, нахлесты смешиваются, наслаиваясь друг на друга, затем на минутку все затихает и только видны издали огни новых приближающихся машин. Затем снова нахлестывает шум подъезжающих машин, снова звуки смешиваются, потом отдаляются. Звуки эти расплываются, пульсируют в зыбком тумане, обволокшем весь мир, сквозь который я уже смутно воспринимаю все окружающее меня и даже саму себя.

Четвертый час утра, но за окнами еще ночь. В воздухе даже через закрытые окна чувствуется свежесть. Ночью заметно похолодало, и весна уже не так ощутима. Во мне вдруг появилась странная способность чувствовать природу даже в закрытых стенах, не видя, даже не обоняя ее. Все в доме прежнее. Ребенка нет. Как будто прояснилось в глазах. Уже более-менее трезвыми глазами смотрю вокруг, вижу ту же комнату и понимаю, что бесконечные хождения по улицам ни к чему не приведут.

Что же делать? Завтра наступит рассвет, выглянет солнышко,

воздух чуть-чуть потеплеет и я опять пропала!

* * *

Почему большой столичный город – для меня не что иное, как тюрьма???

Внешне я как будто полностью свободна. Да и город сам, лучше не придумаешь: есть библиотеки, институты, кинотеатры, кафе, дискотеки… – иди куда хочешь! Другие мощные цепи сковали меня; от них не убежишь, перехитрив надзирателя, или не освободишься после того, как прилежно отсидишь свой срок. Потому что тюрьма – в моей собственной душе. Мою голову, мой мозг, мою память, мои эмоции посадили за решетку. А тело мое свободно. Как же жить так? Утонченная тюрьма – эмиграция.

* * *

Снова оставила Сашеньку жить у родителей. Лежу дома, в депрессии, прислушиваюсь к звукам шагов в коридоре.

Вдруг чудо – кто-то стучится в дверь!

Пришел Леня. Вот сюрприз!

Как ни в чем не бывало.

– Устал я, – говорит. – Давай, – говорит, – снова попробуем, я надеюсь, ты уже перебесилась?

– Все кончено, Леня. Между нами все кончено.

– У тебя кто-то есть? – в ужасе спрашивает Леня.

– Более одинокой, чем я, нет на свете. И тем не менее с тобой все закончено.

– Как? – удивляется Леня. – Почему?

– Я дала тебе шанс. Я вышла за тебя замуж. Мы прожили с тобой почти целый год! Сейчас я более голодная по любви, чем была до встречи с тобой. Представляешь, я год провела в твоих объятиях и вышла из них, ошалевшая от голода по мужским объятиям! Ты понимаешь, что это значит? Ты не смог мне дать любви. Ты все время работал. Вот теперь, иди, работай! Никто не будет мешать! Не буду мешать спать по ночам, смотреть телевизор…

– Я изменюсь! Все теперь будет по-другому…

– Теперь уже не надо. Я переболела. Когда я тогда, озверев, не давала тебе спать, тогда надо было думать, а не бить меня в ответ. А ты ушел, так тебе было легче!

– Прости меня, прости меня за все! – говорит Леня

волнуясь. – Я во всем виноват сам, я знаю. Я старше, я должен быть опытней. Но ведь ты мне не поверишь, если я скажу, что опыта особого и не было. Я был неопытен. Я не знал, как вести себя….

– А как же многочисленные москвички? – недоверчиво спрашиваю я.

– Я все сочинял… чтобы выглядеть в твоих глазах внушительней. Я думал, это придаст мне больше привлекательности. Что вот дескать я какой! А оказалось наоборот. Ты ждала от меня поведения умелого и опытного мужчины, а я боялся тебя больше, чем ты меня боялась. Ну тогда, вначале…

Я пытаюсь взвесить и понять, когда же все-таки он врал, – тогда, рассказывая о многочисленных подружках, или сейчас, утверждая, что он ангел. Чувствуя, что запуталась, я прихожу к выводу, что это уже не имеет значения.

– Прости меня! – Леня плачет.

Мне жаль Леню. Впервые я уже не злюсь на него. То, чего мне не хватало с ним, никак не связано с опытом. Просто этого в нем нет. Вот и все. Леня – это мое прошлое. И слезами тут не поможешь.

Леня уходит, а через два дня мне звонит его мама и просит приехать к Лене в госпиталь.

– Как? Он в госпитале?

– Он вскрыл себе вены. Решил, что не хочет больше жить.

– Но ведь он жив? – спрашиваю я.

– Мы спасли его, – отвечает его мама.

Я, конечно же, еду в госпиталь. В глубине души я испытываю недоверие: вряд ли Леня всерьез вскрывал себе вены. Возможно, это был еще один метод выглядеть в моих глазах привлекательней.

* * *

Проснулась в час дня, словно ошалевшая. Вся пропитана ощущением Аликиных губ, сладким запахом его дыхания. Его руки мне снились. Запах его куртки. Запах маленькой комнатки на чердаке. Шипящие батареи… Запах тех простыней и красного пледа. Этот мерцающий волшебный мир. Джин с тоником, гитара… Алик!

Что это со мной? Как странно, что он мне снится! И как ноет сердце… Разве я его люблю?

Нет, конечно.

Тогда, что со мной? Неужели, можно полюбить и не понимать этого так долго?! Что со мной?

Оказывается, я забыла закрыть на ночь окно. Весенний воздух проник в комнаты и отравил меня до основания. Всю ночь мне снился нежный, ставший уже далеким и полуреальным Алик. Я опьяненная, одурманенная, ошарашенная. А слезы сами собой катятся, грудь расширяется. Почему меня так волнуют воспоминания о нем?

Позвонить ему?

Зачем? Это был просто сон. Открытое окно сделало свое дело. Что у тебя с ним общего? Не стоит звонить. Не стоит идти на поводу у слепых эмоций. Это весна на тебя действует. Ищи лучше настоящего его.

* * *

Весь день ничем не могла заняться. Я не видела Алика несколько месяцев и не вспоминала даже о нем, а тут вдруг я проснулась полная такой тоски по нему, что, казалось, все на свете бы отдала, только бы увидеться с ним, хоть ненадолго, хоть на полчаса.

Не хотелось звонить ему и из-за минутного настроения теребить то, что давно улеглось и не имело будущего.

Однако наступил вечер, затем новый день, а мысли об Алике не отступали. На третий день, не выдержала, набрала его номер. Услышу его голос и повешу трубку. Просто хоть услышать… Номер не отвечал. Интересно, где он?

Вдруг леденящая мысль: «А что, если у него уже другая?»

Сильно нервничаю, через час звоню снова. Опять не отвечает. По тому, какая тяжесть на сердце, по тому, как волнуюсь, не гуляет ли он сейчас с другой, начинаю понимать, что Алик – это не мгновенное настроение, не каприз. Не могу перестать думать о нем. Звоню еще через час. Никого. Неужели он кого-то нашел? Боже мой, как я волнуюсь! Что со мной? Почему вдруг со мной такое?

Двенадцать часов ночи. Никого нет. Надо успокоиться, надо взять себя в руки. А нужен ли он тебе? Ты же считала, что с ним все закончено?! Что вдруг случилось? Да посмотри ты на себя! Ты еще спрашиваешь? От телефона отойти не можешь, все в тебе дрожит, когда набираешь его номер… По ночам он тебе снится. Разве не понятно… кажется, я полюбила его. Говорят же, любовь зла, полюбишь и козла. Даже несмотря на то, что вы разные!

«Полюбить можно кого угодно, любовь не подчиняется

рассудку», – невольно вспомнила я чьи-то слова когда-то слышанные мной. А может, может, он на вечеринку поехал, просто приедет поздно?

После двенадцати звонить неудобно. Нужно будет переспать с этим еще одну ночь. Сегодня, как ни странно, это стало совсем тяжело. Рано утром, проснулась с волнением: Алик! Снова набрала его номер. Щелчок и автоответчик заявляет: «Такого номера больше не существует». Кто-то вылил ведро холодной воды внутри меня. Снова набрала тот же номер, уже стоя, руки в прямом смысле слова дрожат: «Не может быть!» Равнодушный автоответчик снова повторяет: «Такого номера больше не существует».

Звоню оператору.

– Проверьте, пожалуйста, номер! Шамилов, Алик. Ша-ми-лов! Да! Улица: Кингс-хай-вей! Да! Нет такого имени? Но-мер отключен?

Не может этого быть…

Выскочила на улицу, пот на коже выступил. Счастье весенних лучей солнца. Блеск и простор. Неужели я полюбила Алика?! Полюбила и сама не понимала этого? А теперь вот, потеряла его… По какой-то необъяснимой глупости потеряла! Сама прошла мимо своего счастья. Позволила ему уйти!

Нет, не может такого быть!

Может, просто сломался телефон? А что, если он уехал в Израиль? А может, он женился и съехал с квартиры?

Как же теперь в этом огромном мире отыскать его??? Алик! Как же я сразу не поняла, ведь ты очень, очень дорог мне!

* * *

Иду по весенним улицам, прилавки пестреют цветами. Чувствую, что люблю всех прохожих, хозяев ларьков, продавцов, водителей машин и автобусов. Словно могучими белыми крыльями я обнимаю весь мир своей любовью. Странное желание купить все цветы с прилавков «гросери» и раздавать людям вокруг. Просто подходить и дарить каждому по охапке цветов – такое странное желание.

Вдруг худощавый паренек в джинсах… сердце со свистом летит в пропасть: Алик! Кто-то проходит мимо: темные мягкие волосы на нежной полудевичьей шее, оборвалась ниточка в груди, и рухнуло тяжелое сердце – Алик! Выражение лица у мальчика на рекламном плакате кого-то мне до боли напоминает – и у него было такое выражение лица.

Неужели я безвозвратно потеряла его?

* * *

Он позвонил без предупрежденья, сам позвонил! Это для тех, кто не верит в телепатию. Или в чудеса! Я сидела в это время у родителей и уж никак не ожидала его звонка. Оказывается, я когда-то давала ему номер мамы.

Мы сидели всей семьей, и мама рассказывала нам про свою новую работу.

С тех пор как папу уволили с работы, прошло уже полтора года. Пособие по безработице уже давно перестали выплачивать, и семью автоматически перевели на «Велфер». Папа упорно рассылал свои резюме, но ему постоянно присылали один и тот же ответ: «Overqualified».[33]

– Понимаешь, в чем дело, – рассказывал папа маме, – проблема в том, что в городе Нью-Йорке инженерной работы как таковой нет. Все инженерные компании почему-то находятся где-нибудь в Уайт Плэйнсе или в Калифорнии, или в Колорадо. Давайте переедем туда, если хотите!

– Ой, нет! Нет, нет! – в один голос запричитали мама, я и бабушка. – Еще чего не хватало! Мы едва здесь начали привыкать! Только не надо больше никуда переезжать!

– Меня пугает там только одно, – говорит папа, – там нет общественного транспорта. А мы никто не умеем водить машину. Я понял, что водить я уже не научусь. А как передвигаться в тех городах? Метро нет, автобусов нет. Из дома не выйти. Только это меня пугает, а так можно было бы переехать.

Мы все облегченно вздыхаем: слава Богу, что папа не умеет водить автомобиль.

После смерти дедушки у мамы высвободилась куча времени, т. к. она была единственным взрослым в семье, который понимал английский настолько, чтобы водить деда по врачам да ходить по офисам всяких социальных программ, обеспечивающих старикам медицинскую страховку и пенсию.

Месяц назад кто-то из соседей предложил маме: «Я работаю на фирме. Там у одной американки мать больная, прикована к постели. За ней нужно ухаживать. Они неплохо платят, семь долларов в час. Но они не хотят доверить свою мать кому попало, только по рекомендации. Хочешь, я тебя порекомендую?» Мама согласилась.

Вот мы все сидели дома, и она рассказывала.

– Работа совсем не тяжелая. Я не убираю, полы не мою. Я даю ей поесть, потом мы смотрим с ней телевизор. Потом выходим гулять. Она, правда тяжеленькая. Ее, пока усадишь в коляску, пока оденешь, пока разденешь. Вот только и есть тяжелого. А так, целый день сидишь себе, ничего не делаешь. Там еще у моей бабульки, ее сестра, тоже больная лежачая. Они вдвоем живут. Но за ней я не ухаживаю. То есть не должна ухаживать, но мне ее жалко, должна – не должна, я и этой немного помогаю. Что там им помочь! Тарелку с едой на стол поставить? Они, в основном, меня своими разговорами развлекают. Одно и то же! Каждый день, изо дня в день одни и те же истории рассказывают! Я уже все эти истории наизусть знаю, а они все рассказывают. Ну и пусть себе рассказывают, если им веселей от этого.

Неопытная мама была, да и все мы, не понимали тогда еще, что деньги в Америке даром не платят никогда. То, что она называла «я ничего там не делаю», было постоянным регулярным нахождением в обществе двух лежачих больных. Ухаживать за ними, возможно, было физически и не тяжело. Я тогда не знала, что платят еще и за вредность, за негативную эмоциональную энергию, за атмосферу болезни и тоски, в которой ты должен изо дня в день находиться. И все это – не для любимого, а для чужого.

– Вообще американцы, удивительный народ, – рассказывала мама. – Они платят мне деньги практически за то, что я просто с ними общаюсь, проведываю их ежедневно, ну живой человек все-таки. У нас в Нальчике дети же с родителями жили, странно как-то, что здесь за это платят деньги…

В это время раздался телефонный звонок. Совершенно механически я подняла трубку, просто потому что первая подошла к телефону.

– Привет, это Алик, – сказал незнакомый мужской голос.

– Кто? – не поняла я.

– Алик, Алик!..

Впоследствии, вспоминая этот вечер и его звонок, я всегда удивлялась, как могла я, столь настороженно ожидавшая в любое время напасть на его след, ищущая его везде и всюду, принимавшая за него прохожих на улице, как могла я так долго не узнать его. Даже когда он сказал свое имя и повторил его, я слушала, постепенно узнавая мужественную и сладкую нежность его голоса, и все не понимала, не верила, что это он. Алик уже казался мне полуреальным.

Одновременно я всегда знала, что это невозможно, чтобы он не позвонил, потому что между двумя любящими людьми существует телепатия. И по тому, как при звуке его голоса в трубке, оторвалось от тела и полетело в пропасть мое сердце, по

тому, как захохотала квартира, по тому, как исчезли все слова, люди вокруг меня и стало светло, – я поняла – это точно, я люблю его!

* * *

Повесив трубку, я сорвалась с места с бешеным криком счастья.

– Что такое? Что случилось? – повернули головы удивленные родители и бабушка, прервав свой разговор.

– Вам этого не понять! – сказала я и, бурно хлопнув дверью, выскочила на улицу, чуть ли не вприпрыжку от переполнявших меня эмоций.

«Он позвонил! Он нашелся! Он позвонил! – раскатистым эхом раздавалось в моем сознании. – Алик!», – гремело праздничными выстрелами, пускалось в небо гирляндами огней, вздымалось переливом салютов.

Словно с меня только что сняли цепи, в которые я целую жизнь была закована. Тяжелые цепи рухнули, и я увидела, как легко! С непривычки кружилась голова, делалось дурно, оттого что уж слишком хорошо.

* * *

Очертания песчаных берегов… или это лежащий Алик, бесконечный, как эти берега. Снова ощущение теплой Аликиной груди, его шелковых запястий, впалого живота… Мягкие, похожие на эти мягкие песчаные колебания линий, мускулы на спине… Алик!

Осталось два дня, в субботу я увижу его! Два дня – и конец старой жизни, конец депрессиям, конец одиночеству и вечной тоске по Любви. Завтра и послезавтра – вот все, что осталось мне еще мучаться. Он позвонил мне, сам позвонил! Дальше начинается – уф… так долгожданная Любовь, начинается свет… начинается наконец жизнь!

* * *

В пятницу вечером сотрясающим мир громом раздался стук в дверь. Танька и Никита! Вот это сюрприз!!! Бывают же совпадения! Приехали, взяли меня с собой, покататься по городу.

Удивительная машина была у Танькиного Никиты. В скольких машинах приходилось сидеть мне, никогда, ни прежде ни после этого дня, не довелось мне больше видеть таких машин. В откидную макушку было видно просторное небо, пронизанное закатом: ты летишь и видишь небо, воистину летишь! А маленькие лампочки-подсветки, встроенные в дверцы, струясь матово-волшебным светом, создавали впечатление, что мы в космическом экипаже, летим на другую планету.

Вечер был прозрачный, огненный и светлый, до слез в горле переполненный счастьем. Мы летели в машине с распахнутыми настежь окнами и откинутой макушкой, облитые ярко-красным солнечным закатом и выворачивающей душу наизнанку озоновой свежестью. В тот весенний вечер в Царство Мрака отовсюду пробирался огненный закат. Кассета дарила нью-йоркскому небу русские песни, от которых тоже хотелось смеяться и плакать.

Мне ну-у-жно на кого-нибудь молиться!
Подумайте, простому мурав-ь-ю
Вдруг захотелось в ноженьки вали-и-ться,
Поверить в очарованность сво-ю-ю….

Езда по вечереющему Нью-Йорку в волшебном экипаже Никитиного автомобиля. Над кружащимися дорогами, над привольными пирсами, над вдруг внезапно открывающейся океанской далью в вечерних сумерках, над цветущими акациями на пришоссейных дорогах – над всем царствовал Алик, ласковый, нежный, ничего не подозревающий, ставший Богом.

Он был везде и нигде. Алик был растворен в этих цветах, Алик был разлит в темнеющей голубизне океанских вод, в одурманивающем хмеле запахов над дорогами. Состав воды, земли, воздуха, растений был тождествен составу того нежного существа с дорогими карими глазами и шелковой темноволосой головой.

Вскоре совсем стемнело. Еще таинственней струился мягкий свет матовых лампочек в дверцах. Запахи стали крепче и менее смешанными. Нахлесты яркого света и таинственной темноты попеременно переносили меня в разные миры. Я уже слабо различала звуки голосов и даже музыки. Молча сидела, с побледневшим до очертаний призрачной тени телом, уже не имея ни плоти, ни веса, вся состоящая из неуловимых, странных, переливающихся друг в друга, потоков света и накатов темноты.

Еще одна только, последняя ночь, только одна ночь!

В тот вечер в первый и единственный раз (больше никогда такого Нью-Йорка я не видела) я обнаружила, впервые заметила,

какой восхитительный город – Нью-Йорк! В этом городе, оказывается, есть уникальное достоинство, которого ни в одном другом городе мира нет: в этом городе с первых весенних дней и на протяжении всего лета все улицы, абсолютно все, пропитаны влажным, голубым, сумасводящим запахом океана!

В тот вечер, как будто в знак прощального рубежа со старой жизнью, мы ужинали в ресторанчике на берегу залива. Все были на удивление веселыми, заливались пьяным отчаянным смехом. Мне почему-то казалось, что я никогда больше не увижу ни Таню, ни Никиту, ни этот ресторанчик, ни все эти блюда, ни все-все то, что было до сих пор в моей жизни.

Вот только наступит завтра, и я нырну в новый мир – мир счастья, поэзии, цветов, поцелуев. Там, в мире Аликовой любви, уже не будет будничных лиц, повседневных ресторанов, пустых разговоров, невыносимой жары… Наступит завтра… и ничего уже не будет иметь значения; будет *он* и буду я, и будет наша Любовь, что есть синоним Счастья. Будет наконец то, ради чего я родилась и живу. Еще один только день! Последний день – и конец старой жизни!

* * *

Никогда больше весна, музыка, скорость, простор, друзья, а главное, это предчувствие Любви – белой, нарядной, которая вот уже почти пришла, сияя над городом, – не собирались такой гурьбой, чтобы явиться ко мне все разом! Никогда больше случайность не наградит меня столь непосильной дозой совокупности всего крылатого и счастливого, как в тот вечер, пылающий закатом и Аликом, вечер девятнадцатой весны в моей жизни.

Глава семнадцатая
Июль – сентябрь 1985 г.

Сорок вторая улица утопала в удушливой июльской жаре, вокруг кишели прохожие. Я стояла в прохладном холле какого-то небоскреба и через затемненные стекла наблюдала весь широкий разлет Бродвея, распадающегося на восемь перекрестков. С нетерпением всматриваясь в кишащую массу людей за стеклом, в эшелоны людей, переходящих дорогу, я искала и не находила его.

Неужели он может не прийти? В такой толпе немудрено и потерять друг друга. А может, еще рано?

– Простите, вы не подскажете, который час?

– Три минуты после полудня, – сказал парень в костюме.

Не в силах более стоять на месте, я вышла в жару и слилась с массой постоянно движущихся прохожих. Солнце мешало мне смотреть вокруг, но беглым взглядом я все же уловила прежнее отсутствие Алика и отправилась к телефону-автомату. Его телефон не отвечал. Отчаянье постепенно снова наползало на меня. Повесив трубку, я безнадежно взглянула еще раз в сторону стеклянных дверей.

Худощавая, чуть сгорбленная фигурка муравьем стояла против огромного небоскреба, а вокруг все так же кишели люди, но он ни на секунду не терялся среди них. Он стоял, вяло переминаясь с ноги на ногу, оглядываясь вокруг. Я летела к нему, всем остатком разума стараясь убедить себя успокоиться, замедлить шаг, казаться равнодушной. Вот он увидел меня, вот идет, вот мы улыбаемся друг другу.

Алик, еще несколько дней назад, возлетевший в моем глупом воображении до нереальных высот, стоял теперь передо мной живой, помятый, родной, тот же самый, что был. Да и не видела я его всего несколько месяцев! Что же в нем могло так сильно измениться?!

Вот он стоит совсем, совсем рядом. Созерцая запах его мягкой груди, парусную спину, заслонившую мне мир, эти просвечивающие сквозь тонкую ткань свободной рубахи длинные загорелые руки его, я стою, приподнятая на добрых полметра над землей, и не смею потянуться его поцеловать. Как легко и доступно было просто нырнуть в эту блаженную теплоту его тела, вобрать его несущую жизнь энергию. Как просто и в то же время, как мучительно недоступно было это простое, столь невинное движение – обнять его всем существом своим и застыть.

Вид у него был как-то ужасно уставший. Глаза впалые,

отрубленные. Вокруг глаз заметно пролегли темные тени и тонкие морщинки стали заметнее и глубже.

«Что с тобой?! Любимый мой, Алик!», – хотелось сказать ему, хотелось броситься к нему, обнять, дать ему жизни, свежести, силы.

И снова проклятое приличие, гордость, игра. Лишь тускло спросила, отчего такой болезненный вид. Он ответил, что не спит ночами. Мы пошли рядом друг с другом: он полная невинность и «ничего не подозреваемость», я – вся смущение, смятение, неловкость, мука.

А как нежно касается он моей руки, увлекая за собой к витрине, так близко от меня говорит что-то. Я киваю головой, хотя ничего не вижу, не слышу, кроме тембра его голоса и сладкого тепла его присутствия рядом. А какая большая волна накрывает все мои внутренности, когда, переходя дорогу, он прикасается ко мне, уберегая от машин, под которые я лезу. А как пробирающе обнимает мою талию его крепкая худощавая рука, пропуская вперед себя в магазин, в кафе!

Помню это ощущение: чего-то одурманивающе-сладостного, с ног до головы меня купающего, ощущение его худощавого тела, двигающегося рядом со мной, зависимость от его волшебных рук, воистину волшебных. Казалось, весь мир утонул в пьяной блажи, я ходила, пошатываясь, сквозь туман смутно воспринимая рестораны, кафе, людей вокруг. А он ничего, он лишь добродушно улыбался, глядя на меня.

Даже кафе, в которое он меня завел, было совсем другое, не такое, как все избитые постылые кафе Нью-Йорка. От стульев, от столиков, от чашек, исходило странное свечение. Белокурая официантка с трогательным продолговатым лицом тоже распространяла вокруг себя блаженство. Панорама из окна… это был Париж? Или Москва? Какая страна была это, такая счастливая, такая другая?!

– Ах, мать! Суета сует, – говорил мне Алик, сидя напротив меня за столиком. – Устал я валяться дома в кровати! Тосщища. Хандра такая. Бабок нет, работы нет, куда идти, не знаю. Я бы, может, и нашел работу, но это нужно столько крутиться! – он сморщил лицо. – Во мне уже нет столько энергии. К чему? Крутиться как белка в колесе, чтобы не подохнуть с голоду? Ведь беспросветно. Музыка моя никому не нужна. Нужно, чтобы я был роботом. Бусы нанизывал. А, ну да, я же тебе не успел рассказать: я теперь стал ювелиром. У меня теперь свой маленький бизнес. Я делаю ювелирные украшения, а потом продаю их магазинам на 47-й улице, здесь в Манхэттене. Делать ювелирные украшения – тоже своего рода творческая работа.

– Ты? – удивилась я. – Ювелиром?

– Да, матушка. Еще один сидит перед тобой, которого жизнь прогнула. Забросил я музыку. Теперь целыми днями нанизываю бусы. У меня от этого голова квадратная! И ненависть ко всему миру. Я вынужден нанизывать бусы, чтобы не сдохнуть с голоду!

– Алик! Зачем? Ты не должен сдаваться. Вот я – не сдаюсь: я не умираю с голоду. Не сдавайся и ты. Есть масса путей быстро заработать себе на хлеб. Хочешь, я научу тебя, как стать официантом?

– Ты женщина, мать-одиночка. У тебя хоть восьмая программа, фуд стемпы… У меня ничего этого нет, я один. Я вынужден крутиться. Ну да ладно, все это ерунда, рассказывай лучше, что у тебя?

Мой дар речи канул в море.

Я смотрю на Алика, сидящего напротив меня, на расстоянии полупротянутой руки и, Бог знает почему, сильно смущаюсь. Я чувствую его ауру, окружающую наш столик, слушаю его голос, такой сумасводяще гортанный и близкий. Гладенькая теплая струя мягкой воды, журча омывает мои внутренности, порою слишком большие дозы ее волнами опускаются во мне, и меня клонит ко сну. Как будто тихая воздушная музыка исходит от стен, стола, потолков. Я стараюсь встряхнуться, задушить все эти ощущения, но их головокружительные волны снова накатывают, подхватывают меня, уносят. Я шире открываю глаза, стараюсь приземлиться, изо всех сил стараюсь, чтобы все, что я чувствую внутри, осталось незаметным снаружи.

* * *

Алик рассказал мне, что за то время, пока мы не виделись, он успел два раза влюбиться, пережить два бурных романа и две разлуки. Одну из них, Стеллу, он до сих пор любит. Вернее, хочет.

– Мать, для меня любовь, это страсть! – поясняет Алик. – Стелла недозавоевана мной, поэтому я ее еще буду хотеть. – Как только я ее завоюю – вот и вся любовь. Понимаешь?

– Нет, – говорю я. – Такого не бывает, чтобы человек никогда никого не любил. Просто ты пока не встретил свою Единственную.

Значит, он со мной встретился просто на дружеских основаниях, раз про другую мне рассказывает, – отмечаю я про себя.

Несмотря на рассказы про других женщин в своей жизни, Алик пригласил меня поехать ночевать к нему. Я ничего не могла

понять.

* * *

Как разобраться в чувствах мужчины к себе?

Зачем он мне позвонил? Позвонил именно тогда, когда я осознала, что полюбила его. Зачем теперь он со мной встретился? Любит ли он меня? Или я должна еще его любовь завоевывать?

Здесь что-то не так. Нужно меньше верить всему, что он говорит. Влюблен он якобы в тех, о ком мне рассказывает, но встречается почему-то со мной. Смотри на действия, не слушай слова. Пригласил остаться у него на ночь. Если он влюблен в другую, то зачем зовет меня остаться на ночь?

Я совсем запуталась с этим Аликом, ничего не понимаю.

Чувствую себя подслепым котенком в руках у большого красивого волка: не знаю и не вижу, куда он меня тащит и что собирается со мной делать. Мне хоть и приятно ощущение его силы и власти над собой, однако не очень приятно жить в таком полном непонимании всех настоящих и дальнейших действий и поступков того, от кого так сильно завишу я сама и моя жизнь.

* * *

Это счастье немыслимое! Это счастье несказанное! Жизнь моя летит как на крыльях в самой зыбкой бездонной голубизне выси неба, где захватывает блаженно дух, только, не дай Бог, мне оттуда упасть.

Я утонула в любви. Я захлебнулась в его запахе. Его нежность – несравненна, беспечность – тоже.

Сегодня мир совсем иной. Три часа дня, я встала час назад. Солнце светит в комнате. Мне хочется хохотать, прыгать, хочется убежать куда-нибудь в чистое поле, где я смогла бы бежать без преграды и оглядки. Мне хочется двигаться, смеяться, кружиться. В то же время слезы наполнили и распирают мою грудь. Мне хочется плакать, смеяться, трясти, толкать, мне хочется вылить из себя вон эту энергию.

За что же все-таки я люблю его?

Почему эта худенькая жилистая фигурка мне дороже всего на свете? Отчего, когда я его вижу, странные волны перекатываются у меня внутри и распирают слезы, безудержные слезы? Почему же слезы, странный ты человек?! Отчего огромное, огромное сердце?

Отчего, когда он мелькает мимо меня в комнате, когда он не

трогает меня и не смотрит на меня, когда с нами его друзья и разговоры о постороннем и я знаю, что он и не думает ко мне прикасаться, отчего при каждом его малейшем движении все тело мое зудит в несказанном наслаждении? Отчего при одном только его присутствии моя чувствительность обнажается до такой степени, что я сижу, а волоски, стоящие дыбом на моих руках, полчаса кряду могут морозить и стягивать мне кожу?..

* * *

Почему рядом с ним я превращаюсь в один большой сгусток смущения? Я стесняюсь его до одурения! Ненавижу себя за это. За 15 минут до Алика, встретилась с «революционером». Собирается сделать революцию в Америке, ищет единомышленников. Ничего интересного. Кроме одного: я им не дорожу и, боже, как у меня все мило и хорошо выходит! Как доминирующе я себя чувствую. А с Аликом – я вся сжимаюсь, ох как гадко. Бесит.

К тому же моя внешность многому мешает. Он любит взрослых женщин, не юных. Так я поняла из его рассказов. Те, о ком он с восторгом говорит, обладают пышными формами, большой грудью… словом, настоящие женщины. Я для него, похоже, слишком тощая, во мне что-то девичье. И потом, бабник он страшный. Неужели все с ним безнадежно?

* * *

Нет на свете такого замка, к которому не подобрать ключа. Из любого тупика есть выход. Что такое Алик? Это система ценностей, которую нужно хорошо понять, а поняв, нажать на все правильные клавиши. Разве есть на свете человек, сердце которого невозможно завоевать?!

А если что-то возможно, то разве есть то, что мне не по силам?

* * *

Мне трудно разобраться во всем самой, одной. Я слишком сильно эмоционально вовлечена в процесс. Когда смотришь на ситуацию со стороны, гораздо лучше все видно. Здесь нужен кто-то умный, кто-то опытный, кто бы смог мне помочь. А кроме самого Алика, у меня вообще никого нет.

К кому же я могу обратиться?

Вечер свежий-свежий. Вышла гулять одна. Все совершенно безнадежно. Он хочет звонит, хочет не звонит. Затмить двоих – одну старую, длительную связь, другую – ветреное увлеченье, мне, с моими полными губами и несовершенствами, наверно, будет невозможно. Превосходства моего внутреннего мира он не видит, я ему кажусь обыкновенной девочкой, средней красоты.

Меня убивает, что я ничего не могу предпринять, чтобы изменить ситуацию. Как же так получается: в мире миллионы врачей… школ… всякие там семинары, консультации, а любовь, что, не важна?

Когда речь идет о неразделенной любви, идти за помощью не к кому. Моисей – врач. Когда у меня была депрессия или там какой-то конфликт, пожалуйста. А если неразделенная любовь? Тут на меня уже большими глазами смотреть будут. А любовь – ведь тоже эмоция! Почему не разбираются глубинно в этом? Вот так же, как в депрессиях и фобиях.

Нужно все-таки поехать к Моисею, поговорить с ним об этом!

* * *

Снова устроилась на работу в ресторане. Нужны были деньги на стрижку в дорогом салоне, на новый гардероб, составленный специально из расчета на вкус Алика, на уроки танцев в Манхэттене, на портфолио, чтобы попытаться найти работу манекенщицей, – это для того, чтобы внушить ему уважение, здесь модно быть манекенщицей.

Всякий раз, когда мне нужны деньги, у меня есть волшебная палочка-выручалочка. Я иду работать в ресторан. Учитывая, что за квартиру и за еду мне платить не нужно (это оплачивают пособия), мне легко заработать необходимую сумму буквально за несколько недель. Найти работу, как правило, занимает больше времени, чем заработать сами деньги.

Вот какой происходит парадокс. Как только я набираю нужную мне сумму, проходит еще два-три дня, в течение которых я откладываю сотни уже про запас, я начинаю тяготиться работой. Как только я начинаю тяготиться работой, меня тут же увольняют. Не я ухожу, а меня увольняют!

Как если бы, перестав дорожить работой, я вывешивала у себя на лбу надпись: «Увольте меня, у самой у меня не хватает силы воли это сделать!»

Явление повторилось, ищи правило: говорил Моисей. Значит, это не случайное совпадение. Случайного, похоже, вообще ничего

не бывает.

Но каким образом я посылаю работодателям такие маяки? Ведь работаю я и веду себя совершенно так же. Они увольняют меня ни дать ни взять через несколько дней после того, как я начинаю думать, что неплохо было бы уволиться, только вот жалко… Удивительный феномен!

* * *

Алик звонит мне почти каждый день. Встречаемся мы только по субботам и пятницам. Каким-то образом я чувствую, что что-то не то. Он приходит на встречи со мной бледный, усталый, с отрубленными глазами, постоянно в какой-то прострации. Когда я спрашиваю его, почему он такой, он отвечает мне.

– Я обалдел от того, что я вынужден постоянно нанизывать бусы. Я ненавижу свою жизнь. У меня от этих бус голова квадратная и мозги заклинивает.

– Так не нанизывай! – не понимаю я. – Брось эти бусы, раз ты их ненавидишь!

Меня оскорбляет еще и то, что он постоянно такой отрубленный в моем присутствии. Это очень плохой индикатор: когда любишь кого-то, о бусах не думаешь, а если и приходится их нанизывать, то этого вовсе не замечаешь. Любовь окрыляет человека, а Алик ходит постоянно в моем присутствии понурый и подавленный. Я порой даже не понимаю, зачем он приезжает, если все равно рядом со мной отсутствует.

* * *

Совершенно неожиданно Алик сказал мне, что хочет поговорить со мной серьезно.

– Ты хочешь выйти за меня замуж, мать? – спросил он.

Мы сидели в его машине, около дома моих родителей.

Я чуть не сошла с ума! Замуж???!!! Все-таки я чувствовала что-то неестественное в его предложении: наши отношения не были готовы к женитьбе. Какая женитьба, если он спит в моем присутствии?!

– Я готов на тебе жениться, матушка, – говорит Алик, – только при одном условии!

Я смотрела на резиновый коврик у себя под ногами и внимательно слушала. Очень сомнительное предложение, раз оно при каком-то условии. Что еще там за условие?

– Понимаешь, девчонка ты классная, только уж слишком летаешь в облаках. Мы живем с тобой в Нью-Йорке. Ты не можешь сидеть так, как ты сидишь, всю жизнь дома. Ты должна будешь, как я, похерить свои мечты-небылицы о творчестве, взять в руки орудие труда – любое, то ли компьютер, то ли пилку для ногтей, то ли мне будешь помогать бусы нанизывать, любое, на свой выбор, но ты должна будешь идти работать! Не так, как ты работаешь, по две недели в году, себе на косметику, а по-настоящему, как все люди.

Алик сделал паузу и посмотрел на меня. Я все еще не понимала такого резкого перехода от романтического и жизненно важного разговора о том, что мы поженимся, к какой-то прозаичной ерунде, которая вообще не имела никакого значения.

– При чем здесь мое творчество или работа? Я не понимаю, мы сейчас о чем говорим?

– Мать, я женюсь на тебе только в том случае, если ты готова изменить свое отношение к жизни, перестать сидеть дома, – неважно, что ты там сейчас делаешь, романы пишешь или маразмом страдаешь, – и пойти работать! – четко и ясно повторил Алик. – Если мы должны с тобой завести семью, мы должны с тобой оба работать! Оба! Понимаешь? Я хочу детей. Это требует денег! Понимаешь?

Последнее время Алик раздражался с полоборота, по всякому пустяку. Потом просил прощения.

– Ты хочешь, чтобы я в корне изменила себя, ради тебя… – сказала я, наконец поняв.

– Сможешь? Ради меня.

– Ради того, чтобы стать твоей женой, я должна стать программисткой. Так?

– Можешь, кем хочешь, только чтобы зарабатывала деньги. Мать, иначе нам не выжить! Не обижайся, пожалуйста.

– Я не обижаюсь. Просто я пытаюсь понять. Дай-ка я повторю, чтобы убедиться, правильно ли я поняла тебя. Значит, если я поломаю себя и пойду работать, ты на мне женишься?

– Да. Ну ты называешь это поломать себя…

– А если я не согласна измениться?

– Значит, я воспринимаю это как твой отказ.

– Тогда что? Ты меня бросишь?

– А что же мне еще остается делать? Буду искать себе другую! – Алик зловеще улыбнулся.

Я была слишком гордой, чтобы сказать ему, что есть еще один выбор: принять меня такой, какая я есть, не ломая меня. Только я не сказала. Зачем? Если любишь человека, разве сможешь его бросить лишь за то, что он не работает? Если он

сможет меня за это бросить, значит, он меня никогда и не любил! Значит, пусть бросает. Зачем мне такой брак, по расчету? Если он не любит меня, пусть идет на все четыре стороны. А если б любил, таких бы условий не ставил.

– Значит, бросай меня, – категорически заявляю я Алику. – Ищи себе другую.

Алик молчит некоторое время, переваривает мой ответ.

– Матушка, – говорит он ласково, – ты подумала? Может быть, ты подумаешь?

– Мне нечего думать. Если ты можешь меня бросить из-за такой муры, брось меня, – вызывающе и резко обрубаю я.

– Чего ты в бутылку полезла? Ведь я ничего такого не сказал ужасного. Ни один дурак никогда на тебе не женится, если ты будешь сидеть, как ты сидишь, дома, ничего не делая. Вот ты посмотришь! Я тебе открыто это говорю, а другие не скажут.

– Спасибо за совет! – говорю я. – Зря утруждаешь себя.

– Есть еще один вариант, – продолжает Алик. – Мы можем уехать с тобой жить в Израиль, в кибуц. Там наиболее приемлемая для таких, как мы с тобой, жизнь. Там все живут, как в колхозе. Там с уважением относятся к творчеству. Здесь творчество не считают за труд. Занимаясь творчеством, здесь можно только умирать с голоду. А там – очень похожа жизнь на советскую, так все говорят. Ты же любишь Советский Союз? Там можно, занимаясь творчеством, быть полноценным человеком; и люди тебя уважают, и на жизнь все есть. Ты здесь кому-нибудь скажи, что ты музыкант, что музыку пишешь, от тебя шарахаются, как будто ты прокаженный!

Уехать в Израиль означало бросить своих родителей, свою семью и маленького сына. Если бы я могла на такое решиться, я бы в Союз вернулась. Зачем мне нужен чужой и неизведанный Израиль?

– Нет, – говорю я Алику. – Нет.

Дело было не в том, что я не хотела ради него пойти на какие-то жертвы: если бы действительно понадобилось, я бы ради него и на луну полетела и даже не только программисткой стала, а на атомы и молекулы бы рассыпалась. Дело было в другом: когда Алик ставил мне такие условия (какие бы то ни было условия!), он косвенно говорил мне, что не любит меня. А человек, который меня не любит, – мне и даром не нужен.

Мне любопытно будет посмотреть, как это он меня сможет бросить. Каким-то образом я чувствовала свою силу над ним. Трудно было представить, что Алик перестанет мне звонить, перестанет хотеть меня целовать… Я специально так категорично отказывала ему, хотела посмотреть, как он сможет меня бросить.

Если сможет, значит, не любит. Когда любят не бросают из-за такой прозы.

* * *

Действительно, Алик не исчез из моей жизни, как обещал, и не нашел себе другую ни через день, ни через неделю, ни через месяц. Буквально через несколько дней молчания он позвонил мне и сказал, что все остается в силе, мы расходимся, он ищет себе другую, но пока он страшно скучает и хотел бы увидеться со мной.

Я торжествовала. Значит, любит! А если любит, то все эти его потуги меня бросить напрасны, никуда он от меня не денется.

Только я приобрела уверенность в себе и в его любви, как он исчез снова на целую неделю. В самый разгар моего отчаянья он снова объявился. Приехал. Мы провели вместе весь день и всю ночь. На этот раз он не стал повторять мне, что все в силе. Я тоже не стала спрашивать. Зачем? Ведь он приехал, он со мной!

Я хочу поговорить с ним о его жизни.

«Ой, мне лень концентрироваться. Ой, мать, оставим этот разговор».

* * *

Что-то аристократическое в нем, кружевное, утонченное. Загорелые кисти рук, запястья благородной формы, тонкие длинные пальцы.

Живет в нищите, а рубашки носит все с этикетками «из Парижа». Очень привередлив в еде. Нюхает и изучает пищу. Не ест несвежее и невкусное. Раз, как-то долго нюхал свое блюдо, позвал официантку.

– Извините, что я вас беспокою, но эта курица не свежая.

Она взяла, посмотрела.

– Не может быть! Пропала?

– Нет, не пропала, но не свежая. Я же спросил, когда заказывал: свежая ли?

Другой раз, тоже в ресторане, поковырял и не съел. Не могу, говорит, есть эту отраву. Вернуть не могу, с ней все в порядке, оно просто невкусно. Оставил и ушел.

Страшно любит женщин.

– Я миллион раз влюблялся. Но у меня проблема: я не могу удержать интереса ни к одной женщине. Как только я женщину

добиваюсь, мой интерес к ней проходит.

– Ты прямо настоящий Печорин! – говорю я.

– А… знаю, знаю, о ком ты говоришь… – Алика увезли из Ташкента, когда он был совсем ребенком и хоть он не успел познакомиться с Лермонтовым в школе, он сам открыл его для себя уже в Израиле.

– Ты и меня уже не любишь? – спрашиваю я. – Ведь ты меня уже завоевал.

– Нет, мать, я никого не люблю. Я не способен любить. Я даже не люблю свою мать.

– Зачем же ты тогда со мной? – искренне не понимаю я.

– Ты у меня такая сла-аде-енькая… я чувствую, как сильно ты меня любишь… должен же хоть кто-то утешать мои старые кости. Всех женщин на свете не переимеешь, устал я уже. Пора мне семью завести, может быть, я успокоюсь в детях. Вот я себе найду жену…. – Алик издевательски посмотрел на меня и улыбнулся.

Точно, сто процентов, ему нравится меня мучить!

– Мне казалось, что если ты меня так сильно любишь, то ты сможешь подмяться под меня, – продолжает Алик. – Должен же в семье хоть один из двоих сильно любить, иначе ничего не склеится. А ты вон у нас какая несговорчивая! Тебя не подомнешь…

– А откуда ты взял, что я «так сильно тебя люблю»? Я тебе ни разу не говорила этого! – удивляюсь я.

– Я это чувствую, мать! Это же очень сильно чувствуется.

* * *

Оскорбительно, что со мной так разговаривает какой-то Алик. Как хозяин со своей собачкой. Почему ты все это терпишь? Что, свет на нем сошелся клином?

Да, свет сошелся клином!

А терплю я до поры до времени. В конце концов я его поставлю на колени. Даже если он еще не любит, я сделаю так, что он полюбит меня! Ради любви ты все должна вытерпеть.

Я не верю, что нет на свете такой женщины, которая бы смогла расжечь в Алике костер. Такого просто не может быть.

На каждый замок, есть своя отмычка. Главное, нужно эту отмычку найти!

Рисуется он передо мной. Такого не может быть, что не способен любить. Это он только говорит так. Меньше слушай, что он говорит.

Но как же его расжечь? Как пробудить в нем такие сильные

эмоции, чтобы он, потеряв голову, сказал мне:

– В бедности или в богатстве, в болезни или в здоровье, работаешь ты или не работаешь и даже если у тебя вырастет на копчике хвост, а на передней челюсти клык, я твой навеки и готов на все пойти ради тебя, даже на край света!

Тогда, я понимаю, это Любовь! А то какие-то там усло-о-о-вия…

– А у тебя есть идеал женщины? – спрашиваю я Алика. – Скажи мне, какая это женщина – твой идеал? Я стану такой женщиной. – Я уже открыто говорю с ним, ведь он так и так видит, что я его безнадежно люблю, так что уж тут скрывать. – Вот увидишь! Я все смогу! Только не говори мне, что я должна идти работать, – это расчет.

– Это не в тебе дело. Какая б ты ни была, моя страсть быстро проходит. Я не могу долго любить одну женщину. Так я устроен.

– Но такого не может быть!

Я смогу подарить Алику то, что он, похоже, никогда не испытывал: чувство настоящей полноценной Любви. Я должна суметь пробудить в нем такие чувства. Я же все могу!

Любой цели, которую я перед собой поставлю, я добьюсь! Иначе я буду не я.

* * *

Ужасно увлечена завоеванием Алика. Сама не понимаю почему: завоевание этой дохлой тростинки стало чуть не смыслом моей жизни.

В какой шкатулке заперт секретный код? Где выкопать мне волшебный секрет: как завоевать сердце Алика?

Если б для того, чтобы получить ответ, нужно было найти знахаря, который жил на другом конце земли и никакой вид транспорта туда не ходил, то я бы пешком отправилась к этому знахарю.

Если бы ответ на вопрос, как завоевать сердце любимого, можно было бы купить за деньги, просто, как можно купить всякие лекарства от болезней или платья от дизайнеров, и он, этот ответ (или рецепт) стоил бы миллион долларов, (сколько бы он ни стоил!) – я бы придумала метод, как заработать или раздобыть этот миллион!

Напрасно вы мне не верите! Просто вы еще не знаете, на что я способна. Для меня недоступного нет.

Как все влюбленные, я чувствовала, что нет на свете ничего, чего бы я не могла и, как писал Толстой о Левине в «Анна

Карениной», мне бы ничего не стоило, если бы понадобилось, например, сдвинуть с места пятиэтажный дом. Самое ужасное и мучительное было в том, что при таком количестве энергии и всемогуществе, я не знала, что нужно сделать, куда идти за помощью.

* * *

В современной цивилизации существуют тысячи школ, где меня могли бы научить чему угодно! Несмотря на то что нельзя научить человека, как стать большим мастером в музыке, живописи, литературе, ведь для любого из перечисленного нужен талант от Бога, тем не менее есть консерватории, академии, институты. Дается база, изучают весь накопленный человеком опыт в этой области до сих пор. На эти знания уже ложится индивидуальный талант.

А что, если я хочу освоить профессию Роковой Женщины?

Почему этому никто и нигде не учит?

Если у человека, к примеру, болят зубы, то существуют миллионы докторов, которые бы могли предложить свою помощь. Для серьезно больного в каждом цивилизованном городе существуют больницы. Даже для раковых больных есть отделения, хотя лечить рак, по большому счету, пока не очень-то могут. Для сирот существуют приюты. Для горящих в пожаре – пожарные станции. А для безнадежно влюбленного человека в современной цивилизации не существует ничего: нет для него ни школы, ни частного педагога, ни доктора, ни станции «скорой помощи». Почему?

Неужели любовь и личные взаимоотношения менее важны в жизни, чем работа и хорошая профессия?! Почему, приобретая профессию, мы учимся по пять, а иногда и по десять лет, а науке любви – ни одного дня?

Просто удивительно! Человеком созданы такие науки, как биология, микробиология – это же гораздо сложнее! Изучен каждый нерв в человеческом теле, рассматриваются под микроскопом клетки. Изучены артерии, клапаны, мышцы, ткани… Делают пересадки сердца! Как случилось, что в век, когда психология давно развивается как наука, когда открыто подсознание и широко применяется психоанализ, такая важная часть человеческой жизни, как любовь и личные взаимоотношения, остается полностью заброшенной и здесь человек предоставлен полностью сам себе?

* * *

В двадцать первом веке люди будут думать о нас с таким же сожалением, с каким мы сегодня думаем о тех, кто в свое время умер от простого воспаления легких или от тифа. В школах будущего должны непременно быть введены такие предметы, как для девочек – «искусство быть женщиной», для мальчиков – «искусство быть мужчиной». В университетах, наряду с факультетами медицины или математики, должны быть такие факультеты, как «Психология любви» или «Физиология любви». Эти факультеты будут выпускать специалистов, которые будут помогать людям в достижении одного из самых важных успехов в жизни – счастливой любви. Зачем тратить годы жизни и через разбитый нос, через страдания, методом тыка, прийти к тому, к чему до тебя приходили уже сотни тысяч людей, но знания их и выводы умирали вместе с ними? Каждый новый живущий человек должен проходить все по кругу. Вот что происходит, когда отсутствует систематизированная школа, использующая накопленный и зарегистрированный опыт других.

* * *

Пришла в центральный книжный магазин в Манхэттене. Все-таки есть какие-то книги, посвященные вопросам любви. Принесла домой, начала читать. Вот что они пишут. Книга 1. «Как свести его с ума?».

«Встречай его в дверях обнаженной, когда он к тебе приходит»… – писала книга-бестселлер «Как свести его с ума?».

Вот это да-а-а!!! Ни фига себе!!! Меня уже, конечно, трудно чем-нибудь шокировать, да боюсь, как бы это не шокировало его. Представляю себе, приезжает он ко мне, звонит в дверь, а тут я – открываю дверь, в чем мать родила… Боюсь, как бы он от такой перегрузки в обморок не упал или импотентом не сделался. Ведь человек приехал, может, он уставший, голодный, может, у него плохое настроение, а тут такое, что хочешь не хочешь – с порога нужно прямо в постель. А если он не в настроении? А отказать ему неловко. Нет, что-то это слишком… Как-то мне это не по нутру… Ладно, что там еще пишут?

«Прежде чем подавать ему обед, разденься до гола, тогда подавай»… – писала книга.

Ну это из той же оперы. Человек голодный, а ты тут вдруг, ни к селу ни к городу разделась. Он поперхнется своей едой: кому еда в горло полезет, если ее подает обнаженная женщина?! А

кушать-то хоц-ца!

«Пришли ему в офис заказное письмо, упакуй в него свои ношеные трусики, чтобы твой запах напомнил ему о твоем теле»…

Сконфужена… По меньшей мере, это странно… «Маньячка какая-то», – решит он. И потом, это абсурд: оттого что я пришлю ему по почте свои трусы, он что меня полюбит? Нет, это не годится. Как бы оно не вызвало обратный эффект: он просто решит, что я тю-тю…

«Когда вы едете в машине и он сидит за рулем, задери свое платье и покажи ему, что ты абсолютно без трусиков, сними с руля его правую руку и вложи ее у себя между ног. Пусть он едет и чувствует твой жар…»

Перекошенное изумленное лицо… Недоумение: автор книги психически нормальный или со сдвигом? А может, все-таки я очень закомплексованная? Может, оттого и страдаю, что я плохая женщина: скучная, скованная, вся в комплексах?

Как узнать, действительно в этой книге описана роковая женщина или это маразм какого-то маньяка? У кого спросить?

* * *

Интуитивно я решила пока повременить с такими смелыми выпадами, что-то они мне не очень нравились. Все, что здесь писалось, было направлено на его член, прямо или косвенно, а мне нужна была душа Алика.

Взяла книгу посерьезней: учебник психологии, тот, по которому еще в колледже занималась. Есть там такой раздел, под названием: «Interpersonal attraction».[34] Вот как рассматривают любовь с научной точки зрения.

Романтическая любовь – это сильное волнение или даже симптомы волнения, такие, как бьющееся сердце, потеющие ладони, спирающее дыхание, которые ассоциируются с данным человеком, притом, чтобы вы могли бы повесить на все это такую этикетку: «я люблю».

Например: вы вместе пошли в кино. Фильм сильно взволновал вас. Во время фильма ваш друг был рядом с вами. Если вы не объясняете себе: «я волнуюсь, потому что фильм меня взволновал», вы можете решить, что волнуетесь, потому что испытываете чувства к вашему другу. Главное, как вы интерпретируете волнение, которое испытываете. С таким же успехом, вы можете вместе пойти кататься на опасных

аттракционах и перепутать волнение, которое вызовет у вас катанье на горках, с волнением любви.

Итак, формула: сильное волнение, вызванное в вас чем угодно, но в присутствии вашего друга, которое вы интерпретируете, как волнение от переизбытка чувств к другу. Хм-м… мудрено!

На чтение и перевод всех этих материалов уходит тонна времени, но увлеченная поиском разгадки любви, я не замечаю, как пробираюсь по дремучему лесу английского языка, больно натыкаясь на колючие кустарники и непроходимые рытвины, но боли не чувствуя, охваченная азартом.

Я осваиваю громадные территории ненавистного и чужого мне языка с рвением одержимого маньяка, даже не замечая колючек и рытвин на своем пути и ссадин и болячек у себя в восприятии. Я ничего на своем пути не чувствую и не вижу: меня интересует только одно – разгадка формулы любви.

* * *

Перебрав массу книг со всякими интригующими названиями, я пришла к выводу, что, кроме вышеупомянутого учебника психологии и еще одного бестселлера под названием «Sexual Chemistry»,[35] все остальные книги писали шарлатаны. Целые книги были изданы, а содержание примерно такого уровня: «Если вы хотите привязать к себе мужчину, пригласите его в гости. Приготовьте ему лучший обед. Поставьте на стол свою лучшую посуду. Зажгите свечи. Вклю чите мягкую музыку…» – такой муре посвящались десятки страниц.

«Ну а дальше? Дальше-то что?», – думала я с раздражением.

Как будто я и без них не знала, что до прихода любимого нужно принять душ, надеть свое лучшее платье и достать свои лучшие духи! Черт! Просто надурили меня, соблазнили красивым названием, а читать нечего.

Я поняла, зачем им было нужно дурить народ. Цензуры никакой нет, каждый издает что хочет. С их точки зрения, абсолютно неважно, что я теперь о них думаю, для них главное, что я книгу купила, уплатила 20 долларов. В Америке население более двухсот миллионов: если даже меньше одного процента всего населения, хотя бы двести тысяч дур, как я, клюнут на красивое название и купят по книге, шарлатаны заработают миллионы долларов!

Сволочи! Мне не столько денег, сколько времени жалко!

Одна книга, среди всех, все же затрагивала некоторые

интересные темы. Это была книга «Sexual Chemistry».

«Используя одежду, вы можете создавать или менять свой имидж, – писали авторы этой книги. – Наденьте на себя спортивный костюм и кеды, вы произведете впечатление, что вы спортсмен. Наденьте строгий классический костюм с галстуком, возьмите портфель в руки – и вы произведете впечатление, что вы бизнесмен… Когда вас воспринимают, в первую очередь воспринимают не вашу красоту, не вашу одежду, а ваш имидж, который мгновенно посылает сигналы о том, что вы за человек»…

Очень любопытная информация.

Авторы этой книги вызвали мое уважение, открыли для меня много нового, но все-таки ответа на вопрос, «что именно способствует возникновению любви», и близко не было.

* * *

Исходя из того скудного материала, который мне был доступен, целостной картины о том, как и почему возникает любовь, было не составить. В головоломке, которую мне предстояло сложить из разных больших и маленьких фрагментов, отсутствовало большинство составных кусочков.

Как же так? Получается, что в мире нет места, где бы я могла получить исчерпывающий полный ответ на важнейший вопрос, интересующий меня?

Я должна сама собрать, систематизировать и упорядочить всю существующую уже информацию, а также найти ответы, о которых нигде не написано, для того чтобы уметь свободно ответить на следующие интересующие меня вопросы:

Откуда и почему возникает любовь?

Почему мы влюбляемся в одного, а не в другого?

Почему любовь проходит?

Можно ли предсказать угасание чувства?

Можно ли способствовать возникновению чувства?

Какие качества в женщине способствуют возникновению у мужчин к ней чувства?

Можно ли развить в себе эти качества, если они не даны тебе природой?

* * *

В то далекое лето, когда я, безнадежно влюбленная, поняла, что никто ни за какие деньги не научит меня, как завоевать любовь Алика, я, обладавшая всемогуществом влюбленной, сказала себе: я раздобуду ответы на все вопросы сама!

Я сама разберусь во всем!

Я сама разберусь, какие гайки и винты ответственны за возникновение любви одного человека к другому и какие ответственны за ее угасание. Я непременно разберусь в этой сложной системе, и Алик непременно будет любить меня.

Ничего не существовало для меня, кроме страстного желания завоевать любовь Алика. Читала ли я книгу, смотрела ли я фильм, спала ли я, шла ли по улице, говорила ли с кем-либо, все происходило через призму вопроса, который один имел для меня значение: откуда, как, почему в сердце одного человека возникает любовь к другому человеку???

* * *

Вы никогда не слышали поговорку: сильное желание способно творить чудеса? Так вот – это стопроцентная правда!

Сильное, испепеляющее, страстное желание, оказывается, может даже выжать воду из камня! Это из серии «чудеса нашей психики». Словом, если достаточно сильно сконцентрироваться и впиться напряженным, упрямым взглядом в камень, то да, из камня можно выжать воду! Это я поняла на собственном опыте.

Главное правильно поставить вопрос, как говорил Моисей. Так вот, когда я, задав себе глобальный вопрос, внимательным, неотступным взглядом посмотрела вокруг и сконцентрировала всю свою энергию на поиске ответа, я увидела, что ответ на мой вопрос был просто разлит повсюду. Крупицы ответа просто летали в воздухе. Они присутствовали в речи каждого человека, которого я встречала, они присутствовали в каждой телевизионной передаче. Тонны частичек ответа на мой вопрос присутствовали в произведениях искусства: книгах и фильмах, даже в сюжетах опер. Я собирала кусочки и частички огромного ответа и с нетерпением ждала, когда же наконец из кусочков сложится целая картина.

В конце концов мне удалось, собрав отовсюду из окружающего мира кусочки уже существующей информации, сложить упорядоченное последовательное полотно. Только на это ушло много времени. В результате этих моих наблюдений и

поисков родилась целая отдельная книга, в которой я все подробно и изложила, что для себя открыла. Книга «Формула любви». Как только закончу писать и опубликую эту книгу, я займусь редактированием и публикацией той. Я посвящу ту книгу всем тем, кто, как я, с детства мечтал о любви как о самом главном счастье в жизни и кто, встретив наконец свою долгожданную половину, не получил ответа на свое чувство. Я посвящу ее всем тем, кто может сказать о себе словами из знаменитой песни:

Я дышу – и значит – я люблю
Я люблю – и значит – я живу![36]

Сейчас же, я не буду тратить слишком много времени на изучение вопросов любви, эта книга не об этом.

* * *

Порой меня охватывает равнодушие, злость. Разве я не знаю себе цену?! Делаю попытки убежать от него и понимаю, какая я глупая. Вечером звоню Таньке, чуть не плача спрашиваю ее мнение: «Почему, почему, почему он меня не любит?!»

Я составляю стратегию, как его вытянуть из трясины. Пользуюсь методом, которому научилась у Моисея: задавать вопросы, пока он сам не поймет корня своей проблемы.

Задаю вопросы. Он лениво на них отвечает.

– Ой, мать, сколько ты меня заставляешь думать! Я за последние пять лет столько не думал, сколько ты меня заставляешь думать за этот один месяц, как я с тобой.

– Я только сегодня стала тебе задавать вопросы.

– Ты вообще, сама вся такая. От общения с тобой начинаешь много думать.

Я сначала восприняла эти слова как комплимент, но Алик все испортил.

– Женщина не должна быть умной, мать! От умных женщин бегут. Будь-ка ты дурой! Я буду гораздо лучше тебя воспринимать, – и он со смехом притянул меня к себе и стал целовать, чтобы я не обижалась.

* * *

Иногда я сама удивляюсь: почему я создала себе бога? Я ищу

и не нахожу, за что же все-таки я полюбила его? Ведь ровно ничего в нем нет. Совершенно обыкновенный парень, даже хуже того, рухлядь, отрубленный, циничный. Он даже не стоит меня. Я ничего в себе не понимаю!

Стоит только ему позвонить мне, я забываю все, только несусь к нему навстречу! Все готова отдать на свете, чтобы добиться его взаимной любви!

Глава восемнадцатая
Октябрь 1985 г. – февраль 1986 г.

Для того чтобы понять, как добиться его любви, нужно прежде всего понять сам механизм в целом: как и почему возникает (или не возникает) такая эмоция, как любовь? Ведь ни одна эмоция не возникает без причины. Причина может быть осознана самим человеком или остаться неосознанной, но она обязательно есть.

Лучший экспонат для изучения механизма любви – твое собственное чувство.

Давай проанализируем, как возникло мое чувство? Особенно любопытно то, что головой я считала и считаю Алика чужим для себя, а эмоции пошли вразрез с рассудком.

Начнем с того дня и с того момента, когда Алик совсем ничего для тебя еще не значил. Начнем оттуда. Как произошел переход от «мне все равно» до «я люблю»???

Шаг за шагом, я должна проследить каждую деталь этого перехода. Возможно, под многослойными тканями частного случая я смогу нащупать скелет общего механизма любви.

Итак, он позвонил мне по телефону…

* * *

– Почему же вы полюбили парня, который, по-вашему же признанию, вам не подходит как человек? Что способствовало возникновению любви?

– Говорить первое, что приходит в голову? – неуверенно спрашиваю я.

– Говорите! Пусть это будет ошибочное мнение, не бойтесь ошибиться! – кивает Моисей.

– Это глупо, даже сама не могу поверить… Мне кажется, я все-таки влюбилась в него, потому что он пел мне русские песни под гитару. Даже не стоит мне объяснять, что это глупо, я сама это понимаю. Но сердцу ведь не прикажешь. Так я чувствую: главное, откуда пошла любовь, это эти песни! Все остальное мелочи, которые к этому приложились.

– Песни… – задумчиво повторяет Моисей. – Песни – это не так уж и глупо.

– Но ведь он не написал эти песни, он их просто исполнял. Моисей, я далеко не так примитивна, чтобы полюбить человека за

то, что он мне пел песенки под гитару. Головой я понимаю это. Но, когда пытаюсь проанализировать, чувствую, что именно оттуда все пошло.

– Просто исполнял… – говорит Моисей задумчиво. – А песни олицетворяли собой что?

– Духовное начало, – отвечаю я, глядя на Моисея. – Самое главное для меня – духовное начало. Тем более что здесь такая голодовка на эту тему.

– «Самое главное» для вас, а здесь «голодовка на эту тему». Да? А он вам это главное дал, пусть неполноценно, пусть даже в таком слабом виде, как просто исполнение песен. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Другого, лучшего нет?

– Нет. Даже такого, как он, нет.

– Что еще олицетворяли для вас песни, которые он вам пел?

– Другая моя больная точка: Родина. Они олицетворяли Родину, родную культуру, от которой я оторвана…

– Значит, исполняя для вас русские песни, Алик затронул две огромные сокровенные глыбы в вашем сердце: духовное начало и ностальгию по родине.

– Затронул. Но очень ведь поверхностное затрагиванье. Я же головой понимаю, что он сам, Алик, не имеет ни к тому ни к другому почти никакого отношения. Это всего лишь исполнение песен, любой дурак песни спеть может…

– Много таких дураков вы встречали?

– Нет. Он один. С другими я даже дальше одного разговора по телефону не могу пойти.

– Значит, даже такой, как Алик, который хотя бы поверхностно мог вам дать то, что вам нужно, большая редкость.

– В Америке большая редкость. А в Союзе таких, как он… в Союзе получше есть. Не просто исполнители, а молодые авторы.

– Но вы не в Союзе? Вы в Америке. И таких, как он, носителей культуры и духовного начала, пусть даже поверхностных, вы встречали очень мало.

– Совсем не встречала. Он один.

– Значит, в условиях, как вы говорите, «тяжелого голода» даже самая незначительная пища воспринимается человеком с огромным энтузиазмом. Пищу Алик дал небольшую, но, учитывая ваш сильный голод, недоступность чего-либо большего, вы восприняли эту пищу с очень яркой эмоциональной реакцией.

– Да. Так. Это, как в обычное время дашь мне кусочек черствого хлеба, я его есть не стану. А во время голода, когда вокруг люди мрут, эта же краюха черствого хлеба совсем по-другому воспринимается.

– Да, если дать вам черствый кусочек хлеба в голодный год, у

вас это вызовет сильнейшую позитивную эмоцию: здесь хлеб уже не просто еда и гратификация сильного голода, а еще и метод спасения жизни. Организм реагирует на автомате, еще прежде, чем вы успели что-либо подумать.

– Когда он мне эту «краюху» давал, я еще не так хорошо понимала или ощущала, что я попала в «голод». Позже, когда прошло еще время и голод сильнее накопился, подсознание заставило меня вспомнить, что где-то был такой Алик, где-то есть хоть какая-то пища.

– Это очень важный момент. – Моисей делает паузу после этих слов. – Какие еще моменты вы могли бы подчеркнуть, которые способствовали возникновению у вас чувства к Алику?

– Он был очень чуткий, тонкий, ласковый любовник.

– Что это значит?

– Ну он не бросался на меня, не требовал половых актов, как это делал мой бывший муж. Алик мог лежать со мной до утра в кровати и просто ласкать меня и целовать, не настаивая на том, чтобы все закончилось сексом. Он вообще сам, мне кажется, больше от ласки балдеет, чем от грубого секса.

– И это вам очень нравится!

– Очень! Помните, я всегда вам рассказывала, что не люблю грубый секс, а предпочитаю поцелуи и ласки?

– Да-а… Вы не одна такая. Вам известно, что пятьдесят процентов всех женщин не способны достичь оргазма от обычного полового акта? Они способны получить оргазм только при помощи ласки. Так что это вполне естественно, то, что вы говорите. Итак, Алик удовлетворил еще одну голодную точку: ласки и поцелуи, вместо грубого секса.

– У меня даже на него реакция выработалась. Я как только его вижу, у меня сразу кожа дыбом встает, хотя он и не собирается меня вовсе трогать. С ним я готова двадцать четыре часа заниматься любовью!

– Заниматься любовью означает поцелуи и ласки?

– Нет, когда мы очень долго ласкаемся и целуемся, мне уже самой хочется продолжения. Главное, что он не стоит над душой, не давит, ему самому нравится ласкаться.

– Хорошо! Какие еще моменты вы можете назвать?

– Любопытно, что вначале я легко рассталась с ним, не подозревая, что я его полюбила. Бывают такие чудеса? Проходит чуть ли не полгода, я уже и помнить не помню о существовании Алика, как вдруг, во сне так все меня захватывает, что я наяву хожу и прийти в себя не могу! Как вам такое нравится?

– Он приснился вам во сне?! – оживляясь говорит Моисей, похоже, его тоже поражает это.

– Во сне приснился! Сначала я не обратила внимания, думала, просто сон. Но потом, смотрю, неотвязно он меня преследует и наяву. На улицах невольно высматриваю его машину, мне все казалось, вот-вот я его встречу где-нибудь. При виде чрезмерно худеньких парней, напоминавших мне Алика, мое сердце со свистом летело в пропасть. Вначале меня отталкивало то, что он такой худенький, казалось, чересчур худой. А теперь при виде любого очень худенького парня у меня сердце на асфальт падает.

– Да-а… выработалась ассоциативная реакция… – говорит Моисей. – При виде худенького парня вы на уровне подсознания вспоминаете те яркие позитивные эмоции, которые Алик смог вызвать в вас с помощью русских песен, долгих ласк и так далее. – Моисей делает паузу. – Так удивительно устроено наше сознание! Вы повесили на него, на Алика, этикетку: «не подходит», потому что сознанием считали так. А подсознание? Подсознание дает о себе знать во сне!

– Любопытно еще то, что сон приснился весной. Я забыла закрыть окно на ночь, и весенний воздух наполнял комнаты. С наступлением весны, вы же знаете, особо остро приперает желание любить.

– А любить некого, – кивает понимающе Моисей.

– С тех пор как я рассталась с ним, тогда зимой, я перезнакомилась с доброй дюжиной парней. Алик в сравнении с ними – просто находка.

– Значит, было множество попыток кого-то встретить и все кандидатуры проигрывали Алику. Весной, когда потребность в любви стала особенно острой, подсознание вспомнило Алика, о котором вы сами уже почти забыли. Он приснился вам во сне. Значит, подсознание хранило в памяти много позитивных моментов, связанных с Аликом.

– Да. Позитивных моментов было много.

– Какие еще позитивные моменты вы могли бы вспомнить?

– Вы не поверите, я его всего знала считанные дни, чуть больше недели. Каждый день, врезался в мою память очень мощно.

– Ну, давайте вспомним самый первый день.

– Разговор по телефону. Он спрашивал, курю ли я траву, пью ли я водку, люблю ли мотогонки… все это вызывало мою негативную реакцию, и я уже собиралась вежливо избавиться от него.

– Во время телефонного разговора не было ни одной позитивной реакции? Только негативные?

– Были позитивные реакции тоже: мне понравился его голос,

манера говорить, то, что он говорил без этого противного эмигрантского акцента. Потом, его реакция, когда я сказала, что не курю и не пью; он обрадовался. Неординарная ты, говорит, мне теперь еще больше хочется с тобой познакомиться!

– Комплимент, – говорит Моисей. – На комплименты все женщины падки. Все без исключения.

– А мужчины? – спрашиваю я.

– И мужчины тоже.

– Это не просто комплимент. То, что я неординарная, только он заметил, больше никто. Хотя, возможно, он, конечно, пальцем в небо попал.

– Он сделал вам очень важный комплимент: сказал вам, что вы неординарная. Это был еще один штрих, вызвавший у вас позитивную реакцию.

– Не подумайте, что я растаяла от этого комплимента! Когда он мне перезвонил на другой день, я даже не сразу вспомнила, кто он такой. Вычеркнула его для себя. Считала, что с ним нечего ловить, несмотря на все его комплименты.

– Очень интересно. Вычеркнула! А потом, как же так получилось, что встретилась с ним, несмотря на то что вычеркнула его? Он смог вас переубедить?

– Ммм… Черт его знает… Нет, он не переубедил меня. Я предупредила его, что могу приехать, но только на дружеских основаниях.

– А он?

– Он согласился. Правда, был очень огорчен. Говорил, что очень ждал со мной встречи весь день. От него так и палило в трубку вдохновением! Мне было лестно, что я пробудила в нем такой интерес.

– Было лестно, что пробудила в нем такой интерес. Это еще один маленький штрих. Да? Маленькая позитивная эмоция. А то, что он согласился встретиться на дружеских основаниях, позволило вам без давления, раскрепоститься и быть самой собой. Если это и не позитивная эмоция, то по крайней мере нейтрализация негативной. Но почему же вы все-таки поехали к нему? Быть с ним просто на дружеских основаниях – зачем это вам?

– О-о-о!.. Сидела в тоске целый день! Посидишь в таком уединении недельку-другую, уже любому звонку рада. Тут хоть какие-то люди! Он обещал с другом познакомить. Я надеялась, а вдруг друг нормальный будет.

– И что друг?

– Не-а! Совсем не то! Алик в тысячу раз лучше.

– Это еще одна соломинка в пользу Алика. Контрастное

сравнение с другом: Алик лучше. Уход от скуки. Хоть какие-то люди. Похоже, тут тоже серьезная голодная точка получила пищу. Дома тоска, одиночество, скука. А здесь, Алик, Миша, песни, комплименты. Главное же – уход от тоски.

– Да, уход от тоски, очень важная вещь. Только, сколько раз я уходила от тоски из дома, знакомилась с ребятами и ничегошеньки из этого не выходило. Возвращаюсь восвояси, предпочитаю дальше сидеть дома, чем ходить с теми, с кем мне совсем никак.

– Тогда, значит, было только удовлетворение одной голодной точки. На этом все. Здесь же произошел накопительный эффект. Позитивных эмоций Алик в вас вызвал много. Они накопились.

– С Аликом было более-менее приятно общаться.

– Более-менее приятно общаться… и вы получили возможнось наконец выйти из своей темницы. Какие еще были позитивные эмоции в течение тех первых дней?

– Его квартира, обстановка, романтика. Ассоциация с Достоевским: такой я представляла себе келью Раскольникова. Гитара, книжная полка. Пусть одна полка, но хоть это! У других я бывала – вообще в доме книг нет.

– Опять Алик выигрывает. У него есть хоть одна полка книг, а у других совсем их нет. Для вас наличие одной полки книг тоже мало, чтобы всерьез воспринять человека, и сознание ваше все еще не принимает его, но в условиях экстремального голода, когда пищи нет, подсознание горячо цепляется хоть за малую пищу. Обстановка в квартире, опять же ассоциируется с чем-то сокровенным, с Достоевским, которого вы очень любите. Да? Посмотрите, сколько позитивных реакций, маленьких и больших по степени важности, вызвал у вас Алик!

– Выходит, любовь, это количество накопленных позитивных эмоций, которые в тебе вызывает присутствие данного человека? Количество переходит в какой-то момент в качество, и возникает любовь? Все накопленные позитивные эмоции ассоциируются с присутствием человека, а потом уже достаточно его просто увидеть или подумать о нем – и ты испытываешь сильные эмоции! Задаешь себе вопрос: что это со мной? Раз у меня так стучит сердце и тает под ложечкой при мысли о нем, значит, я люблю его?

Моисей смотрит на меня и улыбается.

– Вы к такому выводу пришли?

Я подпрыгиваю на месте от восторга. Неужели я только что вывела формулу любви?! Неужели я теперь знаю секрет?!

– Но, постойте! А как насчет целой кучи негативных реакций? – снова задумываюсь я.

– А! – восклицает Моисей. – Давайте теперь поговорим о негативных реакциях. Давайте опять начнем с первой встречи. Перечисляйте негативные реакции ваши!

– Вопросы про наркотики, мотогонки, водку.

– Что еще?

– Литературу не знает. По-русски не читает. Это большая негативная реакция.

– Так, что еще?

– Пожалуй, все.

– Значит, во время телефонного разговора были негативные реакции и позитивные. Негативные по количеству или степени важности перевесили позитивные, и вы остались с мыслью и чувством, что Алик вам не нужен. Какие были дальше негативные эмоции от общения с Аликом.

– Он казался мне чересчур худющим, но это в общем-то было не очень важно, просто слегка отталкивало меня.

– Что еще?

– Когда он заканчивал петь, я чувствовала, что мне с ним не о чем говорить. То есть говорить мы могли, но мне было неинтересно.

– Хорошо! Что еще?

– Ммм… Знаете, таких особенных негативных реакций больше не было. Просто я знала, что он не для меня.

– Вы знали… вычислили головой. Потому, что он не читает по-русски, курит траву. А позитивных эмоций он вызвал в вас море! Посмотрите, сколько позитивных реакций, маленьких, но больших по важности! А негативных реакций – в первый день было много, а потом их было всего две. Да?

– Так, значит, позитивные и негативные эмоции, которые человек в тебе вызывает, вступают во взаимодействие! Значит, любовь – это сумма накопленных позитивных эмоций минус сумма накопленных негативных эмоций, которые человек сумел в тебе вызвать? Причем любопытно, что позитивные эмоции он может вызывать не тем, какой он умный или красивый сам, а тем, что он дает тебе, прямо или косвенно, любую пищу – для ума, для души, для тела, для фантазии, для самолюбия… Пусть все это к нему самому и отношения никакого не имеет, просто он тебе дает то, что ты без него сама не можешь взять.

– Вы сами к такому выводу пришли. Подумайте хорошенько. Так или не так?

– Но тогда, почему осознание, что я полюбила Алика, пришло значительно позже? Почему сразу я не осознала, что я его полюбила?

– А как вы потом, весной, поняли, что вы его полюбили? –

спрашивает Моисей.

– Я постоянно о нем вспоминала.

– Просто вспоминали и все?

– Нет, при воспоминании о нем я испытывала яркие эмоции.

– Какие, например?

– Например, проснулась, ни дать ни взять, пьяная от его ласк, от ощущения его запаха. Потом, когда телефон не отвечал, по тому волнению, почти панике при мысли, что я могу его не найти, что он мог уехать назад в Израиль или жениться.

– Вы испытывали яркие эмоции при воспоминании об Алике, волнение. Ваше сознание должно объяснить как-то, почему вы такие эмоции испытываете. Поскольку вы натура романтичная, вы дали своим ярким эмоциям такую этикетку: «кажется, я его полюбила».

– А на самом деле?

– А на самом деле вы испытываете то, что вы к нему испытываете. Назвать это можно как угодно. В соответствии с укладом ценностей того, кто эмоции испытывает, каждый дает им свою этикетку.

– Но сами по себе эмоции, разве не имеют значения? Раз я испытываю такие сильные эмоции при мысли о нем, то разве это не значит, что я его люблю?

– Вы помните, мы с вами говорили, про уловные рефлексы? Если человеку, в то время как он садится в определенное кресло, регулярно делать расслабляющий массаж, то через сеансов шесть-семь, даже если массажа не будет, садясь в данное кресло, человек будет испытывать позитивные эмоции и сможет, сидя в нем, расслабиться. Срабатывает условный рефлекс. Кресло уже ассоциируется с приятным и расслабляющим массажем настолько, что позитивная эмоция возникает даже тогда, когда массажа уже нет. И долго после будет возникать.

– Стало быть, Алик ассоциируется для меня с множеством позитивных эмоций. Только и всего?

– Алик вызвал в вас огромное количество сильных позитивных эмоций, которые, накопившись в количестве, переросли в качество. Теперь только при одном воспоминании о нем вы испытываете сильные позитивные эмоции. Ваше сознание в соответствии с системой ваших ценностей дает им такую этикетку: «любовь».

– То есть, это еще кто как интерпретирует свои эмоции?

– Выходит так, – говорит Моисей.

– Так есть же миллион путей вызвать в человеке позитивные эмоции! – восклицаю я.

– Миллион путей, как попасть в сердце мужчины. – Моисей

лукаво смотрит на меня.

* * *

Я открыла глаза… Перевернулась на подушке… Я спала? Или не спала? У меня часто так бывает, я лежу с закрытыми глазами, а в это время проживаю целые жизни. Мне казалось, что я действительно пришла уже к Моисею… Постой-постой… Вчера я ему звонила. Он назначил мне встречу на завтра, то есть уже на сегодня… Значит, я еще у него не была! Так это сон мне приснился про Моисея?! Или это внутренняя работа при поверхностной полудреме?

Боже, надо встать, быстрее все записать! Вот будет удивительно, когда я сама ему все раскладки и принесу!!! Любопытно, что он мне скажет, как отреагирует на мои открытия… Неужели я сама все правильно проанализировала?

Я вскакиваю как пуля с постели и бегу к столу, чтобы успеть все записать. Я счастлива.

* * *

Моисей смотрит на меня поверх своих очков, поблескивающих в свете ночной лампы.

– Ну здравствуйте! Я очень рад вас видеть!

Он не упрекает меня за долгое отсутствие, не спрашивает, почему я пропала. Я пришла, вот и хорошо. Он рад. Не приду, тоже ничего страшного.

– Что привело вас ко мне? – спрашивает Моисей.

Я объясняю ему, рассказываю все, что произошло. Я вот сама пришла уже к кое-каким выводам. Только мне нужно убедиться, что я правильно все понимаю. Мне нужно утверждение и одобрение моего учителя, то есть Моисея.

– Хм… любопытно… очень любопытно… – говорит Моисей, лукаво улыбаясь. – Любовь – это очень важная часть жизни человека, и понимание механизма возникновения любви – тема, конечно, очень новая и животрепещущая для современных психологов.

– Ну так что вы скажете? – я нетерпеливо смотрю на Моисея.

– Когда мы приходим в школу, мы пишем и читаем под наблюдением наших учителей, – начинает Моисей, как всегда, длинно и исподволь. – Нам необходимо, чтобы учитель не просто научил нас, как это делать, но и некоторое время контролировал,

как мы это делаем после того, как научились. Проходит еще немного времени, и мы уже в состоянии читать и писать са-а-ами, – он сделал ударение на слове «сами», – без всякого контроля учителя. Классический метод обучения такой: первый этап – смотри, как я делаю, второй этап – делаем вместе, учитель контролирует, этап третий – ты можешь сделать это сам!

– Так, значит, вы одобряете мой анализ? Я правильно все сама проанализировала? – я от нетерпения ерзаю на стуле.

Никогда не произносил он таких простых слов, как «да» или «нет». Все время отвечал какими-то мудреными историями, примерами. Я даже часто злилась на него за это.

– Вы умница! Я очень рад! Я очень рад, что мы с вами так далеко продвинулись. Вы прекрасная ученица. Только знаете, когда я пойму, что я хороший учитель?

– Когда? – спрашиваю я.

– Когда моя ученица пойдет дальше, чем способен пойти я. Да, таков закон развития в природе. Ученик должен пойти дальше своего учителя! Иначе, значит, я плохо учил.

– Хорошо. Ну так насчет истории с Аликом… Значит, вы все одобряете? – неугомонно ищу одобрения Моисея я.

Но Моисей опять идет к ответу кривыми коридорами.

– Вы его полюбили… Полюбили человека, который, по-вашему собственному признанию, совсем вам не подходит как человек. Да? Правильно я понял?

– Правильно. Мы с ним очень разные. Мне сначала казалось, что у нас ничего общего… А правильно говорится в пословице «любовь зла…».

– Мудрые они, старые народные пословицы. Выдержаны временем. Ну хорошо, давайте думать! Правильно ли вы все поняли?..

Понимаю, понимаю, что у него методика такая: он хочет, чтобы я над всеми ответами трудилась сама. Даже когда я всю работу практически сама проделала, такие дебри сама раскрыла, он все равно не даст мне поблажки и не скажет, хоть в порядке исключения, просто и ясно: «Да, вы правильно все поняли!»

Он опять начинает бесконечный анализ. «Хорошо! Давайте думать! Правильно ли вы все поняли?»

Так ведь человека до инфаркта довести можно! Ну хоть раз в жизни, когда такие события, в порядке исключения, можно просто ответить: «да» или «нет»?!!!

* * *

Итак, любовь возникает в результате накопления большого количества позитивных эмоций, ассоциирующихся с данным человеком. Если человек параллельно вызывает в вас негативные эмоции, то они, в зависимости от количества и степени важности, могут нейтрализовать позитивные. Отношение к вам будет нейтральным. Если же вы вызываете в человеке одни только негативные эмоции или их количество перевешивает количество позитивных эмоций, которые вы в нем вызываете, то отношение к вам будет ярко выраженно негативным.

Чем больше количество накопленных положительных эмоций, ассоциирующихся с вами, или, чем увесистей они по своей важности, тем сильнее чувство любви, которое вы пробудите. И наоборот.

Позитивные эмоции в человеке можно вызвать как угодно. Красивая одежда на вас – у него позитивная эмоция (если, конечно, он по убеждениям не ненавидит женщин, уделяющих одежде много внимания). Однако по степени важности – эта позитивная эмоция очень несущественная. Запах хороших духов – позитивная эмоция. Дурной запах изо рта – негативная эмоция. Если вы красиво одеты, но при этом от вас исходит дурной запах, то это значит: позитивная эмоция, минус негативная, в сумме ноль, если не минус.

Самые сильные, увесистые позитивные эмоции можно вызвать в человеке, удовлетворяя его голодные точки. Чем более голодная точка, тем сильнее будет позитивная реакция при ее удовлетворении. При многократном повторе гратификации голодной точки вырабатывается ассоциативный рефлекс: тот, кто дает пищу голодной точке, ассоциируется с яркими позитивными эмоциями у того, кто эту пищу принимает.

Голодные точки бывают универсальные, – то, что распространяется практически на всех людей, для всякого актуальны. Например, необходимость самоутверждения. А также бывают голодные точки индивидуальные. Как, например, в моем случае с любовью к Родине или к русской культуре в условиях эмиграции.

– А какие у всех мужчин традиционно голодные точки? – спрашиваю я у Моисея.

– Есть такая мудрая народная пословица: «Женщина любит ушами, а мужчина глазами». Мы ведь с вами знаем, какие они мудрые эти старые пословицы. Что это значит? Ушами женщина воспринимает больше внутреннее содержание мужчины, оно для нее, как правило, первостепенно. Глазами мужчина больше воспринимает женщину физически. У мужчины есть две больные точки, через которые можно плотно войти в его сердце, – его член

и его желудок. Помните, да, еще одну пословицу: «Путь к сердцу мужчины – через желудок»?

– А душа для мужчины ничего не значит?

– Еще как значит! Но вы спрашиваете про традиционно слабые места мужчины, то, что характерно для большинства мужчин.

Я сижу, несколько разочарованная.

– Как ваша сексуальная жизнь с ним? Вы с ним в постели счастливы?

– Понимаете… – я начинаю волноваться. – Я так подавлена его присутствием, своим неразделенным чувством, страхом что-то сделать не так, постоянным продумыванием, как выглядеть в его глазах получше, что я уже ничего другого не воспринимаю. Мне мешает сознание того, что он меня не любит, что он меня может бросить, что я недостаточно красива.

– Это плохо. Плохо.

– Но мне все равно, что я не испытываю наслаждения! Мне не обязательно испытывать наслаждение в постели, главное, чтобы он испытывал. То есть я бы тоже испытывала, если бы могла быть поуверенней в себе. Я так сильно боюсь его потерять, что этот страх меня блокирует. Мне лишь бы быть с ним рядом, лишь бы он меня любил. Это для меня главнее.

– Ваша скованность передается обязательно и ему. Вы же хотите запасть ему в душу. Секс, при котором вы так зажаты, – никуда не годится! Попробуйте не думать в минуты близости о ваших чувствах, попробуйте раскрепоститься.

– Хм, легко сказать! Не думать! Мои чувства стоят у меня комом в горле! Но… я постараюсь…

– Я научу вас, какой должна быть женщина в постели, так, чтобы ни один мужчина не смог забыть ее, – говорит Моисей. – У мужчин ведь тоже есть свои слабые и уязвимые места, свои страхи. Женщина, которая хорошо знает физиологию мужского тела, да еще и понимает психологические проблемы мужчин, женщина, с которой мужчина может полностью расслабиться и наслаждаться полноценным сексом, – это большая редкость!

Во мне включилась лампа, которая вмиг осветила всю маленькую комнату, сведя на нет тусклый нерассеивающийся свет ночной лампы.

Мне хочется вскочить и расцеловать Моисея! Однако я не смею, неловко как-то. Вместо этого я продолжаю доставать и доставать его бесчисленными вопросами. Моисей с удовольствием меня посвящает в тайны мужского сердца и тела.

* * *

Оказывается, добрые тридцать-сорок процентов мужчин страдают от тревожных опасений, что эрекции не наступит. Не то что мужчина не хочет или не любит женщину, нет, а просто эрекции может не наступить – и все! Заклинивает ни с того ни с сего.

– Но ведь ни с того ни с сего ничего не происходит, – возражаю я.

– Правильно! – говорит Моисей. – Это мы с вами знаем, а обычный мужчина не особенно разбирается в своем подсознании. Он думает, что с ним что-то не то. От этого его заклинивает еще больше. Хотя проблемы-то там пустяковые, чисто психологические…

Увесистые 20-30 процентов мужчин, оказывается, страдают такой фигней, которую Моисей корректно называет «преждевременная эякуляция». Помню я этот термин и из своего учебника психологии: premature ejaculation. Это тоже вселяет в сердце и тело мужчины много напряжения, от которого не только страдает его мужское самолюбие, но ему еще становится очень трудно расслабиться, для того чтобы получить полноценное удовлетворение от секса.

Словом, проблем у мужчин, как оказалось, вагон и целая тележка, так что на полностью полноценных сексуально мужчин, у которых никаких проблем в постели нет, приходится какой-то там совсем жалкий процент.

– Если вы можете довести мужчину с сексуальной проблемой до полной нормальности, вы удовлетворите огромную его голодную точку. Рядом с вами он почувствует себя полноценным, а важнее его сексуальной полноценности мало что может быть для мужчины. Нейтрализация сильной тревоги или сильного дискомфорта – это очень мощная позитивная эмоция. А мощная позитивная эмоция, которая ассоциируется с вами, – это большой составной кирпичик для возникновения любви.

* * *

– Они разошлись, теперь делят имущество, – говорит одна соседка другой.

Я стою на улице, у подъезда родителей, и случайно, невольно слышу их разговор.

– Пока он учился восемь лет и она его обстирывала, обхаживала, семью всю на себе тащила, она была нужна! А теперь, видите ли, он большой шишка! Важный доктор, у него свой офис! Теперь, старая потрепанная жена не нужна. Завел себе

молодую!

– Вот так… обхаживай их, обстирывай после этого, – многозначительно кивает головой вторая соседка. – Я считаю, что мужчины вообще животные. Никогда нельзя делать ставку на то, что он подымется и ты с ним хорошо заживешь. Нужно подыматься самой, используя его самого. А то ж, ты все свои силы и лучшие годы отдаешь ему, а он подымется и… целую, Петя. Иди его потом удержи!

– Да не-ет… Вон у Лежанской, моей подруги, муж тоже при ней круто поднялся. Он такие деньги заграбастывает! Никуда он не ушел! Тоже она ему всю жизнь помогала. Это еще от человека зависит!..

Этот разговор я невольно услышала, стоя у подъезда родительского дома. Говорили две русские женщины о каких-то своих знакомых. Любой разговор, который я слышала, любой фильм, который смотрела… все содержало теперь ценную информацию о том, как и почему возникает (или проходит) любовь. Вернее, информации об этом, как видно, всегда повсюду было море, только я прежде ее не замечала.

Сильно сфокусировав свое внимание, я вижу и слышу разные кусочки ответа на свой вопрос по сто раз в день. Во мне происходит работа.

То, о чем говорили две женщины, не было придумано, это был фрагмент из реальной жизни. А что может быть ценнее этого для моих анализов? Итак, значит, пока она обстирывала, а он учился, – она была нужна. При том раскладе она кормила его важные голодные точки. Когда он стал врачом и поднялся, эти голодные точки мужа уже были в прошлом, она стала не нужна. Как видно, новых его голодных точек она уже не могла удовлетворить. Ведь очень важно, что другой муж, несмотря на то что поднялся, все-таки остался в семье.

Значит, дело не в том, что все мужчины животные… Вероятно, во втором случае, в изменившейся ситуации в жизни мужа, жена смогла найти (интуитивно, конечно) новые голодные точки. Или она изначально питала в нем гораздо больше голодных точек, чем просто помогала ему подняться… Я долго анализирую услышанную историю. Все сходится. Все совпадает с моей формулой.

Глава девятнадцатая
Март – октябрь 1986 г.

Как сильно влияет на усвоение материала и на развитие человека вдохновение!

Просто диву даюсь! Я не просто, как суперкомпьютер, поглощаю и перевариваю информацию отовсюду вокруг с неслыханной для меня интенсивностью, я во всем делаю неслыханные успехи.

Вдохновленная мыслью, что мужчина «любит глазами», я стала уделять особое внимание своим урокам танцев. Я пришла к выводу, что посредством танцев я смогу затронуть в Алике сразу три мощные голодные точки. Талант – это всегда позитивная эмоция. «Любит глазами» – вторая сильная позитивная эмоция, которую можно вызвать танцами. Ну а третья… Танцы – это гибкость, изящество, легкость, а с чем все это ассоциируется? Это женственность, женственность, женственность!

Мне хочется подпрыгнуть до потолка!

Вот еще, до чего я доперла. Песни, которые Алик мне пел и которые оказали такое сильное влияние на мое отношение к нему, ассоциировались не только с духовным началом и с Родиной, было еще нечто очень-очень важное, с чем эти песни ассоциировались.

Попробуйте-ка догадаться, с чем ассоциируются, таким важным, песни русских бардов помимо того, что уже сказано?! Никогда не догадаетесь!

Если сдаетесь, тогда читайте дальше!

* * *

Они ассоциируются – с му-же-ствен-ностью! Мужественность! Тонна мужественности! Концентрат ее!

С чем ассоциируется голос русского барда? С силой. У некоторых с силой и нежностью одновременно, а это еще лучше. С чем ассоциируется голос Высоцкого? С грубой и мощной мужской силой! С мужественностью я соприкоснулась впервые на таком близком расстоянии. Вот отчего у меня закружилась голова!

А как ответно вскружить голову тому, кто покорил тебя мужественностью? Ответ: своей женственностью!

Вдохновленная открытием феномена женственности, за

несколько месяцев, посещая уроки танцев, я продвинулась в своем умении красиво танцевать больше, чем за последние вот уже почти два года, в течение которых я регулярно посещала те же уроки танцев в той же школе. Я ездила раз в неделю в Манхэттенскую студию «Степс». Впервые вижу, что вдохновение, сильное желание может просто творить чудеса!

Это неслыханно, чтобы за считанные месяцы сделать такой скачок вперед! Тело мое и мой мозг демонстрировали чудеса, на которые, оказывается, они способны. Появилась баснословная кошачья гибкость, мягкость движений, одновременно – выносливость: на выработку всего этого уходят годы. Память моя удерживала хореографические комбинации, воображение продуктивно выдавало свои хореографические «шедевры». Я придумала свой первый танец. Танец египетской царицы с горящими свечами в подсвечниках в руках. Только пока не осмеливаюсь для него танцевать. Стесняюсь ужасно. Не уверена, что у меня красиво выходит.

А английский у меня как продвинулся! Я на всех парах читаю и перевожу интересующие меня книги, статьи из журналов. Такой продуктивности человеку, пребывающему в нормальном состоянии, просто нереально добиться.

Если в нормальном состоянии я чувствовала, что у меня в глазах рябило к тому времени, как я могла перевести одну страницу плотного текста, то теперь я могла поглощать статью за статьей, даже не чувствуя при этом усталости. Моя способность концентрироваться стала какой-то баснословной!

Мое вдохновение, как мощный допинг, наделяющий меня сверхестественной силой. Если в нормальном состоянии максимум, на что я способна, это поднять своего трехлетнего тяжелехонького сына, то с этим допингом я способна поднять своими руками весь шестиэтажный дом, в котором он живет, вместе с ним и со всеми другими жильцами и их квартирами. Не просто поднять, а поднять и долго держать в одной вытянутой руке!

* * *

Грубые громоздкие сапоги, которые он носил тогда зимой, его кожаная куртка, от которой пахло войной и израильской армией, даже его автомобиль, состоявший из мощного куска металла и резины (металл, резина тоже несут в себе мужское начало), – все это, как я теперь начинаю понимать, олицетворяло для меня насыщенную и терпкую мужественность, от которой и

пришло в движение во мне все женское.

* * *

Роковая женщина… Женщина, перед которой не может устоять ни один мужчина. Что это такое – разбитое на микроэлементы?

Какой должна быть женщина, от соприкосновения с которой пробуждаются в мужчине все глубинные мужские начала?

Если металл и резина несут в себе мужское начало и рядом с ними мужчина сам кажется мужественнее, стало быть, есть такие предметы, рядом с которыми и женщина будет казаться женственнее. Какие предметы могут нести в себе женственное начало?

Цветок, тонкие прозрачные ткани, шелк, капрон, тонкие и нежные босоножки, косметика… Белый цвет символизирует женское начало, а черный мужское. С чего я это взяла? Просто я так чувствую.

Все шершавое, толстое, грубое, мощное – это мужественность. Собака, лошадь, оружие, сигарета, крепкие спиртые напитки…

Женственность, стало быть, – это все гладкое, тонкое, нежное, хрупкое. Кошка, лебедь, ювелирные украшения, конфеты, свежие фруктовые соки…

Давай посмотрим на известных кинозвезд, которые традиционно считаются секс-символами. Давай внимательно изучим каждую, а потом проанализируем феномен.

Я беру в видеотеках фильмы с участием таких актрис, которые завоевали авторитет «неотразимой женщины». Кто считается у нас «la famme fatale»? Да не только у нас, а во всем мире! София Лорен, Мэрилин Монро, Элизабет Тэйлор, Катрин Денев…

Перечислить их можно много. Пересмотрела кучу фильмов с участием вышеупомянутых актрис, пытаясь определить для себя, что именно в этих женщинах делает их неотразимыми.

София Лорен брюнетка. У нее узкая талия, большая грудь и широкие бедра. Похоже, что она высокого роста. Горделивая осанка. Что-то строгое в лице, утонченное. Все перечисленное ни о чем не говорит. Если неотразимость заключается в узкой талии, контрастирующей с большим бюстом и широкими бедрами, то почему тогда неотразимой считается Ким Бесинджер, тонкая, как ствол молодого дерева? Раз при такой тонкости Бесинджер может считаться секс-символом, значит, не в пышности форм дело.

Если же Элизабет Тэйлор – строгая брюнетка, то Мэрилин

Монро – игривая блондинка. Значит, и эти параметры могут быть разными. Что же во всех этих, таких разных, звездах общего? Какие качества присущи им всем?

Я поняла, что в них общего.

Это месседж,[37] который посылает их «боди-лэнгвич»[38] и который зритель улавливает молниеносно, на уровне подсознания, не отдавая себе в этом отчета. От каждой из этих актрис исходит определенная аура. Вот эта-то аура, посылающая подсознанию зрителя информацию, – важнее всего. А блондинка, брюнетка, высокая, маленькая, худая или пышная – не имеет значения.

О том, какие импульсы посылает аура (или «бодилэнгвич») неотразимой женщины, а зоадно и неотразимого мужчины, я написала целую самостоятельную главу, которую включу потом в свою книгу о любви. Но сейчас не до той книги!

Я приобрела гораздо большую уверенность в себе теперь: значит, можно быть любой комплекции и любого цвета, а при этом неотразимой!

С чем ассоциируются?.. Какие сигналы посылает?..

Стало быть, важны не сами события, не сами поступки человека и не его какие-либо данные, а то, с чем они ассоциируются, какая стоит за ними скрытая информация, посылающая сигналы подсознанию!

* * *

Очень часто он приходит злой.

– Ух, бляха-муха! Взорвать бы насмерть этот мир! Взрывчатки на них не хватает!

– Откуда в тебе столько злости? Ты это с такой страстью говоришь, что мне страшно.

– Ненавижу, ненавижу этот мир!

– А если бы ты мог, ты и меня убил бы?

– Убил бы.

– Меня-то за что?

– Здесь не «за что», здесь другое. Я ужасно хочу посмотреть, как я почувствую, когда убью человека. Так, не в армии, а в реальной повседневной жизни. Это большая разница.

«Опять рисуется!», – думаю я. Не верю я ему, хоть убей, не верю.

– А что такое убить человека, мать! Ты бы видела этих людей, как они сыпались, когда я в армии был. Когда я в первый раз убил человека, я три ночи спать не мог. Эти клочья человеческих тел

повсюду. Старухи по восемьдесят лет, мальчишки по двенадцать лет. Вот в Израиле каждый человек вооруженным ходит. У всякого – старого, молодого – автомат наперевес. Трудно себе представить, да? Вот так. И потом эти дети бегут и: трах-тра-та-та-та-тах! Старухи, уже сами сыпятся, а гранаты бросают. Противный, прогнивший, вонючий мир, мать! Одной большой гранаты на всех не хватает.

– Так ты же и сам умрешь со всеми.

– К черту. А чем дорожить? Чем дорожить? Скажи мне! Что в жизни есть? Секс и острые ощущения? Женщины, которых еще не успел поиметь? Все равно все обман. Как только я ее завоюю, я потеряю к ней интерес. Мне интересно, что будет при смерти. Я не уверен, что что-то вообще будет. А если мне дашь гарантию, что хоть что-то будет, я и себя убью. Потому что хуже, чем здесь, не будет.

Все больше я его вижу усталым. Отрубленные глаза. Приходит, валится на стул и отсутствует. Он только приносит свое тело. Зачем? Если я ему уже не интересна, тогда зачем он приходит? Его никто не заставляет насильно. Если же ему со мной хорошо, то почему он отключается? Сегодня спросила его, так, мягко.

– Ой, мать, я отрубленный, я задавлен, я не знаю, куда девать себя.

* * *

Привез меня в компанию своих друзей в Квинс. Глядя на друзей, не хочется верить, что такой же и он. Раскуривали косяки беспрестанно, и все мне норовили впихнуть. Алик, сам затягивается до умопомрачения много, казалось бы, должен быть в полнейшем отрубе, но нет. Оказывается, он все соображает! Один из его друзей все меня норовил соблазнить затянуться.

– Она не будет! Не трогай ее, – по-хозяйски распорядился за меня Алик.

Покрутившись, через некоторое время этот опять ко мне подошел, предлагая затяжку. Тут Алик на него стал орать, чуть ли не собираясь с ним драться.

– Ты, падла, что, не слышал, что я тебе сказал? Оставь ее в покое! Она не будет. Слышал ты меня, нет? – Алик говорил это с такой агрессией, что даже я испугалась.

Приятно. Я-то в любом случае и не думала затягиваться. Я знаю, что может значить по жизни одна простая затяжка. Мне мои мозги еще долго будут нужны, еще долго пригодится способность

концентрироваться. Приятно просто, что Алик меня опекает, обо мне, как о близком человеке, заботится.

Выяснилось, что с кем-то из этих ребят я уже когда-то встречалась, знакомилась на blind date. Хоть убей, а я не помню. Я не запоминаю тех, кто мне не интересен. Со столькими перезнакомилась, что уже даже их лиц не помню!

Когда мы приехали домой в Бруклин, Алик, умирая со смеху, рассказал мне разговор, который произошел между ним и Ромиком (так звали парня, с которым, оказывается, я знакомилась когда-то).

– Чувак, ты зря теряешь время с этой телкой! – говорит ему Ромик обо мне. – Она тебе все равно не даст, поверь мне! Она целка, с ней нечего ловить.

– С чего ты это взял? – говорит ему Алик, прикидываясь дураком, его забавит подурачить Ромика. – Ты что, спал с ней? И выяснилось, что она целка?

– Она никому не дает, – говорит Алику Ромик. – С ней не только я встречался, с ней многие знакомились, она всем мозги пудрит. Зачем бы она это делала, как видно, целка. Поверь мне, это дохлый вариант.

Ничего себе, какой тесный мир! Вот тебе и эмиграция! Никогда б не подумала, что когда-то вот так концы замкнутся. Алик громко хохотал, вспоминая лицо Ромика, когда Алик объявил ему, что не только он сам давно со мной встречается, но и что я уже была замужем, разошлась и у меня есть маленький сын.

– Она целка! Что ты меня дурачишь?! – настаивал Ромик. – Спроси у Сержика, если мне не веришь, она с ними тоже выходила аут, не может быть, что она просто так никому не дает!

– Ох, мать, доставила ты сегодня мне, старику, удовольствие! – говорил довольный Алик, укладываясь с ногами, прямо в одежде, на свою кушетку, приехав домой после вечеринки. – Ты – целка! Это было кру-у-то! Честное слово!

* * *

– Ты все еще меня сильно любишь? Не люби меня так, мать. Любви нет, это все люди придумали.

Мне очень больно от циничного отношения ко всему моего возлюбленного, очень больно. Только я не совсем верю всем его словам. Я чувствую интуитивно, что он просто рисуется передо мной. Я же вижу, как он может зажигаться, каким может быть страстным… он далеко не тот мертвец, которого из себя строит.

Потом, даже на таких, как Печорин, есть своя управа. Вот, например, Онегин. Влюбился же он в Татьяну в конце концов! Значит, может. Давай проанализируем: какая Татьяна вызвала его сильное чувство и какая Татьяна оставила его равнодушным.

Но мой Онегин вечер целый
Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней…

Вот как…

А я, как раз и есть та «несмелая девочка, влюбленная, бедная и простая». Точно, слово в слово. Почему-то с ним я становлюсь такой робкой, такой застенчивой и такой покорной! Как избавиться от этой стыдливости! Как стать «неприступной и гордой»? Я должна, образно говоря, перевоплотиться в «неприступную богиню» – тогда Алик меня полюбит.

Если в тебе и впрямь спит нераскрытая актриса – перевоплотись!

А вот еще один бездонный источник для изучения темы, «как возникает или угасает любовь». Книга моего любимого автора «Анна Каренина». Все-таки не даром я его люблю!

Как тонко, в деталях, Толстой прослеживает путь возникновения чувства у Вронского к Анне, а затем путь убывания чувства Вронского к Анне. Просто энциклопедия! Учебник для изучения темы «Как и почему возникает (и, соответственно, убывает) любовь одного человека к другому?» Не художественная литература, – а просто учебник!

* * *

Статья в журнале «Космополитан»: «Как флиртовать с мужчиной?».

Любопытные они дают советы.

Первое: подойди и восхитись чем угодно в нем, его ботинком, его носом, его носками. Восхищайся громко и искренне, так чтобы тебя нельзя было не заметить.

Второе: после того, как он тебя воистину заметил, отойди от него. Отойди совсем! Займись расшнуровыванием своих сапог, поласкай чью-нибудь собаку (если ты на вечеринке), увлекись разговором с подругой.

Третье: снова подойди к нему, но уже ненавязчиво, без громких комплиментов. Дай ему шанс самому заговорить с тобой и проявить инициативу.

Четвертое: снова отвлекись от него и увлекись чем угодно или кем угодно на вечеринке, только будь недоступна, временно!

Подытожим: представь себе мышку которая пытается пробраться в щелочку. Она то просовывает морду в щель, то убегает, то просовывает морду в щель, то убегает.

Стало быть, искусство флиртовать – это игра? А я – такая открытая, такая доступная, такая постоянная в своей досягаемости…

Вот еще интересная статья, уже в другом журнале: «Как с помощью одежды создать иллюзию идеальных пропорций тела?».

Если у вас тонкая талия, писала статья, вы должны стараться всячески подчеркнуть ее всевозможными обтягивающими талию платьями, необыкновенными поясами. Перевяжите талию нежным шарфиком. На пляже – обмотайте талию тонкой золотой цепочкой.

Если же талия широкая, никаких туалетов, привлекающих глаз к этой части тела! Носите широкие платья, мешковатые блузы. Наденьте интересную шляпку или необыкновенные туфельки, чтобы отвлечь внимание со средней части тела вверх или вниз, туда, где у вас есть чем щегольнуть…

Философский совет! Значит, важно не то, сколько у тебя хорошего есть, а то, как ты можешь подчеркнуть или выставить то хорошее, что имеешь, а недостатки сделать незаметными.

Этот принцип можно с успехом применять и в других областях жизни. Мне он очень нравится!

Нужно теперь, с этой новой позиции, пересмотреть весь свой гардероб…

* * *

Это был обыкновенный звонок, ничем не примечательный день.

– Я женюсь, матушка.

– Что?

– Я женюсь, говорю. Нашел себе невесту, – повторил Алик ясно и просто, как будто он о чем-то совсем неважном говорил.

– Ты же… как? – я не могла говорить от волнения.

– Да, я знаю, – смеется Алик. – Знаешь, когда я с ней познакомился? Неделю назад! Да! Я решил, что если я сейчас не женюсь, я никогда не женюсь! Мне все надоело, пусть хоть

ребенок у меня родится. Она девчонка порядочная, симпатичная, не ленивая.

Мне хотелось спросить у Алика: а что я – не порядочная, не симпатичная или ленивая? Возможно, Алик перепутал то, что у меня есть принципы, с тем что я ленива. Но я не спросила. Зачем? Если он решил, что ему нужна другая, пусть с ней и остается.

– Кто она по профессии? – спросила я, тоже как ни в чем не бывало, как будто речь шла о чем-то обыденном.

– У нее профессия… я знаю, ты будешь презирать меня… она маникюрщица. В салоне работает, – усмехнулся Алик.

– Почему презирать… нет. Нормальная профессия.

– Серьезно? Ты так думаешь? – обрадовался Алик. – Понимаешь, матушка, жизнь такая тяжелая, не вытянуть мне одному! Динка – баба для жизни. Ты – для расторча и разговоров о высоких материях. Но разговоры ведь не кормят.

– Не кормят, – подтвердила я.

Что я могла еще ему сказать?!

Повесив трубку, я почувствовала, что задыхаюсь. Я вышла из дому и быстро пошла вперед. Отчаянье приводило меня в движение, словно порох пушку. Меня достаточно было слегка нажать пальцем, и я могла своей энергией взорвать весь мир. Но я несла в себе эту разрушительную энергию, она уничтожала меня. Сама не знаю зачем, села в автобус. Долго куда-то ехала. Вышла из автобуса, неизвестно в какой пустыне. Стояла, а мне хотелось лечь прямо на землю и разрыдаться.

Стиснув кулаки и зубы, снова пошла вперед быстрым шагом. Мне никогда не забыть этих улиц, которые я тогда видела. Лица людей в автобусах и на улицах. Ощущение духоты, удушья…

Не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть!..Алик! Ты не мог этого сделать!!! Ты не мог жениться на другой!!!

* * *

Поздняя ночь. До меня сполна наконец доходит то, что произошло. Ураган внутри моего тела. Паника. Невозможность контролировать свои эмоции. Гордость уже не имеет значения, ничего не имеет значения. Я разбужу его, но это тоже не имеет значения. Она, может быть, с ним сейчас уже…

– Алик… ты спишь? Ты один?..

– А? Что? – говорит спросонья Алик. – Это ты, матушка? Ничего, ничего! Я один. Ей сейчас не до меня, она к свадьбе

готовится. Ми-и-иленькая моя… ну что ты… Ну что ты… Конечно, конечно, я сейчас приеду! Ты чего извиняешься?! Это я у тебя прощения просить должен… я прекрасно понимаю тебя…

* * *

Он приехал. Было около трех часов ночи. Первое, что он мне сказал:

– Уф, мать! Какая ты высокая! Я уже успел отвыкнуть от тебя. Динка у меня маленькая.

– Это за неделю?! – говорю я покорно принимая Аликину пощечину.

Что же, раз ты умираешь и не можешь контролировать свои эмоции, значит, терпи теперь от него все!

Все готова терпеть! На все готова идти! Алик!

Я хватаю его за обе руки.

– Алик! Я понимаю, я сама во всем виновата! Ты предупредил меня, ты дал мне шанс. Я не поверила тебе. Я была слишком гордой. Умоляю тебя, останови то, что ты делаешь! – мне нелегко сказать то, что я собираюсь сказать, потому что я человек очень ответственный, слов на ветер не бросаю. – Я готова пойти работать, кем ты захочешь! – говорю я. (Я никогда бы не поверила, что когда-нибудь скажу такое кому-нибудь!) – Я стану ради тебя программисткой или маникюршей, кем ты скажешь! Я буду делать все, как ты захочешь. Я умру без тебя… Я на все готова ради тебя! Прошу тебя, Алик, если еще не поздно… Ведь ты же не любишь ее! Зачем ты это делаешь?

– А что такое любовь, матушка?! Если хочешь, я и тебя не люблю. Я и свою мать не люблю. Я даже самого себя не люблю. Это ты у нас… Копенгаген!

– Такого не может быть… Зачем ты на себя наговариваешь, пытаешься сделать из себя бог знает кого? Я же чувствую, что ты меня любишь! Я пойду для тебя работать, Алик! – я серьезно и твердо смотрю ему в глаза.

– Ты это говоришь сейчас, в порыве, – говорит мне Алик.

– Даже если ты и пошла б работать, ты бы вскоре возненавидела и свою жизнь и меня. Это ты сейчас меня любишь, потому что ты меня совсем не знаешь. Нет, матушка, семейная жизнь с тобой – это не для меня.

Я стою перед ним, своим отчаяньем освещая ночь. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я когда-нибудь переживу такое унижение и такую боль, я бы ни за что не поверила.

Чтобы немного разрядить обстановку, весело взмахнув

голосом, Алик добавляет: – Я лучше буду к тебе как любовник ездить!

Должен же он хоть что-нибудь сказать, чтобы меня утешить. Шутка, однако, глуповатая.

* * *

Серый бесцельный блеклый день. Лежу, лицом к стене, нет желания двигаться. Нет желания жить. На стене, прямо над моей кроватью, на уровне моих глаз, надпись, крупными буквами, которую я сама для себя повесила:

«ТО, О ЧЕМ ТЫ СТРАДАЕШЬ СЕЙЧАС,

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ТЕБЕ БУДЕТ СМЕШНО!!!»

Постаре-е-ею, по-бе-ле-ю,
Как земля зимой,
Я тобой перестрадаю,
Ненаглядный мой….

* * *

«Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция «Красные Ворота!»… Каким-то непонятным образом я осязаю все окружающие предметы московского метро, я четко слышу голос диктора, объявляющего станцию, все интонации, тембр ее голоса… И все это, как бальзам на рану, как терапия… помогает мне переносить все тяжести жизни здесь, на чужбине. Просто такие элементарные воспоминания… Удивительная штука, наше сознание.

– Алле, матушка! Что ты делаешь? Ты по мне не соскучилась? Я сейчас к тебе приеду! – веселый, я бы даже сказала, несколько хмельной голос Алика.

– Ко мне?! – с удивлением восклицаю я.

– Да, – говорит Алик, и голос у него, как у озорного ребенка, который только что нашкодил.

– У тебя, кажется, вчера была свадьба… – недоумеваю я.

– Да-а… а сегодня я хочу приехать к тебе!

– Зачем? – все еще не понимаю я, неужели Алик изощренный садист, ему просто нравится меня мучать…

– А я соскучился по тебе.

Некоторое время я молчу и просто не знаю не то, что сказать, но даже как реагировать. С одной стороны, я вся в боли, готова отдать обе руки, чтобы вернуть Алика. С другой стороны, у него вчера вечером была свадьба. Зачем же тогда он женился, если все еще хочет продолжать любовь со мной?

– Одно другому не мешает! – говорит Алик.

– Я ничего не понимаю! – искренне ошарашена я.

– Что ж тут непонятного! Ты хочешь меня видеть или нет?

– Я?!

– Ох, боже мой! Пока ты там будешь соображать, я и приехать не успею! Что ты думаешь у меня в распоряжении двести лет? Я теперь женатый человек! Меня тут снарядили в магазин за выпивкой, у нас выпивка кончилась. Народ тут похмеляется после свадьбы, все бухие. Ну так я за выпивкой, а по дороге к тебе! Никто не заметит, сколько именно я там отсутствовал. А? Как, матушка? Ну, так я приеду?

Как если бы Алик вдруг резко снял свою маску. Я никогда не видела его настолько циничным, уродливо циничным! Похоже, я действительно его совсем не знала…

* * *

Этот человек вчера предал тебя, он женился на другой. Ему более нечего делать ни в твоем доме, ни в твоей жизни. Зачем ему к тебе приезжать? Разве уже можно что-то изменить? Так говорит моя гордость и моя логика. А все существо мое, вне всякой логики и даже, подмяв свою гордость, стремится к встрече с Аликом. Пусть теперь с чужим мужем, пусть даже с предателем, только бы увидеть его еще хоть раз, только бы прижаться к нему и почувствовать его так жизненно необходимое мне тепло.

«А если бы ты сегодня узнала, что он только что, пятнадцать минут назад, убил твою мать? Ты и тогда не смогла бы послать его к черту?» – с возмущением спрашиваю я сама себя.

О великая сила инерции! Теперь, когда мои чувства к нему на полном скаку, похоже, уже никакая информация о нем и никакие его поступки остановить их не могут.

* * *

Господи, неужели это могла быть я, счастливая жена Алика, от которой в первый день после свадьбы он бы убегал к другой?! Как я могла так сильно любить этого человека, совсем не зная его?

А может быть, оно и к лучшему, что так все получилось? Может быть, слава Богу, что он на мне не женился?

Ведь я могла жить с ним годами, ничего не подозревая! Бедная эта Дина, ей, наверно, как и мне, в голову не приходит, что можно жениться на одной, а в то же время бегать на свидания к другой. Она ведь не миллионерша какая-нибудь, не дочь какого-то шишки, от которого зависит Аликина карьера. Она простая маникюрша. Простым глазом тут даже не усмотреть никакой логики: зачем он женился на Дине?

* * *

«Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция «Кропоткинская!»… Запах московского метрополитена… названия станций метро… запах моей старой жизни на Родине… неужели остались одни воспоминания?!..

Постаре-е-ю, побеле-е-ю,
Как земля зимой.
Я тобой переболею,
Ненаглядный мой…

Постаре-е-ю, побелею,
Как земля зимой.
Я тобой переболею,
Ненаглядный мой…

Постарею, побелею,
Как земля зимой.
Я тобой переболею,
Ненаглядный мой…

Постарею, побелею,
Как земля зимой.
Я тобой переболею,
Ненаглядный мой…

* * *

– Ну что ж, матушка, вы проиграли поединок! Бросайте оружие и признайте свое поражение.

– Нет. Не проиграла. Просто я не успела. Он женился за неделю! Он не любит ее, женитьба ничего не значит. Мне он уже не нужен (я никогда не прощу предательства), но по поводу моего поражения… рано делать выводы.

Жизнь такая длинная…

Онегин тоже сначала пренебрег, бросил, уехал, скитался где-то там неизвестно сколько лет. Он и забыл про Татьяну, когда снова приехал в Петербург, увидев ее, даже не сразу признал.

Как изменилася Татьяна!
Так твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!

Наступит день, Алик, мы с тобой еще пересечемся по жизни.

Ничегошеньки я не проиграла, просто у меня в распоряжении был слишком короткий срок. А неотразимой женщиной, против которой любой, даже самый стойкий мужчина, не сможет устоять, я все-таки стану. Иначе – грош мне цена.

Вот тогда-то, Алик, мы с тобой еще поговорим…

* * *

Посреди ночи я проснулась от боли. Рядом с моей постелью горела ночная лампа и, открыв глаза, я увидела сидящую рядом, на постели маленького Сашеньки, маму.

– Что доченька? Дать тебе попить? Может, тебе чайку приготовить сладенького?

– Сколько времени? Почему ты не спишь? – говорю я маме.

– Я не могу спать… – говорит мама, и лицо ее тут же начинает кривиться. – Как я могу спать, когда с тобой такое… – она начинает плакать.

– Кончай плакать, мне уже лучше. Оттого что ты не спишь, что-то изменится? – говорю я маме. – Ты же знаешь, что никаких болезней у меня нет. Я здорова. У меня просто депрессия… помнишь, как тогда, еще в Нальчике? Тогда прошло, и сейчас пройдет. Сейчас, считай, что уже прошло. Завтра я поеду домой.

– Депрессия! – передразнивает мама. – У всех людей дети, как дети, на них смотришь, душа радуется. А у нас тут одни депрессии. Ну тебя хоть уже не колотит от холода, доченька?

– Нет, не колотит.

– Ты нас так перепугала за эти дни. Я тебя двумя одеялами и пледом укрывала, а тебя трясет и трясет.

– Это эмоциональное. Мне уже лучше.

Проснулся маленький Сашенька, такой довольный, что я все еще здесь. Его переложили в бабушкину кровать. Ему уже скоро четыре годика, и за последние полтора-два года он впервые меня так долго видит рядом с собой. Я здесь уже почти целую неделю. Он уселся на своей постельке, смотрит на меня и весь сияет. Я вижу, что он очень счастлив, что меня так долго видит. У меня снова щемит сердце от невыносимой боли…

– А ты песни со мной будешь петь? – спрашивает он.

Я приучила его петь со мной русские песни. Всякий раз, когда прихожу к нему, мы садимся с ним на кроватку, заворачиваемся в плед вместе и начинаем петь. Он уже знает кучу русских стихов: про доктора Айболита, про Муху-Цокотуху, русские сказки, про колобка, про курочку Рябу, русские песни – Кукина, Клячкина, Окуджаву. Для меня важно, причем очень важно, чтобы он все это знал.

– Потом, маленький! – говорю я ему, – Сейчас ночь, все спят.

– А-а-а-!!! Сейчас давай! Ну, пожалуйста, хочу сейча-ас! – хнычет Сашка.

– Ты всех перебудишь! Кончай реветь! – говорит мама.

Но Саша хнычет до тех пор, пока не прибегает из другой комнаты Танька в ночной рубашке.

Увидев, что я уже сижу и даже спокойно сижу, уже почти поправилась, она с недоверием смотрит на меня, словно пытается понять, что же это такое было со мной и здорова ли я теперь на самом деле. Ей уже скоро 12 лет, и нехорошо, что я подаю ей такой пример поведения. Да она и не знает толком ничего, заболела и заболела. Она ведь не знает, почему, значит, это не должно на нее влиять.

В шесть утра встал папа.

– Ничего у нее нет! – говорит он, обращаясь к маме. – Воспаление хитрости. Вот ты любишь паниковать! На пустом месте трагедию устраиваете. Молоденькие девочки – дуры! Еще Александр Сергеевич про них писал: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей!» Они дуры! Дуры! – говорит он, размахивая руками. – Стоит ли из-за того, что они дуры, убивать и себя? Ты лучше побереги себя, ты им еще пригодишься.

– Вот ты, компьютер! – говорит ему мама.

– Я считаю, что она от безделья дурью мается! Ей надо идти работать или учиться, тогда некогда будет дуростями страдать!

Злость и ненависть мгновенно вскипают во мне. Даже сейчас, когда он видит, мне так плохо, он не пощадит меня. Зачем я сюда

опять приехала?!

Он бы хотел, чтобы я работала, как робот, чтобы мне некогда было даже влюбиться! А зачем вообще жить на свете, если некогда даже влюбиться?!

– Сам-то ты чего не работаешь? – язвительно говорю я ему.

Я знаю, что эта тема для папы, как красная тряпка для быка. Вот уже скоро два года, как его уволили, и он не может найти работу. Все, начиная от мамы и бабушки и кончая соседями по дому понукают его за это.

– Не берут по специальности, так опустись немного! – говорят они ему. – Ты не один такой. Мы все в Союзе крупными людьми были, а здесь опустились на землю.

– Ты думаешь, я в Союзе была парикмахером?! – возмущается соседка Галя. – У меня два высших образования! Так, что? Если я буду ждать, пока я устроюсь здесь на работу микробиологом, я умру с голоду! Надо как-то уметь идти на компромисс! Что это за безобразие, здоровый мужик сидит целый день дома! Сказать кому-нибудь, он работу доктора наук ищет! С ума что ли сбрендил?!

Папа лютой ненавистью ненавидит Галю и всех наших соседок, нападающих на него и настраивающих маму против него.

– Они агенты КГБ! – настаивает он. – Их специально сюда заслали, чтобы жизнь эмигрантам портить!

Словом, я нажала папе на его больной мозоль.

Папа рвет и мечет. Я довольна, что тоже причинила ему боль. Как и он мне.

– Ты сравниваешь меня с собой!!! – кричит папа багровея.

– Остановитесь! Хватит! Пожалей ее! Прошу тебя! – говорит мама папе. – Разве ты не видишь, ее сейчас не надо трогать! Ее сейчас надо выхаживать, а ты на нее нападаешь…

Выходит бабуся на шум и гам.

– Я знаю, – говорит бабуся, – в чем все ее проблеми! – бабушка кивает на меня. – Я вам скажу, мне кажицся, ее сглазиль! Да, да, да! Вы себе не придставляити, какий страшный вещ бывают от сглаз! Иди сюда, мая харошая, я буду тибе лечить.

* * *

Одинокий нью-йоркский вечер. Завернувшись в одеяло, мы с Сашенькой сидим на его кроватке, бок о бок, рядом друг с дружкой, и оба громко, от всего сердца напеваем, дружно раскачиваясь на месте:

Пока-а земля-я еще ве-ертится…
Пока-а еще я-ярок све-е-е-ет,
Господи, дай же ты ка-а-аждому-у,
Чего-о у него еще не-е-ет…

Из одного угла нашей убогой, но ярко освещенной комнаты в другой угол, прямо к нашей кровати, нисколько не смущаясь нашим присутствием, на всех парах бежит, перебирая шустрыми лапками, я вдруг замечаю, отвратительный налитой таракан. Я вскакиваю с места, с нескольких попыток прихлопываю его тапком и с отвращением бегу за салфетками, чтобы вытереть всю размазанную эту гадость и выкинуть. Сашенька сидит и спокойно смотрит: его пока тараканы не очень-то беспокоят, он с ними вырос и, как видно, к ним привык. Спустив все в унитаз и вымыв руки, я возвращаюсь к Сашеньке, снова прыгаю под одеяло, и мы продолжаем петь.

Господи, ты все уме-е-ешь!
Я ве-ерую в му-удрость твою-ю-ю…

Конец книги первой.

5 февраля 2004 г. 3 часа 15 мин. утра

notes

Сноски

1

Слова из старинного романса.

2

NYANA – еврейская организация, помогающая эмигрантам из СССР.

3

…в холле, от англ. lobby – вестибюль.

4

Государственная медицинская страховка для малоимущих.

5

Павлик Морозов – пионер-герой, в годы коллективизации предавший своего отца.

6

В 1980 году эмигранты, покидая Союз, покупали простыни. Бытовало мнение, что на Западе советские простыни в цене.

7

Двухкомнатную, от англ. one bedroom apartment – квартира с одной спальней.

8

Добро пожаловать в Америку, англ., welcome to America!

9

Когнитивный (от лат. cognitio – знание, познание) диссонанс.

Термин принадлежит американскому психологу Л. Фестингеру. Русский перевод книги Л. Фестингера «Теория когнитивного диссонанса» был издан в 1999 г.

10

Social Psychology, by Kenneth, J. Gergen, M. Gergen. 1981.

11

Фильм «И-Ти – инопланетянин» (E. T. the Extra-Terrestrial) американского режиссера Стивена Спилберга (Steven Spielberg) вышел на экраны в 1982 г.

12

Учебник литературы для 9 класса, 1979 г.

13

Л. Н. Толстой. «Детство». Сцена прощания с матерью Николеньки Иртеньева.

14

Грузовик – truck, англ.

15

Прачечная.

16

Чаевые.

17

В одном квартале; block англ. – квартал.

18

Party англ. – вечеринка.

19

Welfare – программа помощи бедным, не достигшим пенсионного возраста.

20

«слепая встреча» – так называют встречи, когда парень и девушка, познакомившись по телефону, впервые встречаются.

21

Брать в машину – от англ. to pick up.

22

Настроение – от англ. mood.

23

Выпивка – от англ. drink.

24

Здесь речь идет о творчестве Пугачевой 77–80 гг., до того, как героиня эмигрировала.

25

Здесь опять речь идет о конце 70-х годов.

26

Тип кафе.

27

Twilight sleep – снотворное.

28

Купоны, на которые можно покупать только продукты питания.

29

Часы пик.

30

Для того чтобы преподавать в вузе, доценты проходили конкурс каждые пять лет.

31

Государство обеспечивает больным старикам сиделок, если у тех нет денег оплатить это самим.

32

Человек, пришедший некстати, – от англ. to intrude.

33

Слишком высокая квалификация.

34

Взаимная привлекательность.

«Сексуальное притяжение».

36

Песня известного барда В. Высоцкого.

37

Сигнал, информация.

38

Язык тела.